

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

**К Н И Г А
Ш Е С Т А Я
И Ю Н Ъ**

М О С К В А

4 . 9 . 3 . 0

Главлит А 69807.

СТАТ – формат Б/5 176 × 250

Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова „Известия ЦИК СССР и ВЦИК“. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Мариэтта ШАГИНЯН. — Гидроцентральный, роман, продолжение . . . 5
2. Вяч. ШИШКОВ. — Бродячий цирк, повесть 24
3. Георгий НИКИФОРОВ. — На земле, из романа «Встречный ветер» 51
4. Ал. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, повесть, продолжение 79
5. Павел ВЯЧЕСЛАВОВ. — Моя весна, стихотворение 100
6. Павел ВАСИЛЬЕВ. — Сестра, стихотворение 102
7. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. — Браунинг, стихотворение 103
8. Н. ЗАРУДИН. — Стихотворение 104

ЛЮДИ И ФАКТЫ

9. Проф. К. И. ДЕБУ. — Сельское хозяйство и химия 105
10. Дан. КРЕПТЮКОВ. — Молочная фабрика, очерк 118
11. Вяч. ЛЕБЕДЕВ. — По Советской Корее, очерк 127
12. П. БОЛОХИН. — Бураки, очерк 143

ЗАРУБЕЖОМ

13. Л. НИКУЛИН. — Осень в Испании, очерк, с иллюстрациями . . . 148

ИЗ ПРОШЛОГО

14. Неизданное стихотворение Валерия Брюсова «Памяти Ленина» с предисловием И. Короткина 171

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

15. Вяч. ПОЛОНСКИЙ. — Маяковский (памяти поэта). С двумя портретами 173
16. Ю. ДАНИЛИН. — Книга о Сакко и Ванцетти 199

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

- Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Ал. Смирнов «На перекате» 205
- Борис ГРОССМАН. — Ник. Гарнич «Осьмнадцатый» 205
- Т. НИКОЛАЕВА. — Сергей Юрин «Любовь и коммуна» 206
- Я. ФРИД. — Ганс Лорбер «Человека истязают» 207
- М. РАБИНОВИЧ. — «Судьба Блока» 207
- С. БОРИСОВ. — «К проблеме строительства социалистического города» 208

Гидроцентрль

Роман

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

(Продолжение¹)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Героиня романа

1

В горячая смена, отоспавшись, шла вниз. Наверху заведующий кооперативом с блуждающей улыбкой на лунном лице, — он любил популярность, — самолично отпускал первой смене хлеб. Нож звучно врезался в трещавшие короваи, исходившие теплом от пурни. Хлеб выпекался пышный, но горьковатый, мука была не первый сорт, даже, по правде, дрянная мука; растирая ее между пальцами и пробуя на язык, сам заведующий соглашался. У него был готов ответ: но такую прислали.

Наследив в кооперативе мокрыми подошвами, чернорабочие шли в столовку, где по билетикам выстаивали в очереди. Ветер бил в стены столовки, мутный огонек лампочки раскачивался под потолком. На деревянных стенах висели заманчивые плакаты, да и все здесь, в этой длинной и темноватой комнате, было заманчиво. Маленькие деревянные столики с круглой солонкой, деревянный дощатник стен, крохотные оконца, а за чистым прилавком черный кусок продавца и неизменное блюдо лоби с жареным луком и постным маслом. Трюм допотопного парохода напоминала эта столовка, доски шатались под тяжестью проходивших. Холод падающих сумерек обступал здание, но, борясь с холодом, из кухонного окошка в столовую выплескивались вместе с протянутыми тарелками густые облака пара, и запах борща бил оттуда, наступая на подвигавшуюся очередь. Получившие тарелку шли к столику, влажные от кухонного пара. Они ели молча. Ели, глядя себе в тарелку, как если бы работали у машины. Надламывая краюху, они забрасывали в борщ ломти хлеба и маленькими, маленькими порциями забирали неполную ложкой, держа ее в мускулистых пальцах с великою осторожностью, боком, — свою порцию, чтоб положить ее на

¹) См. „Новый Мир“ № 5

язык, как драгоценную пилюльку. Да и языком не кончался хитрый механизм еды. Слева направо и справа налево, медленно перекладывая жвачку из-за щеки за щеку, двигали евшие челюстями, пока не проглатывали пищу. Не все, впрочем, ели ложкой. Оглянувшись по сторонам, мохнатый сезонник окунал в борщ горсточку пальцев. Ловко орудовал он в борще примятым кусочком хлеба, набирая в него, как в губку, жидкость и спроваживая кусочек в рот. Хлеб заменял им ножи и вилки. С непривычки многие брали и роняли ложку, как неопытная прядильщица ручное веретено. Было тепло от людей, их мохнатого шелеста, качанья их теней на слабо освещенных стенах.

Но тем, кто сбегал вниз по косогору, тоже было тепло. Сон еще держался в их теле, как горячая зола угольев в закрытой печке. Работы шли в трех местах — на буровых скважинах, на отводном туннеле и на мосту. Маленькая временная станция с двумя дизелями давала скупой свет на участки работ. Черные шарики бегущих людей накатывались с пригорка и растекались по местам. Буровой мастер Лайтис, сдвинув низко очки на бородавчатый нос, заносил в журнал последние данные. Слева от него бурильщик Заргарян держал на ладони вынутые из коронки столбики. Скважина дошла до сплошного каменного массива, и алмазное бурение выпиливало из-под земли тонкие, ровные, прохладные зеленовато-серые столбики, похожие на третьего сорта шоколад. У мастера Лайтиса все отличалось педантичным порядком. Рабочие уважали его. Он не спешил приказывать, его басистая речь текла очень медленно, подобно растопленному маслу. И Заргарян знал, что спешить не надо, и спокойно держал столбики, куда мастер записывал. Внутри палатки земляной пол круто утопан, стол выскоблен, на шнурке держится под брезентом электрическая лампочка. В углу гордость мастера Лайтиса — ящик с образцами последовательно извлеченных пород. Буровая № 4 надписано на крышке ящика. А посмотреть внутрь... впрочем, каждого туриста приводили неизменно сюда, к буровой номер четыре, и показывали ему журнал мастера Лайтиса и ящик мастера Лайтиса. Трое рабочих вошли в палатку и, не говоря лишнего, взялись за штангу. Заргарян положил столбик в заготовленный и занумерованный мешочек, он тоже встал на своем месте у штанги. Теперь рабочие стояли крестом, с четырех сторон скважины, каждый держась за рукоятку. Бурение производилось вручную. Не спеша, друг за другом, стали медленно крутиться люди в чудовищно-однообразном и унижительном движении. Латыш посмотрел на них, покачал головой и вышел.

Стало уже вовсе темно. Было видно, впрочем, как еще ниже, на середине реки, куда с мостика спускалась вторая скважина, бежали, покрякивая, люди и брел особенной своей подагрической походкой старенький Александр Александрович, держа горсточку пальцев у правого глуховатого уха. На скважине номер два было неблагополучно.

О скважине номер два переговаривались и Заргарян с соседями, кружась шаг за шагом и налегая всем телом на рукоятку штанги. Они

еще не успели вспотеть, в движеньи их была еще косная инерция тела, не желавшего производить работу. Каждый из них по опыту знал в себе эту инерцию, как знаешь свойство машины, и знал также, что спустя точный промежуток времени другая, наработанная движеньем тепла разомнет кости, как бы маслом их смажет, и тело наладится к труду, словно механизм. В ожиданьи этого перехода все четверо лениво и отрывисто перебрасывались короткими словами. Там, на правом берегу, вообще было незадачливо. По правилу, давно бы следовало дойти до грунта и бурить, как они бурили, в сплошной скале. Но чорт сглазил правый берег. Вздымаясь осколком какого-то гигантского разрушенья, над правым берегом стояла гора Кошка, скаля каменные усищи усмехающейся квадратной пасти. И рабочие суеверно косились на гору Кошку. Они боялись горы Кошки. Не даром из буровой номер два вслед за крепкими как-будто породами полезла вдруг какая-то мокрая труха, — глина, речная глина показалась на глубине вместо ожидаемого сплошного грунта. Рабочие испуганно вертели штангу в буровой номер два, покуда бур с алмазною коронкой не застрял в скважине. Случилось это еще утром. И с утра на буровой номер два бились и потели люди, как они бьются сейчас; с утра щукастый профиль начальника участка сердито колдовал у скважины, рабочие кряхтели от усилий, пригоршней обирали и сбрасывали пот с лица, лезли на веревках вниз, орали что-то наверх, требовали один, другой инструмент, но бур плотно застрял внизу, забив собой скважину. Со стороны все эти усилия рабочих напоминали мучительную натугу лошади, ходившей направо и налево в оглоблях, чтоб свезти непосильный груз. Но Заргарян бросил в спину переднего соседа слово:

— Дня три бы им повозиться...

— Не выйдет, — догадаются, Латуса нашего за загривок возьмут...

Из коротких слов было ясно, что бур не вытаскивали нарочно. И было ясно, что первая скважина, работая полным ходом, сочувствовала второй.

Мастер Лайтис дошел до старенького пальто. Из-под пальто, подрагивая по-генеральски, шагали сухие подагрические ноги. Александр Александрович покраснел от ветра, синие губки под пышными усиками испуганно сжались. Он был в курсе дела некоторых тонкостей: начальник участка не позвал своевременно Лайтиса, начальник участка сам руководил первыми попытками, начальник участка спасовал, и теперь ему, безответному Александру Александровичу, надо вынести ядовитую помощь Лайтиса и взгляды рабочих.

— Левон Давыдович постоянно так, это — система. Я не боюсь, конечно, — думал про себя Александр Александрович, панически озираясь на тень Лайтиса.

Когда мастер подошел к буровой, угрюмые лица рабочих стали смотреть в сторону. Все это были сезонники, тощий и невеселый народ, крестьяне из верхних лорийских деревушек. Их грязные обмотки,

рвань верхней одежды, даже мохнатые концы барашковых шапок пахли дымом и кислым молоком. Запах в'елся годами и был неистребим.

Лайтис минуту-другую ловил глазами их уклончивые зрачки. Я вас!—говорил внушительный нос латыша, как острие корабля поворачиваясь во все стороны. Но вместо угрозы, он присел на деревянный сруб.

— Запущено, — поздно позвали. Кто руководил? Левон Давидович? — дак ведь они неопытные по нашей части. Забили, хуже забили.

Один из рабочих подскочил к мастеру и тоненьким голосом начал жаловаться. Он сверял глазами речь свою, как часы, для точности с выразительными лицами товарищей. Он руками показывал размер коронки,— разве такую коронку можно нацеплять на эту штангу? Рабочие в один голос отказывались, а начальник участка заставил. Вот теперь доказательство: застряла коронка. Почему в буровой номер четвертый не застревала ни разу? Дело понимать надо, без пониманья приказывать — одна порча. Теперь вмешался самый старый крестьянин, красноватые глазки его глядели в упор, этот не отворачивался и даже смешка не скрывал. Гнилые, цинготные зубы шепелявили: не такая вообще тут земля, чтоб строить, старые люди давно говорили, старых людей надо слушать.

— Заткнись, — заорал, рассердившись, латыш. Европейское его нутро возмутилось. Поднявшись со сруба, он сошел на правый берег, где молчаливо работала первая скважина, уже несколько дней показывавшая гальку; еще дальше, под самым боком у горы Кошки, два брошенных и затопленных шурфа безнадежно уперлись в глину. Геологи переврали чего-то: у самых стен кварцевого порфирита, под сенью скалы, — место, таить было нечего, гибель-место, — плевало на людей всякою мутью, шла зелень нарушенных пород, речные гальки, а главное — ни с того, ни с сего — желтоватая глина. И все это вместо обещанного туфа. В глубине души Лайтис так же верил геологам, как и крестьяне. Он вернулся назад на мостик.

— Магнитом пробовали, Александр Александрович?

Старый инженер встрепенулся. Переспросив два раза, он снял руку с ушной раковины и махнул пальчиками. Магнитом не пробовали, и для Александра Александровича открылось поле действия. Рабочие уже знали, что бур сейчас вытасят. Они становились на работу. Жалобщик, получив из рук Александра Александровича наряд на магнит, весело побежал к складу. И все это время, изредка вскидывая глаза на отдаленную точку посередине моста, освещенную бледным светом, Заргарян и его три товарища, тужась, крутили и крутили штангу. Крестовина четырех рукояток поворачивалась, издавая особый носовой звук. Рабочие уже не занимались тем, что делалось на второй скважине, их покрасневшие лица были равнодушны, как внезапно становятся равнодушными к жизни очень тяжелые больные. Силы их му-

скулов перешли в движение, фосфор их мозга перешел в движение, легкая, уже привычная тошнота стояла в горле от тысячного поворота вокруг штанги, и колени, сгибаясь под прямым углом, равномерно, настойчиво, с силой вскидывались и вскидывались все в одном крошечном кругу.

2

Снизу вверх ничего не было видно или почти ничего, кроме контуров гор на уже потемневшем и густо вызвездившем небе. Но сверху вниз, там, где вилось чигдымское шоссе, был виден не только ленточной глистой трижды свернутый барачный городок с его тремя рядами огоньков, ярус под ярусом, но и далеко под ним, в русле Мизинки, бледное пламя работ. Со стороны станции (только-что отошел поезд) неся в этот час, неимоверно гремя и дребежжа, почтовый возок. Четыре маленьких мохнатых лошадки, с собачьей мелкотой и дробностью перебирая короткими ногами, возносились с зигзага на зигзаг под улюлюканье кучера Пайлака. Кучер Пайлак не сидел, он всегда правил стоя, крепко стянувши кушак русского полушубка на животе. Разбросав руки с вожжами, дико покрикивал Пайлак на своих собачьих коней, будя ночь архаизмом своего появления и этой повозки, насчитывавшей, должно быть, лет восемьдесят. Очень высокая, старинной формы, с приступочкой, на которую даже мужчина не мог ступить, не опершись предварительно ногой на колесную ось, она издавала, подпрыгивая, шум сотни жестянок из-под молока. На дне повозки лежал запечатанный огромной сургучной печатью мешок с почтой, принимая от толчков резкие и неожиданные очертания чего-то неуклюжеживого. В повозке сидел, подняв воротник к носу, необыкновенно тупой и невыразительный парень, считавшийся первым женихом в районе, — чигдымский почтальон. Обеими руками стиснув ружье, рукоятью припертое между колен, чигдымский жених спал крепчайше, не просыпаясь ни от толчков, ни от гиканья кучера. А Пайлак, даже правя и улюлюкая, не переставал смотреть и думать.

За думанье никто не платил Пайлаку. Это был накладной расход его личности, и, быть может, именно за подобную расточительность. Пайлак считался на селе Чигдым, в противоположность своему начальству, парнем ничего не стоящим. Пайлак был занят и озабочен каждое мгновение своей жизни — встречами, разговорами, сломя дух передаваемыми порученьями, но если б вы захотели подсмотреть его в этой кипучей деятельности, вам пришлось бы поднять не только шапку, но и черепную крышку Пайлака. Здороваясь мысленно со сбегавшими деревьями, поворотами шоссе, мелькнувшим профилем камня, Пайлак бормотал им что-то распухшими от ветра губами. Настоящее порученье он выполнил мимоходом, как делают что-нибудь нереальное, во сне или же в театре: вынул из-за пазухи веревкой обвязанный пакет и, когда проезжал мимо арки, с которой начиналась дорога на Гидрострой, не останавливаясь, швырнул его мальчишке-почтальону. Тот

подхватил пакет налету. Долгим опытом он выработал точное знание времени и точный взмах руки. Нырнув под арку, мальчишка побежал на участок, оставляя в своем фарватере густой запах чесноку. А Пайлак помчался дальше.

Только теперь-то и начиналось самое главное дело Пайлака. Он должен был передать ей,—ей, чье имя окружено величайшей тайной,— последние новости, последние шаги врагов. Она каждый день бежала навстречу Пайлаку, и в этом было главнейшее ремесло ее жизни. Она выбегала издалека, там, где стоят Мокрые горы. От Мокрых гор открещиваются и армяне и грузины, спросите-ка, где они, и грузин кивнет в сторону Армении, армянин — в сторону Грузии. С Мокрых гор идут всякие беды, — дожди, снег, градины с грецкой орех. Выбегая оттуда тощей девчущечкой, распустив зеленые волосы, мчалась она, судорожно дыша, навстречу Пайлаку. Ножка ее, оскользнувшись, пробовала там и сям дорогу. Волосы, цепляясь за встречные камни, оставляли зеленый блеск между песчаных отмелей. Где пробежать нельзя, она серебристо скалила зубки и вгрызалась в землю,—кто мог остановить ее? Над камнями, подпрыгивая вихрем серебра и золота, бегунья проскакивала,—ай, ай, что за девушка, милая девушка, джан ахчик¹⁾ была длинноволосая красоточка! Пайлак покачал головой, усмехаясь во весь свой большой рот. Он знал, что не так-то легко догнать ее, пять и шесть раз за сутки может она изменить дорогу, нынче ловите ее слева, завтра ловите ее справа, — ахчик джан, я привез колдуну три больших серых конверта, и на одном из них стоит, буква по букве, очень приятное слово «секретно». Ой, это хорошие новости! Что станут писать люди секретно, кроме как если сомневаются или боятся или получили по шапке? Смотри теперь в оба, наступают большие события, важные события! Беги, передай горе Кошке привет от чигдымского кучера Пайлака. Скажи горе Кошке, пусть смотрит в оба!

Ослепленный глубокой важностью наступающих дней и событий, чувствуя в себе эту ночь и все звезды, какие только есть в запасе у неба, пьяный шорохами, шопотом бегущих деревьев, во весь рост вытянувшись, гикнул что есть силы Пайлак на своих крысоногих лошадок и распластал обе руки с вожжами, как если б встречные ветры зеленоволосою девушкой кидались ему на грудь.

Но, озабоченно стрекоча и мурлыча, любовь кучера Пайлака пробежала вниз, в самой последней глубине каньона. Словно чуя надвигающиеся перемены, зеленоволосая девушка собралась с силами. В Мокрых горах шел девять дней дождь вперемежку со снегом. Сегодня снег стал таять. Она взбухла, вскипела от весенней подмоги. Цвет ее замутился, серыми кудрями била она по камням, вскарабкивалась, перекидывалась, грохоча и урча, катила сотнею пальцев неистовые шары — каменное оружие гор. Добежав до начала работ, Мизинка яростно замедлила, — русло ее здесь расширилось. Несколько затейливых по-

¹⁾ Джан ахчик — милая девочка.

лос в гальках говорило о хитрости речки. Пайлак не выдумывал. Мизинка меняла здесь русла, как платя. Покинутый длинный пробег хранил только исчезнувшую влагу на камнях, потому что речка, изменив направление, начинала вдруг бить на другой стороне. Докладная записка, в свое время подшитая к делу, сухо осведомляла об этих капризных свойствах и указывала на необходимость «ставить и хорошо крепить левобережную дамбу».

Здесь, в этом плацдарме, была для Мизинки самая страшная встреча с врагом. Здесь ей готовили западню. Сперва она пробежала тремя неровными струями под чем-то, что раздражало ее, сердило и утесняло своей необдуманной грузностью, потом вдруг, мгновенно изменив течение, стала тонко и остро, сильным напором бить в крайний левый рязж моста. Наверху люди, балансируя на еще не законченном мостовом настиле, крепили железом доски. При скудном свете двух фонарей, вознесенных столбами на берегу, был смутно виден весь этот мост, уже почти законченный. Только-что проведенная, жирная от прокатки дорога подходила к нему и отходила от него с той стороны до искусственной насыпи. Мост был временный, деревянный, предназначенный для перевозки материалов. Выбежав из-под пяти ряжей, как из-под пяти растопыренных пальцев, старавшихся цапнуть ее, Мизинка бросилась снова вперед, к черному горлу ущелья, видневшемуся перед ней. Оно было освещено с правой стороны. Именно тут, справа, не на самом речном пути, а таинственно в стороне от него, такое же черное, такое же узкое, такое же непреодолимое виднелось нечто внушавшее речке, повидимому, невыразимый ужас. Клокоча в этом месте, Мизинка споткнулась порогами. Даже и утекая в горло ущелья, обращала она серебро своей пены, дрожь тысячи брызг, хвостатую накипь волн на тихий и весь исковырянный, весь в горках земли необыкновенный бережок. Здесь был вход в отводной туннель.

Александр Александрович уже давно, обходя работы, проследовал к туннелю. Глуховатые уши он старательно заложил ваткой, потому что в этом месте был сильный сквозняк. Отводной туннель в сто пятьдесят метров длины уже весь был пройден по оси и расширен. Здесь работали греки. Вход в туннель шириною в 23 метра напоминал верхушку хорошего бокала для шампанского, суживавшегося к концу. Земля сочилась здесь тепловатой влагой, но дальше в самом туннеле дул резкий ветер. Диаметр там сокращался до пяти с лишним метров. Деревянный настил, укрепленный на середине туннеля, делил его на два этажа, мешая поймать глазом красивое и круглое жерло. Лишь там, где талию туннеля охватывало массивное железное кружало, глаз невольно, пробегая по обручу, угадывал внизу его продолжение и представлял себе и там, под досками, полое пространство. Между досками настила и проложенной по нему колеей были дыры и щели, куда с непривычки ушла бы нога новичка. Но рабочие ходили, не глядя, раскачивающейся походкой. По рельсам, резко скрипя, подкатывались тачки с бетоном. Стоя боком в туннеле, рабочие начи-

нали бетонировать стенку, и ясная, правильная, простая и несложная работа в той ее стадии, когда уже целое видно и ряд действий понятен не в разбивку, а в совокупности, увлекала, повидимому, и самих рабочих и молодого практиканта, стоявшего сейчас рядом с Александром Александровичем.

Отводной туннель был только маленькой деталью постройки, но красивой деталью. Практикант чувствовал это. Он таскал с собой в картонной папке рабочий чертеж. Его восхищало простое остроумие техники, жизни казалось мало, чтобы строить. Бывший слесарь, потом красноармеец, а теперь вузовец, практикант Фокин пропускал академический год, как и собственные дни отдыха. Но Александр Александрович упорно не вынимал ватки из уха. Его рассеянный, совершенно равнодушный взгляд блуждает сейчас по туннелю, ватка служит защитой от слишком громкого, быстрого, горячего напора слов. В сущности говорить не о чем, — Фокин отлично мог бы не говорить. Его, как грамотеев на ликпункте, в сорок лет восхищающихся буквой ща, сводит с ума вот это наглядное, волшебное «пи», когда он тарачит круглые «пролетарские» глаза на ясный обруч кружала и пересекающий его диаметр настила. «С такими невеждами мы строим» — брезгливо думает Александр Александрович, шествуя по туннелю.

3

Фокин между тем прервал вдруг себя и ринулся, подняв плечи и уперши подбородок в грудь, — жест боевого петуха, — головой вперед на чернявого молодого рабочего. Раздалась крепчайшая ругань, — один только Фокин позволял себе ругаться на участке, за что и попал однажды в стенное детище Степаноса, газету Луйс. И только фокинскую ругань рабочие выносили. Чернявый, присев боком на деревянный досочек обшивки, утрамбовывал насыпанный за обшивку бетон. В позе его Фокину чувствовалось критическое пренебрежение к бетону. Вырвав из его рук трамбовку, стал Фокин торжественно, налегая всем телом, уминать приятную влажность бетона и приговаривать, причмокивать вперемежку с бранью — вот как, парень, не пироги месить.

Александр Александрович воздержался от замечания. Чернявый рабочий внушал ему страх. Это был Аристид Самсонов, грек, брат того Михаила Самсонова, что работал в русской артели на мосту. И Михаил оскомину набил на участке, а уж про Аристида давно ходил слух, что он служит в ГПУ.

— Бетон, Алесан Алесандрович, никуда не годится, — развязно произнес чернявый, подходя к старичку, — вот в Германии бетон, это да. — Он достал папироску и, хотя курить на настиле строго запрещалось, закурил самым спокойным образом. Он даже старику протянул коробку, и к удивлению Фокина, подагрические пальцы с небольшой старческой дрожью вытянули и зажгли скверную самсоновскую папи-

росу. — В Германии бетон, это да, другая категория. В Германии даже штукатурка хороша. У нас идешь по улице, висит рабочий в люльке, кистью стену лупит, а там рабочий стоит на асфальте да из кишки любые этажи берет. Это я хорошо знаю. Я в Хамбурге на баррикаде за революцию сражался.

— Врешь ты все, ни за какие революции ты не сражался, — презрительно прервал Фокин, — а что бетон плох, опять врешь. Бетон удовлетворительный, трамбуй его получше, вот тебе и будет бетон.

Они дошли до конца туннеля и обернулись. Сводчатый, куполообразный, охваченный музыкальными тактами кружал, отсюда он был виден весь, во всей технической чистоте его формы. За спинами их, на сырой и усыпанной гальками площадке раздавался равномерный стук, прерываемый звуком сыплющегося тела: это работала бетоньерка. Рабочие засыпали ковш, и он опрокидывался с глухим ревом в бетономешалку. И здесь тоже, если приглядеться, рабочие двигались ловко и с удовольствием, работа ладилась, потому что между ровным жерлом туннеля и между этой компактной, маленькой, остроумной немецкой машинкой, чисто и твердо выполнявшей свои операции, уже установилась требовательная и размеренная во времени связь. Уже знали внутри, когда и сколько подадут бетона, тачка подкатывалась во-время и без суеты, и уже знали рабочие у машины, как и когда загружать тачку.

На операцию изготовления бетона можно было смотреть часами. Фокин и приходил сюда смотреть из чистого удовольствия, как любят иные сумасшедшие люди смотреть на закат солнца. Машина состояла из трех связанных друг с другом частей, — большого чугунного откидного ковша, подымавшегося примерно как чашка бульона ко рту больного, моторчика, приводившего все в движение, и, наконец, бетономешалки, походившей, если продлить сравнение, на большой и открытый рот. В бетономешалке имелись даже зубчатые челюсти. Рабочие щедрым и нескупым жестом, потому что работы у них было сравнительно немного и рассчитывать силу не приходилось, загружали ковш сперва тремя ящиками галек. Ковш поднимался, гальки сухо пересыпались о открытую пасть бетономешалки, а сверху, выделяясь автоматически, подобно слюне из слюнной железы, брызгала вниз на гальку тонкая струя воды. Тем временем в ковш засыпалась уже другая пища: ящик промытого песку и третья часть бочки цемента. Опять, поднимаясь, ковш опрокидывал сыплющуюся массу в бетономешалку, и пасть пережевывала гальку с песком; крутясь из стороны в сторону, пересыпая пищу с челюсти на челюсть, приятно щекотно, со стрекочущим вкусным звуком ходили и отплясывали в кружившейся бетономешалке гальки, обволакиваясь песком и цементом. Теперь они становились уже не сухими, а жирными, смутно блестящими, влажными, приятно похрустывая на металлических зубах; но тут машина, остановившись, поднимала хвостик, и готовый бетон тяжелыми галетами сыпался на подставленную тачку. Все, кроме засыпки, производилось автоматически.

Подойдя к машине, Фокин сунул пальцы в заготовленные носилки с песком. Он потер его между ладонями, вкусно взяв стопочку. Потом, прищурясь, взглянул на него и протянул Александру Александровичу. Песок был хорош.

Старый инженер, удерживая зевоту, похвалил. Спору нет, работа здесь на туннеле шла, и сами рабочие отлично знали это. Ему хотелось вернуться, выпить чаю и лечь спать до ужина. Но оставался еще третий участок работы, необходимо было вновь пройти через туннель и, узнавши насчет коронки, спуститься по мокрым и грязным доскам на мост. Фокин, простившись, остался стоять у бетоньерки. Он слышал шум Мизинки, в этом месте ревя выскакивавшей из ущелья. Зеленые глаза ее из-под вороха сверкающих пеной водос как-будто уставились на практиканта блестящим взглядом тигрицы: это речка, беря препятствие, на мгновенье вскипая пеной, замерла над камнем.

— Погоди ужоточко, — ласково сказал Фокин, — добежишь до знакомого места, да не тут-то было. Пут тебе такого наставим, что ты живо повернешь боком да войдешь мышью в туннельчик. И не таких видывали!

Он теперь тоже врал, как Аристид Самсонов насчет баррикад. Никаких «таких» Фокин отродясь не видывал и даже Кавказ знал только проездом. Типичный северный русачок, веснушчатый, как деревенская девочка, он знал реки медленные и полные, как белобрысые бабы на севере. Такие только семечками лузгали. Но уж очень хорошо было жить, отчего и не приврать малость Фокину наедине-то с собой? Подняв пальцы и складывая их кукишем, от избытка чувств улыбаясь нежнейшей улыбкой, счастливый Фокин показал зеленоглазой красавице комбинацию из трех пальцев.

Для расшвирипевшей речки это была между тем отнюдь не последняя неприятность. Выскочив из самого узкого места ущелья, где по проекту предполагалось воздвигнуть аховую американскую плотину в 37 метров вышины, речка побежала теперь по глубокому дну каньона. Справа и слева от нее вставали замшелыми стенами старые порфириновые кручи, похожие днем на изъеденную временем тусклую кожу слона. Зигзаги ее пути, не особенно резкие, шли вниз к станции, паденье тут было очень большое, речка кубарем скатывалась, бормоча сердито на ходу, но сегодня все шло не так, как полагается. Большую, раздутую дождем и снегом весеннюю массу воды не хотели оставить в покое даже ночью. В одной из теснин каньона при свете звезд да ярких ручных фонариков можно было разглядеть узкий, плоский, на финскую лыжу похожий мостик, вознесенный на стальных тросах. Возле него копошились с ящиком и темным скелетом какого-то инструмента два человека. Один носил фуражку инженера. Другой был крестьянином. Первый, в фуражке инженера, был гидрометр Ареульский. Каждый, кто слышал фамилию эту в первый раз, невольно переспрашивал: как? Ареульский? Но далеко не каждому по секрету сообщали темную тайну этой фамилии. Дело в том, что гидрометр Ареульский, бывший в те

дни и не гидрометром и не Ареульским, а недоучившимся студентом Прохоровым, внезапно, по совершенно неизведанным причинам, поместил в газете таинственный запрос насчет перемены фамилии Прохоров на Ареульский, призывая высказаться тех, кто видит к тому препятствия. Не встретив препятствий, загс переименовал фамилию, и Ареульский стал фактом. О мотивах он намекнул только однажды: человек должен носить фамилию по себе.

Гидрометр Ареульский, взволнованный начавшимся весенним паводком, самолично вынимал из ящика вертушку и прикреплял ее к концу длинного шеста. У него не было помощников, кроме этого разини Мкртича, напоминавшего Санчо Пансу при Дон-Кихоте. Разиня Мкртич во-время не оказался на посту, и речка опрокинула сегодня доску с делениями, стоявшую у воды и показывавшую уровень. И сейчас Ареульский грозно молчал и не давал Мкртичу ни до чего дотронуться, что было сильнейшим выражением гнева. Но так как стоять на мосту с вертушкой и записывать, следя по часам за звончком, число оборотов в секунду никак нельзя двумя руками, а требуется их по меньшей мере три, Ареульский молча сунул в руки Мкртича шест с вертушкой и, дав ему презрительный подзатыльник, толкнул к мосту. Идя, точнее переваливаясь с шестом, по зыбкому мостику, Мкртич показывал звездам лукавое и толстое лицо с ямочкой на щеке. За ним тонкою змейкой полз шнур от батарейки.

Оставшись один, гидрометр Ареульский запахнулся в кашне, как Альмавива в плащ. Лицо его перекосила горькая усмешка. Лицо было чрезвычайно худое, вытянутое книзу, глаза мрачные и тощие в провалах глазниц, брови дугой, и был бы в этом лице совершенный испанский стиль, если б не подпортил нос. Нельзя было скрыть, что нос Ареульского курнос. Он торчал обыкновенной, как где-то у Лескова, пипочкой и довольно прохладно дышал на губы, отстоявшие от него неестественно далеко.

Поставив удобно на краю моста батарейку, Ареульский прикрепил фонарик, достал секундомер и раскрыл свой блокнот. Опять же необходимо сказать, что блокнот свой Ареульский не давал в руки простым смертным. Каждому, кто хотел бы вникнуть в тайну его профессии, он коротко и сухо замечал, что высшая математика не поддается передаче, учиться, учиться надо для этого. Заклятому своему врагу, практиканту Фокину, сказавшему как-то, что гидрометрия дело пустое и что вычислить скорость воды—просто плюнуть, он долго не мог подавать руки. А помирившись, не глядя ему в глаза и усмехаясь снисходительно, объяснил, что «дебет или расход реки исчисляется интегрально, ибо движение волн—это не прямое движение, а оно описывает параболу».

Описывая параболу, мутные волны Мизинки ждали сейчас последней своей неприятности. Крестьянин Мкртич дошел до середины моста. Здесь он остановился и стал опускать шест с вертушкой в воду. Вертушка,—красивый инструмент со стальными лопастями, похожий

на детскую игрушечную ветряную мельницу, какие делают из пестрых бумажек и продают сидящими на палочках, — соединена была с электрическим звончком. Опустив ее до поверхности воды, Мкртич стал ждать. Мизинка разъяренно забила в стальные лопасти. От каждого удара воды лопасти беспрерывно вертелись, и всякий раз, как вертушка совершала двадцать пять оборотов, автоматически звонил звонок. С секундомером в руках Ареульский записывал, сколько оборотов делает вертушка в секунду. Такие измерения проделывались у поверхности реки, в середине ее и у самого дна, где скорость воды равна почти что нулю. На поверхности расход был самый сильный, а в середине реки слабее. Обыватель, присутствуя на опытах, сказал бы, что река течет быстро на поверхности, по середине дает среднюю скорость и на самом дне стоит, как в луже. Но Ареульский, снисходительно улыбаясь, отверг бы такую арифметику и показал бы, что «средняя скорость» лежит не в середине, а ниже середины, как результат движения по параболе. Чтоб вывести эту среднюю, скажет он важно, и требуются интегралы.

Мимо, мимо Ареульского пробегает Мизинка, унося свое израненное вертушкой, избитое вертушкой нежное водяное тело. В этом стремительном беге, неукротимая, невозвратная, как человеческое время, когда-то воспетая Гераклитом в его афоризме «все течет» и «нельзя войти второй раз в ту же самую воду», потому что она меняется скорее, чем через мгновенье, не знает речка Мизинка, что уже высчитан, выверен и найден весь жизненный уклад ее, весь «режим» ее, как суховато говорят записи: когда, в какой месяц и где, в какой точке, сколько и с какой скоростью пробегает в Мизинке воды.

4

Между тем другой бегущий, мальчишка-почтальон, оставляя в фарватере густой запах чесноку, донес уже до верхних барачков полученный от Пайлака пакет. Кучер Пайлак не врал речке. Кучер Пайлак сказал правду: в пакете было ровно три сероватых конверта, и на одном из них стояло «секретно».

Начальник участка уже ушел из конторы и был дома, куда его влекло скрытое неблагополучие семейной жизни. С минуты приезда Клавочки на участок это таинственное неблагополучие дало себя знать в мигрени «мадам». Хрустя тонкими пальцами в рубинах, мадам подолгу простаивала у окна, повязав голову пестрым шелковым шарфом. В обед она ложилась на кушетку. Прибор ее на столе, против прибора мужа, оставался нетронутым.

— Мари, да ты скушай чего-нибудь, — говорил муж насильственно беспечным голосом, глядя, как сухие и тонкие руки ее прикладывают к плоскому лбу платочек, намоченный в уксусе. Мари загадочно улыбалась. Она вперяла в мужа выцветшие глаза монахини. Сложная и героическая работа происходила в ней. Ей казалось, эта работа ясна

и понятна ему, ясно и понятно усилие простить, снисхожденье, одинокий отход к себе, к своему величайшему самопожертвованию: видишь, я знаю, терплю, не устраиваю сцен, живи, живи, но... не трогай меня, я умираю, быть может.

Кушая суп с твердой и плохо проваренной макаронной, Левон Давыдович совсем этого не видел, а про себя думал только два слова: «сумасшедшая психопатка». Макароны выскальзывала у него изо рта, он неловко втягивал ее обратно, помогая себе большой серебряной ложкой с бельгийскими инициалами мадам. Не мог же он сказать ей, что жену своего начканца, Клавдию Ивановну, ни разу не видел ни в лицо, ни в профиль и даже не знает, толстая ли она блондинка, или худая брюнетка. Но по странному свойству своей природы мучительно длить всяческие неприятности, как бы видя в нагромождении их нечто в роде собственных своих заслуг, Левон Давыдович навязчиво стремился в эти минуты быть дома, сидеть под выцветшим взглядом жены, впитывать хруст ее пальцев и подставлять себя под укусы: на, на, на. Подставляя себя под укусы, уже два дня не бритый, он ходил и сейчас взад и вперед по столовой, как можно сильнее и громче наступая на пол.

Три конверта легли пред ним на стол, и на одном из них стояло «секретно». Так обычно писали из правления, злоупотребляя секретностью. Каждую ерунду конспираторы из правления передавали сюда на участок под этим кричащим заголовком. Пожав плечами, начальник участка разорвал конверт и все на ходу, причиняя мадам гнетущее сердцебиение своим скрипучим шагом, принялся было за чтение. Но не прошло и секунды, как письмо полетело на стол, а сам Левон Давыдович резко остановился у висевшего на стене телефона.

В соседнем бараке, сидя за деревянной перегородкой у небольшого участкового коммутатора, телефонистка, жена Маркаряна, встрепенулась. Она прервала увлекательное занятие—расчесыванье подмышек — и, сняв телефонную трубку, приложила ее к уху. Облачко задушевной преданности прошло по ее лицу: говорил начальник.

— Хорошо, Левон Давыдович, сейчас, Левон Давыдович.

Положив трубку, она поспешно вытянула из дырочки вкусную кишку соединителя, похожего на наконечник клизмы, и вложила его в другую дырочку: квартира начальника участка соединилась с отводным туннелем. Потом, оглянувшись по сторонам, жена Маркаряна осторожно нажала кнопку, чтобы не слышно было контрольного звонка, снова схватила трубку и, сложив губы сердечком, устремила блуждающие, круглые, томные глаза под потолок, — она мирно подслушивала.

Начальник участка взволнованно требовал к телефону Александра Александровича. Отводной туннель ответил свежим и грубым голосом (кажется, Фокин. Телефонистка презрительно поморщилась, она не любила Фокина), что Александр Александрович минут пять как ушел на мост. Начальник участка потребовал узнать, вытасцен ли бур из

скеажины номер четыре. Фокин ответил, что вытасчен. Тогда начальник участка, — он, несомненно, волновался, голос его дошел до писка, что-то случилось, что такое могло случиться? — начальник участка велел спешно разыскать на мосту Александра Александровича и передать ему, что он, Левон Давыдович, просит его немедленно, тотчас же, итти обратно, начальник участка будет ждать его у себя на дому.

Жена Маркаряна бросила трубку, — кто-то шел к ней за перегородку. Это шел Володя-конторщик. Но сказать ему что-нибудь она не успела. Только-что захлопнутое ею окошечко номер девять открыло глазок. Говорила квартира начальника участка.

Отвечая Левону Давыдовичу, телефонистка коленкою отводила чересчур любопытного Володю-конторщика. Володя-конторщик, охваченный равномерно любовью и любопытством, старался использовать двойкую выгодность своего положения. Он тянулся к трубке, налегая на большое тело жены Маркаряна, чувствуя с удовольствием знакомый запах подмышек и собачьего меха. Роман их начался именно тут, у трубки коммутатора.

— Да, Левон Давыдович, хорошо, Левон Давыдович... то-есть, я хочу сказать, — круглые блуждающие глаза телефонистки и нечистая улыбка ее больших, раскрывшихся губ с укором сомнамбулы обернулись к Володе-конторщику, — хочу сказать, что их нет сейчас в канцелярии, Захара Петровича нет. Если хотите, я за ними пошлю кого-нибудь. Хорошо, будьте спокойны, передам в точности.

Она в третий раз положила трубку. Нужно было спешно послать за Захаром Петровичем и передать, что начальник участка ждет его немедленно у себя на дому. Набросав телефонное порученье на бумагу мелким и кривым почерком, жена Маркаряна повернулась к Володе-конторщику. Новость была сейчас важнее поцелуя. В новости захлебывались оба: меринос определенно знал от мальчишки-почтальона, что пришла бумага из правления с пометкой «секретно»; его любовница определенно знала, что в квартире начальника участка готовится экстренное совещанье.

В этот час, когда в сущности оба они, и Левон Давыдович и начканц, должны бы присутствовать в канцелярии, даже и аккуратнейший Захар Петрович был по семейным обстоятельствам дома. Крепко и поздно пообедав привезенными Клавдией Ивановной из города булками, колбасой, копченой грудинкой, огурчиком, шестидесятиградусной карабахской водкой, ореховой халвой и прочими припасами, для быстроты и легкости подложив на стол, вместо тарелки, бурый лист оберточной бумаги, Захар Петрович отдыхал сейчас рядом с Клавдией Ивановной на кривоногой семейной кровати и с удовольствием курил, пуская дым в потолок. На шелковое черное трико своей жены он не обратил особенного вниманья. Супруги были заняты сейчас тихим и немногосложным разговором, впрочем, и без того неслышным ни за стеной, ни в коридоре. Логово начканца было так грязно, воздух (или отсутствие воздуха) такую плотной завесой стояли здесь, как

столб пыли на солнце, что шопот и шорох падали вниз, едва родившись.

Сегодня, как и всегда, оба они думали и беспокоились об одном и том же. Начканц знал это свойство семейной жизни и уже с утра, приглядевшись к ослепительно похорошевшей, но чем-то внутренне обеспокоенной жене, и сам от нее не скрыл собственной тревоги. После обеда каждый из них поведал секрет другому, утаив, — словно не секрет, а порцию шоколаду, — половину исключительно для себя. Даже и то, что половина утаивается, один про другого знал и считал в порядке вещей.

Начканц сказал:

— Я, Клава, кажется, Фифишку сваял. Рыжий этот... не того, словом. Ты бы в городе...

Жена ответила:

— Не беспокойся! Двадцать раз узнавала.

Клабочка и в самом деле думала о рыжем. На душе у нее лежала тяжесть. Про письмо она тогда не соврала. Аршак написал письмо, и это письмо до сих пор лежит у нее за подкладкой пальто. Половина, которую она утаивала сейчас от мужа, именно и была в этом. Получив конверт для передачи, она еще в городе подержала его, как делала решительно всегда с чужими письмами, над кипящим чайником и легко на пару вскрыла его. Аршак писал своему другу мало понятно:

Рыжий джан!

Республика обновляется. Кто-то с'ездил в центр и узнал, что искусству нужна диалектика. Мне предложено «организовать левое крыло». Портрет я написал, портрет дрянь (уступка станковой живописи), за него дали деньги, приезжайте пить. Клабочке я все-таки... (здесь следовала похабщина).

Аршак.

На обороте письма находился замечательный *post scriptum*:

После вашего отъезда в особняк явилось ГПУ. Меня допрашивали час с четвертью о Вас,—кто Вы такой, и не знаю ли я, каким образом Вы сделали парикмахером. Ответил—не знаю.

Примите к сведению.

Ар.

Только этот *постскриптим* да похабщину и поняла Клабочка. Похабщина решила судьбу письма,—оно «затерялось» у нее в подкладке. Но, запуганная странной припиской, Клабочка терзалась в догадке: что же значит такое, — политика, ясно, — а только грозит ли политика рыжему или, наоборот, сам рыжий грозит политикой? Станный человек, на грошевое жалованье без разговора поехал, часы палкой устроил, а сам из-за границы, — там, говорят, на собачьих ошейниках и то часы есть, дешевле луку стоят. По мужу, Захару Петровичу, выходило, что опасность грозила не рыжему, а, наоборот, от рыжего. Мужу, Захару Петровичу, могли выйти через рыжего неприятности по службе.

— Если хочешь знать, — Клабочка оперлась на кулачок и повер-

нула к мужу бледное, сейчас чуть помятое лицо. Ее блестящие, вывернутые, зеленые глаза, обведенные синевой, стали таинственными, как у маленьких детей, когда они хотят «пугать», — вот тебе, если хочешь знать, совет. Спроси твоего рыжего...

В дверь отчаянно застучали. Мальчишка-почтальон барабанил в нее обоими кулаками. В зубах у него, пропитанная чесноком, белела свернутая записочка: телефонное поручение Левона Давыдовича.

5

На мосту работали в этот вечер три артели. Две из них крепили дамбы с правой и с левой стороны моста, вернее, обкладывали их камнями, выломанными тут же на горе в местном туфовом карьере. Эти артели состояли из армян-чернорабочих. Третья артель, русская, плотничья, заканчивала укладку моста.

Мост был первым строительным опытом Левона Давыдовича по части мостов. Перед умственным его оком, когда он проектировал этот мост, стояли тишайшие долины Фландрии и меланхоличные реки Фландрии с их ровною и постоянной водяной массой. Даже облака Фландрии представлял себе Левон Давыдович, поскольку он был охотником, любил охоту на диких уток и, как все охотники, имел чувство пейзажа. Облака, долины и реки тесно срослись в этом представлении с академическим учебником расчетов, лежавшим для освежения памяти перед ним на столе. Правление поручило эту маленькую работу начальнику участка, и, вполне отвечая маленькой работе, вставал на первой странице книги стандартный образ моста,— нечто в роде «перворастения» Гете,— конструктивная схема, подобная в магазинах готового платья приличному стандартному пальто на средний рост. Левон Давыдович был педантичнейшим человеком буквы. Он хотел сделаться приличный и красивый мост «на средний рост», задание было строить сопрогивляемость на 250 кубо-метров.

Это значило, что мост рассчитывался на меньший, чем средний, расход воды в речке. Между этим детищем начальника участка и тем тонким мостиком, похожим на финскую лыжу, была глубокая родственная связь, хотя и по «боковой линии»: там, на мостике гидрометра, изучался расход воды в реке; там найдены были данные, по которым высшая точка этого расхода, сильный весенний паводок, случавшийся с Мизинкой не чаще, чем раз в столет, давал цифру в 750 кубо-метров в секунду. Именно эти-то исчисления с резонной надеждой, что Мизинка, разлившаяся крупно еще в прошлом году, даст в годы следующие затихание весенних разливов, и привели здесь, на обсужденном и утвержденном правлением «деле о постройке временного деревянного моста чрез речку Мизинку для перевозки необходимых грузов», к представленной цифре: строить временный мост на 250 кубо-метров.

— Четыре года постоит, а больше и не надо, — такова была предрешенная душа этого моста. Но Левон Давыдович любил монументаль-

ность. С бумаги, исчерченной его суховатой небольшой рукой, на берега Мизинки перенесся академический суррогат из учебника. Он был навязан Мизинке, как приличное европейское платье бесстыдной голытьбе папуасской женщины. По-своему он был красив. Это были тяжелые монументальные мнимо-солидные формы, выполненные в легком материале, это был детский пистолет «пугач». Вот он стоит сейчас, почти законченный при бледном свете звезд и скупом пламени фонаря. Справа и слева к нему по искусственной насыпи подходит новая дорога, еще жирная от недавней прокатки. Дамбы чисто, для красоты, обложены камнями, — так красят под бронзу гипс. Мостовой настил ровною колеей с невысокими перильцами возносится над сторукими воплями ферм, этих кариатид современности. Под фермами уплывают вниз спеленутые ноги кариатид — деревянные ряжи. Говоря же без поэтических аналогий, надо сказать прямо: Левон Давыдович построил через Мизинку обычный деревянный мост на пяти ряжах, какие хорошо ставить на медленных реках по ровным руслам или же еще лучше в учебниках механики для наглядного обучения простейшим применениям закона рычага.

Подходя к нему не с дороги, а снизу, где все еще ходят рабочие и подвозятся строевые доски, потому что новую дорогу, как незастывший пломбир, покуда не трогали, вы видите четыре красивых пролета и тяжелый профиль. Станным кажется этот профиль над тощим и худеньким тельцем речонки, распластавшейся в этом месте на животе. Курица могла бы перейти ее в брод. Шевеля зеленым остреньким плечиком, проползала Мизинка между ряжами, и не хватало Мизинки, чтоб заполнить, забить, захватить все четыре пролета, как не хватает у папуаски тела, чтоб заполнить, забить все сложные хитрости европейского платья. Свернувшись, она била в последний ряж, грызла его сотней зубов, оставляя вдруг совершенно пустыми все три пролета, как ненадетые рукава от платья.

Третья артель, плотничья, делала свое дело наверху спеша и молча, но той ясной и слаженной, хорошо понятой работы, какая была в отводном туннеле, здесь не чувствовалось. Наоборот, рабочие показывали короткой небрежностью своих движений, что на постройку моста они глядят несерьезно. Внизу, где крепили дамбу, чернорабочие по-армянски издевались над своим телом. Тяжелый и мнимо-солидный профиль моста казался им чем-то в роде господина в котелке, который не сумеет, когда понадобится, поднять ведро с водой.

— Разве в наших местах это мост? — подхватывал Михаил Самсонов, понимавший по-армянски. Инженеров этих за решетку, вот куда. Аробщики, которые нам доски возили, и те смеются: для кого, для красоты строите? Первая вода его скovyрнет.

Он злобно швырнул камнем в ряж.

— Нам еще лучше, дважды работать придется, — отозвались сверху.

Насчет того, что верхним, плотничьей артели, дважды придется работать, нижние как-будто не только не сомневались, но и еще про себя вспомнили очень смешное, они ответили раскатом хохота. Плотник Шибкò, возглавлявший верхнюю артель, принимал сейчас длинную, последнюю доску настила, медленно передвигающуюся в руках десятка рабочих, — шла в воздухе, плавно и тяжело колыхаясь, стесненная в движеньях своею бесконечной длиной, как неуклюжее тело змеи. Шибкò сделал вид, что не слышит хохота. Он был внушителен даже среди своих рослых и крепких русаков. Лицо его походило на старую лубочную картинку «Боярина», — холеная квадратная борода Шибкò сильно с проседью, русский стиль кучерявой и к ушам растущей шевелюры, стриженной «под гребенку», брови твердые, ясно очерченные, глаза серые с поволокой, — никак не соединялось все это с рассказами о его особых талантах. Он пропустил хохот мимо ушей: неделю назад он ухитрился получить с артельщика дважды зарплату за одну и ту же работу: первый раз по оригиналу, второй раз по копии.

Когда Александр Александрович, шлепая калошами по мокрым камням, подходил к правобережной дамбе, возле которой самодельная и неудобная лесенка вела на мост, рабочие артели Шибкò уже спустили последнюю доску настила. Она вдвинулась, неся за собой все свои точки, с приятно и чувствительной для плотника упругостью в оставленное для нее пустое место. Рабочие, сбившись в кучу, сидели теперь на мосту, глядя, как Александр Александрович подходит. Когда-то, выдвинув ящик, где были гвозди, я увидела ржавчину на гвоздях, и одно ржавое пятнышко зашевелилось: по гвоздю побежал паучок цвета заржавелого железа. Мне удивительным показалось, что паук приспособился не к природе, не к обычной среде, а к временной окиси, которая, очевидно, стала для него природной средою. Так можно было бы, выдвинув ящик с работами, если б уместились эти работы в ящике, пережить удивительный факт приспособляемости каждой группы рабочих к своей временной и искусственной среде... Подняв голову и восходя на последнюю, самую каверзную ступеньку, — здесь брались обычно руками за настил, чтобы не свалиться, — Александр Александрович увидел их всех, со спущенными беззаботно ногами, с равнодушием на белых лицах, с зевком на пухловатых и светлоусых ртах, — забубенную артель Шибкò, умевшую, как никто на участке, изводить самой ловкой формой поединка — молчаньем. Артель молчала даже когда пила горькую, когда вырабатывала по тридцати целковых в сутки на душу. Александр Александрович боялся их больше, чем Аристиды Самсонова. А тут, поднимаясь, он услышал вдруг, что артель разговаривает. С какой-то медленностью, словно горло опухло и слова выходили оттуда с сильной натугой, рассказывал Шибкò, — он это делал раз в год, — о русско-японской войне, в которой участвовал. С величайшим равнодушием Шибкò говорил:

— А китайская женщина не работает, сидит дома цветочком. Муж сам за нее все делает, — и стирает он, и котел на огонь ставит, и за дитёй ходит, дитю носит, и на жену, как на икону, молится. Есть у них выражение «жиб-кашанхà» — жена-красота!

Эта неожиданная речь оскорбительно подчеркивала все глубочайшее пренебрежение артели к «текущему моменту». Последняя доска настила, последний гвоздь полугодовой работы, который они должны сейчас забить, отодвинулись этой речью в сторону. Защитный цвет, — рабочие артели Шибкò были сейчас так же неестественно и мнимомонументальны, как построенный ими мост. Поза их, — за внешней полной беспечностью, — прятала неуваженье.

Отдышавшись, Александр Александрович долез. Ему следовало пройти по мосту, который на-днях должна была «принять» комиссия из правления. Но у него подагрически ныло правое бедро. Он медлил.

— Александр Александрович!—грубым и свежим голосом закричал снизу Фокин. — Сейчас начальник участка по телефону звонил, просит вас воротиться, он ждет на квартире! Сказал, поскорее!

Тайные вести Пайлака начали медленную работу.

(Продолжение следует).

Бродячий цирк

Повесть

Вяч. ШИШКОВ

Время летнее, — большая дорога к уездному городу, как и всякая дорога, помаленьку пылила. Мухрастая лошаденка с большим возом уныло переступала. Она измучена жарой, тяжелой поклажей и слепнями, но покорилась своей участи, плелась спокойно. На возу — сундуки, декорации, шесты, веревки, трапедии с металлическими кольцами, проплеванные, уснащенные грязью коврики и прочее имущество бродячего, кустарного типа цирка.

На расписном сундуке под блеклым зонтиком средних лет женщина. Сухощавая, загорелая, с ярко накрашенными губами, она похожа на цыганку. Рядом с нею девочка лет восьми, ее дочь Тамара. Непокрытая кудрявая голова ее вся в пыли, вся в бантиках. Возле воза мрачно шагает в ситцевой с расстегнутым воротом рубаше босой мужчина. Он — глава семьи, сам директор Роберти фон-Деларю.

Подвластная ему труппа невелика: она бежит за телегой. Это две собачонки на свободе, — их кличка: Шахер - Махер, — да еще привязанная к задку телеги черная коза. Переполненное козье вымя роняет в пыль капли молока. Ее сын, козленок, такой же черный, как и мать, от усиленной дрессировки и плохого корма третьего дня сдох: за полминуты до естественной смерти ему перерезали горло, и он попал в котел.

Кроме этих четвероногих артистов, на телеге в клетках помещались: двенадцать мышей, ушастый филин и курица с петухом. Петух умел петь по приказанию, знал таблицу умножения лучше, чем сам хозяин, курица тоже могла петь по-петушиному, но это удавалось весьма редко: она кукурекала либо до начала представления, либо когда все зрители уходили спать.

С некоторой натяжкой можно бы отнести к цирковым артистам и шкуру крокодила. Когда в шкуру залезала девочка, крокодил обычно оживал, выползал на арену, вставал на задние лапы, раскланивался с публикой и пищал, как заяц.

Главные же цирковые силы уже везжали в уездный городок, в котором дня через четыре ярмарка. Это — чемпион мира, храбрый непобедимый борец Еруслан Костров, мужчина толстощекий, рыжий,

бородатый. Он верхом на лошади, хорошо откормленной, но чрезвычайно старой. Еруслан Костров на левую ногу чуть-чуть хромает: нога повреждена в городе Бежецке самым обыкновенным банщиком, которого борец вызвал на состязание. Слегка подвыпивший банщик Пупков Андрей охотно вышел с галерки, быстро положил совершенно пьяного непобедимого борца на обе лопатки, нечаянно выдернул ему из сустава ногу, получив пять рублей, и смиренхонько, не отвечая на восторженный рев публики, ушел в ближайшую пивную.

Директор цирка, шотландец Роберти фон-Деларю, хотел выгнать Еруслана Кострова вон, однако, за него вступилась страхкасса. Через шесть недель борец поправился и стал еще крепче, еще непобедимее.

Дрессированная лошадь, на которой торжественно, как Санчо Панса, в'езжал в город Еруслан Костров, была шоколадного цвета с сильной проседью. Наверно через год лошадь окончательно поседеет или, что вероятнее, будет сведена на живодерню. Кличка ее — Жозефина - Неподгадь. Такое сочетание слов иностранного и русского на первый взгляд довольно непонятно. Но дело в том, что оно заслужено престарелой лошадию по справедливости: во время вольного аллюра и размеренной скачки на арене Жозефина - Неподгадь сильно растрясалась, ее начинало изрядно слабить. Такой конфуз обычно вызывал смех и хулиганский гогот несдержанной толпы. Директор цирка в предотвращение подобных неприятностей, а также в видах очевидной экономии решил кормить лошадь очень мало, а накануне «гала-представлений» держать ее на одной воде, сдобренной каломелью и прочими цыганскими укрепляющими желудок средствами. Тем не менее, как уже видел читатель, благородное животное и не думало спадать в теле.

Вот и вся труппа бродячего цирка.

Впрочем, сзади, в неведомых пространствах, двигался целый кортеж всяческих зверей: два леопарда, бенгальский тигр, ягуар, пантера и медведь - муравьед. Кроме того, должны вот-вот прибыть выписанные из Берлина и Токио знаменитые эквилибристы, жонглеры, фокусники, трансформаторы.

Шотландец Роберти фон - Деларю счастливо улыбается в длинные, свисавшие черные усы, озирается назад, в ту таинственную даль, где по его следам влечется его слава и богатство. Но это лишь его мечта. Он знает, что сзади ничего нет, кроме прожитых в нужде злополучных дней. А впереди — лишения, труд, унижительное прозябанье, смерть. И директор с длинными усами тяжело вздыхает. Но все-таки мечта берет свое, она уводит его из будней в праздник.

Шотландец Роберти фон-Деларю был холмогорский мещанин и звали его Иван Васильич Толстобок. Цирковое же прозвище это, неизменно красовавшееся на афишах, придумал акробат мистер Мартенс (полотер из Ростова-на-Дону Мартынов). Выдумав прозвище своему патрону, он, каналья, сбежал из цирка с директорской любовницей Матильдой, танцовщицей. Новокрещенный Роберти фон-Де-

ларю с горя запил. Но все кончилось общим благополучием: директор Иван Васильич Толстобоков приобрел звучное титулованное имя, мистер Мартенс—образцовую любовницу, законная жена директора—Федосья Никитишна фон - Деларю — прежнюю верность мужа.

1. Слон

Агент коммунального отдела отвел цирку место на торговой площади. Прежде всего был сооружен из брезента большой шалаш, в котором поместились хозяева и четвероногие артисты. Что касаето всемирно известного борца и Жозефины - Неподгадь, они временно ночевали под открытым небом. Ни Еруслан Костров, ни хозяева за лошадь не боялись: не было возможности такую старушеницу угнать. Это установлено в городе Кромах случайным опытом. А именно: после выгодной ликвидации всех дел и директор и сподручные напильсь до беспамятства. Этим воспользовались темные люди, конокрады. Они в два кнута пороли лошадь, тыкали ее в холки острым шилом, с остервененьем волокли за хвост. Жозефина - Неподгадь стояла, как вкопанная, только похрапывала и мотала древней головой. Так мазурикам и не пришлось украсть коня: они взмокли, изругались, иссердились и с пожелтевшими от ярости глазами ушли домой, сняв на память с Еруслана Кострова смазные сапоги. Вот как было дело.

А теперь на новом месте, благополучно восстав ото сна, холмогорский шотландец Деларю купил в лесном складе бревен, жердя и досок. Тут пришел конец его скудным капиталам. Расходов же предстояло множество. Нужно нанять трех плотников, гармониста, барабанщика, двух ответственных рабочих, нужно прикупить ситцу, кумачу, стеклярусу для декораций... Нужно... Да мало ли чего необходимо в спешном порядке закупить... Эх, чорт возьми! И это — жизнь.

Но директор Деларю не из тех, что с первой неудачи клонят голову, директор Деларю ловко выходил из всяких положений. Впрочем, ему усердно помогал и Еруслан Костров, его земляк по Холмогорам. Вот и на этот раз он быстро раздобыл чрез биржу труда трех безработных плотников: Фому, Григорья и Луку. Правда, плотники эти плохие, они, можно сказать, ни топора, ни пилы в руках не держали: двое—пропившиеся шорники, третий же, Лука, профессиональный нищий-попрошайка.

Плотники хозяину понравились, особенно Григорий и Лука.

— Я вас, ребята, без хлеба не оставляю, — сказал им мистер Деларю. — Будете мне ответственными артистами. Я, конечно дело, до сих пор на ваше сальто-мортале не надеюсь, в видах неуклюжести вашей физкультуры, но что касаето всего прочего, то... Поняли ребята?

— Ну, ясное дело... — ответил брюхатенький карапуз Лука. — Да что мы утки что ли без понятий которые? Я, например, долгое время на руках могу итти.

Хозяин показал им все премудрости, открыл все свои секреты, целый час тренировал их и, уходя, проговорил:

— В случае чего, ребята, не ударьте в грязь лицом. Ну, благословляйте. Жена, благословляй! Пошел...

Куда итти? Городишко незнакомый. Однако, частной торговли на базаре препорядочно. А было воскресенье. Выспросил он сторожа базарного, кто из торговцев порастяпистей да подoberей, записал в книжонку и—прямо по квартирам. Вид у директора на дальнем расстоянии залихватский, щегольский. На голове—цилиндр, служивший ему для фокуса с яичницей. Правда, цилиндр довольно мятый, штопанный: каналья мистер Мартенс во время схватки из-за балерины с такой силой ударил кулаком по хозяйской голове, что цилиндр лопнул в трех местах и нахлобучил хозяина по самый рот. Брюки горохового цвета, сильно траченные молью, из-под брюк выгидаывают, хотя и трепанные, но лакированные туфли, надетые, к сожалению, на босую ногу. Пиджак и жилет тоже приличные, светло-синие, с мелким красным крапом, но очень широки, не по фигуре. Они принадлежат Еруслану Кострову—дар благодарных граждан Старой Руссы. Оцилиндренный наряд директора завершала изящная трость с набалдашником из яшмы. Этой тростью он был многократно избиваем в разных городах России за нечистую игру в картишки.

Высокий, стройный, сын торговца квасом и дрожжами, насквозь русский Деларю (он же Иван Васильич Толстобоков) имел иностранное лицо: желтое, продолговатое, скуластое, со втянутыми щеками, с огромными свисавшими на грудь черными усищами. Они придавали ему рыцарский отважный вид и никак не мирились с русским толстым ноздрястым носом. Глаза же были черные, цыганские, чуть-чуть наглые и в меру глуповатые. Многие принимали его за серба, за хорвата, он же величал себя французским шотландцем русского происхождения и в разговорах с незнакомыми всегда коверкал речь.

Он успел побывать у пяти зазнавшихся торговцев. Трое сразу послали его к чорту, четвертый—к дьяволу, а пятый обозвал его по непечатному. Что ему делать? А денег надо... Директор свирепел.

Необычным для этого глухого городка директорским костюмом заинтересовалась бредущая из собора с просвиркой в руке бодрая старушка.

— Здравствуйте, барин,—поклонилась она и, пожевав морщинистым ртом, сказала:—Видать приезжие. И шляпочка цилиндраявая, как встарь. Давно не видывала таких правильных господ. А я вот место ищу, за одну прислугу...

— В прислуге я не нуждаюсь. А дело вот в чем...—и директор, покручивая тросточкой, поведал благочестивой старице про свой финансовый крах и неудачу.

С внезапно мелькнувшим подозрением старуха схватилась за карман—целы ли деньги, потом, опомнившись, дружелюбно указала неторопливой рукой вперед:

— Ступайте-ка вы, гражданин, вон в тот домок голубенький. Там некудышный человек помещается, торгующий. Как бунт был, ему из-за угла мешком с горохом по темю вдарили. После того он стал рассудком недоволен. А в долг дает, под проценту ежели...

Мистер Деларю в нерешительности остановился возле голубого коммунального домика, арендованного бывшим его владельцем. Минуты две раздумывал: звонить ли с парадной или тихо, смиренно с черного крыльца. Но, сообразив, что он как-никак директор, может быть, кандидат в заслуженные артисты, а купчишка, пред квартирой которого он стоит, наверное, живоглот, выжига, лишенец, ну и... дыр-дыр-дыр, — с парадной.

Отпер сам Петр Петрович Самохвалов, — слабая карикатура на Сократа, — присадистый, курносый, лысый, с подстриженной рыжей бородкой, очки на лоб, — видно: близорукий, что-нибудь читал.

— Чем могу? — недовольно сощурил он свои сморщенные белёсые глаза.

— Представляюсь, директор первоклассный цирк Роберти фон-Деларю... — при этом, держа цилиндр двумя кончиками пальцев, директор галантно провел им горизонтальную черту пред самым животом купца.

— Извините, нам в цирк не по пути...

— Короткий слово! — и директор вставил в цыганский глаз монокль. — Наслышамшись о вашем просвещенном добродетели...

— Что, денег? Нету у меня денег! — купец мотнул головой так сильно, что его очки переехали к виску. — Эвона какие налоги с нас дерут... Впору самим в цирк поступать ломаться...

— Под верный обеспеченье!.. Аля франсе... — вновь воскликнул директор и бочком, оттирая хозяина, пролез в крыльцо.

— Какое ж у вас может быть солидное обеспеченье? Да проходите в комнату... А вы, простите, бога ради, не новый финспектор?..

— Нет, нет!.. Что вы. Мы ваших финов боимся... это, как ее?.. в два раз хуже холер...

— И вам прижимка?.. — захлебнулся удовольствием купец.

— О-о-о! — закатил глаза директор и вздохнул. Он стоял теперь в похожей на часовню комнате хозяина, поспешно перекрестился на иконы и сказал:

— Еще раз адью от всего сердца.

— Вот это приятно, — улыбнулся хозяин, — милости просим приеести. Видать не русский, а религию блюдете...

— О, да, да... Я очень, очень религиозна.

— Так, так... Много мирсите вас... А вот мы по-иностранному не можем, все больше по-русски выражаемся. Та-а-к... Ну-с, а какое ж ебеспеченье у тебя?

— Например, дрессированные мышцы. Двенадцать штук.

— Что? Мыши?! Да ты шутишь или смеешься? На кой ляд мне твои мыши? Их любая кошка с'ест... Вот тебе и обеспеченье.

— Напрасно такой понятий о мышах... Мыш мышу рознь...

— Тьфу! Да я их больше разбойников боюсь. А нет ли у тебя золотых часов? Нуждаюсь в часах.

— Часов, извиняюсь, нет. А вот коза с Карпатов. Очень дрессированная, дойная.

— Коза — не подходяво. Я человек холостой, в годках. Правда, что монашка приходит ко мне по субботам полы мыть, это верно. А вот нет ли у тебя колечка с бриллиантом? В этом товаре шибко нуждаюсь.

— Нет, колечка, извиняюсь, нема, а вот аля слон есть.

— Слон?

— Так точно, слон...

— Под слона могу. Это все-таки видимость... Сколько желаешь в долг? Да как тебя звать-то?

— Роберти Робертинович, а попросту — Франц Францыч. Мне желательно два ста пятьдесят, ну, в крайнем случае, три ста, не откажусь и от пять сот.

— Что?! Да ты очумел никак. Окстись!.. Пять червонцев и — ни гроша больше. И то от силы... И то после личного усмотрения... Велик ли он?

— Слон молодая малчик... Старая аля слон в Африке стоит пять тыщ. Я давал три. А молодая слон, как я член кооператива, отдали за полтора тыща золотом.

Петр Петрович поспешно взял картуз, сказал:

— Пойдем усмотренье животной делать. Ежели зверь надежный, семьдесят пять дам. Вернешь сто. А в срок не вернешь, — слон мой. Слонов я уважаю. Я его в огороде буду держать. Выращу — продам. Условье заключим домашнее. Я к ихнему, советскому нотариусу не пойду. Даже противно мне все это ихнее. С глазу на глаз говорю тебе, как честный человек. Идем, Франц Францыч...

— Слон сейчас ерпертиц делает. Будьте столь добры через три-сать пять минут. Площадь на соборе.

— Ха-ха. На соборе. Понимаю.

Директор чуть не бегом к сооружаемому цирку и быстро все наладил к приему простоватого купца-заимодавца.

Вскоре явился и Петр Петрович Самохвалов. С тучным упитанным брюшком, рыжебородый, раскрасневшийся, он повиливал картузиком в пухлой руке, щурился на встречающих и обмахивался клетчатый платком. На его отечных ногах суконные о длинных голенищах сапоги.

— Але за мной, прошу, — сказал хозяин: он в желтом казакине, в красной турецкой феске, из-под которой живописно свисал черный чуб, в руке хлыст дрессировщика.

Подошли к палатке, обращенной входом к посеревшему вечернему востоку.

— Вот молодая об'ективная слон тридцать три годофф, — ковер-кая язык, сказал директор. — Кличка «Тубо».

— Тридцати трех?! Так сколько ж они, дьяволы, живут?

— Полтыща лет живут.

— Аяй... Аяй! — и Петр Петрович прищелкнул языком. — Вот бы столько нам с тобой...

Меж тем слон Тубо, величиною с обыкновенную корову, переваливаясь с боку на бок, топтался на месте и старательно раскачивал хоботом вправо-влево.

В палатке довольно сумрачно, и подслеповатый Петр Петрович попросил:

— А нельзя ли его выманить на улицу? Туба, Туба, Туба!.. На сахару, на!

— Никак не можно. Будет убежал... Лошади боятся, люди боятся... Нэт... Вот пожалте в цирк, представленье, там светло.

Петру Петровичу показалось, что слон чихнул.

— Будь здоров, — слегка поклонился он слону.

Слон взмотнул хоботом, подпрыгнул передними ногами и опять чихнул. Директор сердито кашлянул.

— Ого, насморк... — пособолезновал купец.

— О, нэт, нэт!.. Это у него отрижка... В живота.

— А пошто же он ни разу не взмигнул? Пялит глаза, а не мигает.

— Это немигающий пород.

— А пошто же уши не шевелятся?

— Шевеленье ушей с пятидесяти лет, хозяйн.

Петр Петрович удивленно оттопырил губы, покачал головой, сказал:

— Ну, ничего, ничего... Слонишка добрый. Ничего. Получишь сто рублей. Отдашь полтора ста. Приходи вечером на квартиру.

Он подал директору два пальца и направился к набережной.

Фыркая, постреливая и распространяя вонь, трехколесная машина промчалась мимо него под гору. В прицепке — чернобородый заместитель председателя исполкома.

Петр Петрович остановился, негромко закричал:—Усь, усь, усь!— и быстро сделал из двух указательных перстов крест: верное средство, — либо колесо долой, либо в ухабе седоки закувыркаются, как зайцы. Однако, классовые враги купца благополучно взяли ухаб и ходко подымались в гору.

Петр Петрович разочарованно присвистнул и проямлил в бороду:

— Чтоб вам в неглыбком месте утонуть.

* * *

В четверг началась ярмарка. На цирке заалел кумачный флаг. Вся площадь покрылась лесом поднятых оглобел. Пропахший конской мочей и дегтем раскаленный воздух ржал, свистел, дудил, потрескивал и барабанил. Потные горожане и крестьяне расхаживали среди

многочисленных парусиновых балаганов и за отсутствием нужных товаров покупали пряники, горшки, халву, игрушки, уксусную эссенцию, помаду, ярославский сухой квас. У кооперативных палаток не пробыешься. Жулики вырезывали у зевак карманы. В двух местах поймали конокрадов. В третьем, у собора, ревнивый муж попробовал поучить со щеки на щеку жену, но тотчас же попал в участок. Возле каруселей захлебывались гармошки и шарманки, им подвывали нервно настроенные псы. Солнечный день обливал всех зноем. У мороженщиков — очередь. Ребята и бездельники, проглотив на пяточок мороженого, снова становились в хвост.

Цирк успел выдержать три дневных сокращенных сеанса — пятнадцать копеек вход — и готовился к вечернему «гала-представлению».

Всякий раз народу набивалось до отказа. Стены цирка трещали. Директор Роберти боялся, как бы галерка не провалилась в тартар.

Но вот и «гала-представление».

Петр Петрович Самохвалов, плечо в плечо с миловидной молодой женщиной в шелковом платочке, торжественно восседал на третьем месте, красовался: то залихватски подбоченится и выставит ногу в суконном сапоге, то помашет беленьким картузиком и крикнет чрез весь цирк бородатому приятелю:

— Наше вам! Гуляем?!

Время от времени он тянет из боржомной бутылки настоенную на калгане водку и передает ее своей очаровательной соседке:

— Освежитесь, мадам Матрешечка: жара!

Меж тем представление идет своим порядком: восьмилетняя Тамара, одетая ангелочком с крыльями, раз'езжала по маленькой арене на Жозефине-Неподгадь, проскакивала в обруч, посылала воздушные поцелуи Петру Петровичу, галерке, начальству и всему цирку враз. Жозефина-Неподгадь, к удовольствию директора, вела себя прилично.

Следующим номером директор Деларю становился посреди арены, раскидывал руки в стороны, изображая собой крест, и кричал куцым собачонкам:

— А руки мисс алё!!

Собачонки Шахер-Махер с разбегу перепрыгивали через хозяина и, тяфкнув на публику, ходили по арене на дыбках. Шахер одета в красненькую юбочку, Махер — в желтые штанишки.

Затем шли: крокодил, куры с петухом, мыши, заяц, затем жена директора, затянута в чешуйчатый блистающий корсаж, вместе с прибывшим акробатом работали на трапеции, на кольцах. И в заключение — слон.

Это африканское чудовище неестественно семенило передними ногами, словно подвыпившая баба, тогда как задние ноги шествовали трезво, медленно и вполне спокойно. Директор в гнев подскочил к слоновьей голове и что-то крикнул. Тогда передние ноги зверя зашагали вдвое медленней, зато задние, не поняв директорского окрика, вчетверо ускорили свой шаг. Озлобленный директор бросился к хвосту:

и снова скомандовал в слоновый зад. Наконец, походка зверя стала ровной, трезвой, натуральной.

Петр Петрович номера со слонем едва дождался. От жары и водки его изрядно развезло: сидел теперь в одной жилетке, босиком.

При появлении слона раздались дружные хлопки, и Петр Петрович бахвально заорал:

— Это мой слон! Вот расписка... Туба! Туба!.. На сахару! На боржому!

Пять музыкантов заиграли в трубы. Два барабана свирепствовали с оглушающим усердием. Слон протанцовал вальс, изобразил пьяный мужичий пляс и сел на барьер, свесив в песок телячий хвост.

Из публики полетели на арену булки, яблоки, конфеты. Тамара подбирала их в корзинку.

— Отдай слону! — закричали с мест. — Нам любопытно, как он будет чавкать.

Директор стегнул по воздуху хлыстом, поклонился, объявил:

— В видах сильный катарр, слону запрещено кушать всухомятка. Он кушает жидкий кашка...

— Товарищ, ошибаетесь! — зазвенел голосом молоденький рабкор местной газетки Костя Марков и привстал. — Ежели вы грамотный субъект, прочитайте у Брема: слон с'едает по пяти пудов сена и пьет по тридцать ведер воды. Вы, видимо, еще в самокритику не попадали? И прошу не затемнять массы.

Петр Петрович изменился в лице и сердцу его стало неприятно. Пять пудов в день! С ума сойти... На кой же чорт тогда ему этот обжора слон?..

— Эй, Франц Францыч!.. — крикнул он. — Ниспровергни мальчишку, врет!

— Ша! Ша! — старался директор остановить галдевших зрителей. Вот он хлопнул еще раз бичом, проговорил: — Большая слона кушает ровно четыре пуда тридцать фунтов. Это ми знай не хуже ваш Брем, который врет! А это маленькой слона, малчик. Он кушает ошень, ошень мало.

От души Петра Петровича отлегло.

В общем же гала-представление кончилось благополучно. Директор завершил программу интересным фокусом, пленившим жадную к зрелищам толпу. Он пригласил желающих выйти на арену и выстрелить из пистолета в директорскую руку. Стрельца не оказалось. Тогда вышел рабкор Костя Марков. Директор вручил ему старинный пистолет:

— На пять шагов назад. Алё! — и вытянул правую руку ладонью вперед, к дулу, изобразив собою букву Г. — Прошу попадать в ладонь...

Рабкор Марков мужественно взвел курок. Петр Петрович вскочил с места, закричал:

— Застрелит! Застрелит!.. При свидетелях заявляю: Франц Францыч должен мне сто пятьдесят рублей!

Грохнул выстрел. Петр Петрович взлягнул босой ногой и в страхе сел. Директор схватился за ладонь. Всем видно было, как меж пальцев простреленной ладони струится кровь. Рабкор же бросил на песок дымящийся пистолет, сделал руками жест, будто отменяя от себя вину в своем поступке, пожал плечами и растерянно пошел на место. Директор все еще унимал кровь, запорожские усы его дрожали, он сделал лицо страдальческим и приказал помощнику:

— Таз. Воды...

Жалостливо покачивая головой, помощник поливал воду, фокусник тщательно мыл руки, стонал. Его страдание передалось всему цирку: любопытствующая тишина нарушалась общими вздохами. Вода текла красная, окрашенная кровью.

Петр Петрович очень боялся крови, он от волнения стучал зубами, пальцы на ногах судорожно крючились.

Фокусник с невероятной болью на озлобленном лице ковырнул ладонь, и на дно таза упала, звякнув, пуля. Безмолвствовавший цирк передохнул и многими голосами прозвучал:

— Пуля... Пуля...

Директор поднял двумя руками за края таз, подошел почти вплотную к первому ряду, где сидел рабкор Костя Марков и громко заявил:

— Вот ви, товаришш, меня маленько стрелял, а теперича я на вас лью весь помой!.. — он широко взмахнул тазом и...

При таком неожиданном жесте фокусника передние ряды покачнулись, как кусты от бури, многие же разгневанно вскочили, а Петр Петрович с визгом: — Брось, окатишь! — провалился меж скамеек. Но вместо омерзительных помоев из таза хлынул целый поток разноцветных печатных листков-объявлений.

Тогда раздались радостные крики — браво, браво! — восторженный хохот и аплодисменты. Музыканты заиграли туш. Директор объявил:

— Представление окончилось... Спасибо посещень! Мирси!.. Читайте новый афишь... Пожалуйста. Мирси!

Стали тушить огни. Публика расходилась. В листках, порхнувших из таза, напечатано:

«ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ.

Завтра и каждый день вечером выступает неустрашимый, непобедимый, всемирно известный товарищ Еруслан Костров, который доводится славному богатырю товарищу Еруслану Лазаричу родным правнуком, всякий может убедиться из русской сказки.

Подробности в афишах. Читайте, читайте, наш цирк навещайте. Будет показана международная секция.

с почтением — ДИРЕКЦИЯ».

Меж тем подвыпивший Петр Петрович в сопровождении близкой ему пышной дамы направился смотреть слона. На пути он пригласил двух своих приятелей, мясников Петрова и Лаврова с женами и ребяташками.

— Франц Францыч, уважь, покажи слона.

— Слон спит-с...

— А ты разбуди... Эка штука, спит. Партейных ответственных и то другой раз будят.

— Тревожить вредно... Может взбеситься...

— Да что он, младенец что ли двух по третьему? Уважь. Вот компания со мной. Детишкам удовольствие... А я тебе еще червончика два подбросил бы.

— Червончика два? Прошу присесть на барьер. Один минут! — и смущенный директор ушел.

К великому огорчению, лишь только кончился номер со слонком оба рабочие, Григорий и нищий брюхан Лука, в стельку напилье и теперь бесчувственно дрыхли в лошадином стойле. Шкура же слона, сшитая из сорока грубых, покрашенных в мышиный цвет мешков, в которых крестьяне привозят на базар картошку, печальной тенью висела на шесте.

Но многократно битый директор Деларю и на этот раз вышел из скандального положения полным победителем. Сделав лицо трагическим и в отчаянье ломая руки, объявил сидевшим на барьере, что слон бежал, что вся его труппа, в составе тридцати двух человек, носится по городу в поисках слона. Он схватил растерявшегося Петра Петровича за руку, повлек его в лошадиное стойло и, указав на храпевших Григорья и Луку, гневно прошипел в самый нос купца:

— Чрез эта пара пьяных дурак я совсем пропал.

— А как же деньги?.. — задышав винной вонью, спросил купец.

— Слон нет, деньга нет. Слон будет, деньга будет, — пожимая плечами и глядя в землю, сказал директор Деларю.

Бывший купец плюнул и со всей компанией ушел.

Оба мясника, Лавров и Петров, дорогой говорили ему:

— Слон — вещь выгодная. Ежели сотню дал, не прогадал. В случае чего, слона и на бойню можно. Слоновье мясо живо на базаре разберут. Да покупательница и не услышит, как нагреем ее. Ей скажешь слонина, а она поймет свинина или солонина.

— Да уж я маху не дам. Меня, брат, трудновато облапошить, — хвастливо заносился простодушный Петр Петрович, подмигивая своей любезной даме.

* * *

На другой день до Петра Петровича долетели слухи: никуда слон не убежал, да и убежать не мог. Он поддельный — не пьет, не жрет, под хвостом зашито.

Петр Петрович этому сначала не поверил, но слухи нарастали, становились все упорней, диче. Стали говорить, что в этом цирке все поддельное: и крокодил, и собаки, и куры с петухом, да, может, и сам хозяин — не хозяин, а чорт его знает что.

К довершению всего к Петру Петровичу ввалился подвыпивший по ярмарочному времени сосед сапожник Осипов. Он недолго любил бывшего купца за то, что тот застрелил в огороде его кошку.

— С поздравочкой к тебе, товарищ Петр Петров!.. Ха-ха... Умыли тебя со слонем-то? Плакали твои денежки.

— Ступай, ступай, — выталкивал его за ворота Петр Петрович.

— Да я-то пойду... — упирался сапожник Осипов. — Я пойду... Мне недалечко... А ты-то? Эх ты, рыжий барбос! Вредитель. Семь разов дурак. Только полный адиот может под слона деньги в рост давать... Ты пошто мою кошку застрелил? А?.. Она тебя трогала? Слон ты, дьявол!!

Петр Петрович нахлобучил картуз и ходу — прямо в цирк.

— Франц Францыч, кажи слона.

— Слона, извиняюсь, купаться увели. Воспарение нутра.

Бывший купец надвинул картуз на затылок, замигал, крикнул:

— Врешь!.. У нас и реки-то настоящей нет. У нас негде купаться!

— В пруд увели...

— Врешь! У нас и пруда нет!

— Ну, значит, к колодцу.

— У нас нет колодцев!.. Врешь! Врешь! Врешь!.. — топал купец обутыми в суконные сапоги ногами.

Франц Францыч с опаской поглядел на взбесившегося Петра Петровича, спросил его:

— Откуда ж вы воду пьете?

— Нет у нас воды! Мы не пьем воду! — визжал купец, брызгая слюной... — Где слон? Подай сюда слона! Подай!!

Он с силой сгреб директора за галстук:

— Деньги назад! Сто целковых! В суд! В суд!!

Директор Деларю стоял деревянным болваном безмолвно, недвижимо, лишь запорожские усы мотались, как хорьковые хвостики на старомодной шубе. Однако, мозг его работал с напряжением, во всю:

— Извиняюсь, — прохрипел директор Деларю. — Пардон. Дело вот в чем... Пожалте чрез полчаса.

Но тут выполз из конюшни пьяный Лука. Бывший нищий, он часеняк получал от Петра Петровича у церкви пятаки и, чувствуя благодарность к благодетелю, решил вступить за его поруганную честь.

— Петр Петров!.. Ваше степенство, — его язык заплетался не менее, чем ноги: одетый в рвань, толстобрюхий, низенький, с красными гноющимися глазами, с кой-какой немудрящей бороденкой, он походил на типичного пропойцу. — Значит, прямо говорю: обжулил он

тебя, слонов никаких у нас не водится... Ни слонов, ни коркодилов... Одно мошенство...

— Пошел вон! — топнул на него директор.

— Стой, стой, — напористо проговорил купец. — Сказывай.

Лука тоже проямлил:

— Стой!.. — и, закренделяв ногами, шлепнулся в навоз. — Вот он слон, вот, вот... Видишь, на шесте висит?.. — со слезой, с хрипом бормотал Лука, указывая на висевшую в конюшне сшитую из мешков слоньей шкуру. — Мы с Гришкой работали в этой одежке, он впереди, я по случаю малого роста в самом задку хвостом вертел. Господи боже, грех-то какой, сколько народу православного мы на обман взяли, не говоря о партийных... — и Лука горько заплакал.

Купец выпучил пожелтевшие глаза, дико покосился на директора, на пришитый к слоньей шкуре телячий хвост, разинул рот и замер.

«Как бы долг не потребовал, лишенец чортов» — с боязнью подумал похолодевший Деларю.

— И денег не отдашь? — затряс головой купец.

— Расписка под слона. Слон нет — деньга нет.

По лицу купца волной прошла обида. Вздохнул, взглянул на небо и, покачивая головой, трогательно проговорил:

— И кого ты надуваешь? Ты церковного старосту надуваешь.

Мистер Деларю опустил голову и для приличия всхлипнул.

— Ну и ладно, бог с тобой, — примеренно сказал купец. — Придвинься-ка.

Роберти фон-Деларю в облегченной радости шагнул к купцу и подхалимно, униженно заулыбался.

Набожно осенив себя крестом, купец сказал:

— Другие межеумки отрицают сны, а я в сны верю. Я вчерашней ночью видел — знаешь, что?

— Никак нет-с... Чего же-с? — весь распластался Деларю.

— Будто бы подходит ко мне какой-то обормот и говорит мне: я, говорит, делаю из мухи слонов, из слонов дураков. Дозвольте, говорит, вас надуть...

— Аяй... Аяй, — соболезновал директор.

— Да. И вынимает он, подлец, велосипедный насос с кишкой... Чтобы, значит, надуть меня.

— Аяй... Аяй...

— Я вскочил, развернулся да как в ухо ему рраз!! — и купец с такой неожиданностью ошарашил директора по битой голове, что тот прытко побежал взад пятками и перелетел чрез ползавшего на карачках брюханчика Луку. Купец же быстро, не оглядываясь, зашагал домой.

Вездесущие мальчишки кричали ему вслед:

— Слон! Слон! Эй, слон!

Он шел молча, ускоряя ход. Ныло под ложечкой, болел все еще сжатый кулачище, густо накатывалась слюна. В глазах рябило: проплывали зеленые слоны.

2. Бычка-трычка

Завтра вечером храбрый, неустрашимый, всемирно известный Еруслан Костров начинает свои цирковые номера с быком.

Накануне выступления он купил две бутылки водки и пошел в ближайшую деревню Черепенино в гости к мельнику, с которым он свел знакомство на базаре.

В сущности, хромоногому борцу и незачем было бы ходить за три версты в гости да еще с своей выпивкой. Но у мельника имелся приличный бык, авось мельник, соблазнившись угощением, и даст его во временное пользование непобедимому борцу.

Еруслан Костров перешел по горбатуму мосту небольшую речку и, заметив махавшую крыльями мельницу, направился прямо к ней.

Черный с проседью, красноносый мельник встретил его, как закадычного приятеля. Мельник вдов, бездетен, но у него жила молодая, высокая, богатырского сложенья девушка. К несчастью, она всегда носила по левому глазу черную узкую повязку. Что за этой повязкой, — никто не знал, даже сам мельник, но во всяком случае с глазом Настя было неблагополучно. Через эту черную повязку она осталась в перестарках, женихи проходили мимо. Настя бросила свою большую бедняцкую семью и поступила в батрачки к мельнику Брюханову. Мельник соблазнил ее, но жениться на ней медлил. Он как бы испытывал бескорыстную ее верность и преданность себе. Жила девушка у мельника два года. Сытая жизнь казалась ей тягостной, немилой. Он сильно ревновал ее. По первоначально, когда мельник надолго уходил в город или в лес, запирал девку в баню.

— Веры у меня в твое бабье положение нет. Сиди. Кроме всего прочего, я — колдун. Я все твои мысли-гусли знаю. В случае чего — в коту оброщу или в чушку... Век свой обороткой будешь по земле мотаться да похрюкивать.

Он плевал на замок, громко кричал заклинанья, чтоб слышно было Насте:

— Заплевано, заковано, замазано, приказано! Эй, слуги, черти, карауль, с вас весь ответ сниму!

Настю это злило, Настя плакала, искала случая развязаться с колдуном... Эх, эх, эх...

Обедать для гостя и хозяина Настя накрыла под рябиной, в холодке. Бражничать же пошли в избу, подальше от случайных чужих глаз. Еруслан Костров крутил молодецкие усы, расчесывал рыжую шелковую бороду, косился на статную Настасью: не девка, а борец. Вот бы!..

— Беднота нашего брата утесняет, — жаловался мельник, поглаживая туговатый свой живот. — Просто диву даешься, за что про что советская власть убогаторворяет бедноту.

— Очень даже сполитично, — по-хитрому ответил Еруслан Костров, он боялся напрямки обидеть мельника: рассердится, быка не даст.

— То-есть так притесняют, то-есть так притесняют. Того гляди ноздри опечатают и рот заткнут, чтоб без налога не дышал, не говорил. Эх, тяжело, — мельник взмотнул бородой, сморщил нос и горько замигал. — Ну-ка, Настя, плесни винца!.. Ведь у меня до новых прав, при царе, сорок десятин покупной земли было, а как право перевернулось, все отобрали, чорт их залягай.

— Кому ж досталась земля-то ваша, извиняюсь?

— Кому... Беднякам да лодырям!.. Одиннадцать семей теперь на моей земле живут... Ка-му-у-на...

Борец не долюбливал деревенских кулаков и на сей раз не сдержался:

— Так, так... Людям большая польза. Это хорошо...—сказал он.

— Что хорошо? — зло разинул мельник рот.

— Да вот это самое, как его?.. Приняв во внимание... и все прочее такое... Да... — в сильном смущении мямлил Еруслан Костров, ту-поумно двигая бровями.

— Да вы кушайте винцо, не беспокойтесь, — выручила Настя. — А тебе, Марк Лукич, кажись, и не пристало жаловаться-то. Брюхо у тебя толстое, хозяйство неплохое, куры, гуси есть, коровы есть, мельница работает, даже бычишка есть...

— Ах вот! — щелкнул себя по лбу Еруслан Костров и перемигнулся с Настей.

— Дозвольте, Марк Лукич, вашего бычку-трычку осмотреть... Ведь я, можно сказать, с тем и пришагал по случаю цирка...

— Идем, — сказал мельник, обдав Настю мутным, как вешняя вода, холодным взглядом.

Они направились на зады усадьбы, в хлев.

— А ты этой кобыле заводской не верь. Стерва она... Мельница, мельница... Сама-то она мельница... Да мельницу-то мою вот-вот отберут природы-то...

В мельнике бродил хмель, он икал, выписывал ногами вавилоны, споткнулся на тыкву, едва не зарылся носом в гряды.

Еруслан Костров вдруг остоповал, ударил себя по карману:

— Ах, извините великодушно: кисет забыл,—и рысцой к избе. Мельник икнул, сел в гряды, сорвал огурчик, стал хрупать его белыми зубами.

Еруслан Костров вошел в избу.

— Чего забыл? — задрожала голосом Настасья и заперла дверь на крюк. — Ты не вздумай меня облапить без хозяина... С тебя станется...

— Ну, что ты! За кого ты меня считаешь? Я не фулиган какой.— Еруслан Костров обеими руками схватил Настю за талию и поднял к потолку. — Чувствуй! Можешь соответствовать?

У Настасьи затрещали кости, лопнула шнуровка.

— Брось, жеребец! Задушишь, — прокряхтела она и накрепко защурилась.

Когда мельник дернул дверь, Настя быстро сняла крючок и стала мести избу.

— Ага! На запор... Это что такое?! — крикнул, топнул в половицы мельник.

В переднем углу ползал на четвереньках Еруслан Костров, ошаривал темные углы, бубнил:

— И чорт его знает, куда он задевался...

— Да был ли у тебя кисет-то? — тяжело задышал мельник, сжимая кулаки.

— Тьфу! Два раз пардон. Так и есть. В цирке позабыл.

Настасья фыркнула, уткнув нос в изгибень руки, мельник проверил взором постель с горой подушек, — как-будто все в порядке, — шершаво пробубнил:

— Идем быка смотреть...

Бык Фитька не мал и не велик, черный, лохматый, как собака, с плоским тугим подзобком. Рога длинные и острые, хвост куцей. Если б не рога, его можно бы принять за обыкновенного медведя, и взгляд у него медвежий, исподлобья, с загадочной этакой ухмылочкой.

— Бычишка ничего, — одобрительно отозвался мельник. — Чуешь, Фитька? Пред тобой образовался человек, борец называется. Ты, Фитька, животная с понятием, не фордыбачь, поддавайся ему. Чуешь?

Вслушиваясь в знакомый голос, бык вдумчиво обнюхивал вкусный воздух: от хозяина попахивало брагой.

— Бычка-трычка животная в плепорцию, — ощупывая, как цыган-барышник, все скотские статьи, прищелкивал языком Еруслан Костров. — Пудов пятнадцать весит?

— С гаком, — подхватил мельник. — Бычишка хоть куда.

— Ну, это для меня плевков. На закукры посажу и вокруг цирка по арене...

Бык ухмыльнулся, фыркнул, встал к цыркачу хвостом. Мельник же от изумления попятился:

— Ну, брось, это ты тово... Отойти — подвинься. Врешь!..

— Кто, я, я вру?

— Ну, покажи свою силу. Вот камень — сшевелини.

Борец приподнял восьмипудовый валун, надулся и швырнул его в стоячий пруд: волны взмыли в берег, гул пошел.

— Ух, ты, отойди — подвинься! — остолбенел мельник и, захотав, бросился целовать борца. — Милай!.. Богатырь русск-а-а-й... Ну, расскажи про свои великие подвиги... Пойдем бражкой угощу...

Направились к избе. Мельник, пошатываясь, бубнил:

— Хоть ты и силен на под'ем, а на водку я тебя сборю... Меня не перепьешь, нет, брат, нет...

В мыслях Еруслана проплыл легковейный образ Насти, борец сладко передохнул, подумал: «надо пьяным притвориться» и сказал:

— Это верно... Насчет выпивки я слаб... Да у меня и теперь круженье в ногах сильное, — он тоже зашатался, как и мельник, ударился плечом в березу, отскочил, потом обнялись за шеи, заорали песню:

— Эх, ты, ряби-и-нушка,

Ты зи-лѐ-о-ная!..

Брага крепкая, с медком, Настя суетилась. Мельник плакал и кричал:

— Пей, не жалея!.. Все равно отберут... Настюха, волоки четверть самогону. Эх, гуляй губерня!.. — потом лез к борцу целоваться, орал ему в рот:—Богатырь наш... Мила-а-й!.. Так неужто верно, что царь-колокол мог с места сдвинуть? .

— Нет, царя-колокола одолеть не мог. А вот в прошлом году трактор в канаву пал, всей деревней подымали, не могли. Я выпер. После того у меня носом кровь хлынула и пуп на вершок с'ехал.

Мельник был совершенно пьян: рвал на себе волосы, неистово вопил:

— Вот они какие богатыри-то православные!.. Настюха, подивись!.. — и разливался морем слез.

Еруслан Костров тоже казался пьяным, Настя же ходила козырем, поводя круглыми плечами и всякий раз незаметно прижимаясь грудью к гостю. Кровь играла в ней, как в березе весенний сок, била в ноги, в голову, в тугую грудь и заливала мысли сладким пламенем греха: «Хоть бы скорей старый пес под лавку брякнулся да захрапел».

Настя тоже вполпьяна. Эх, эх... Вот бы уйти от старика да к Еруслану... Эх, эх, эх! Но разгульные, вольные помыслы ее вдруг сжались, провалились. Настя, похолодев, шмыгнула за переборку, к печке, там зеркальце висит, оставилась милым, полным жизни и страдания лицом в окаянное стекло, сорвала черную повязку, откатнулась: по пылающей щеке неудержимо слезы полились:—Эх, эх... Куда ж мне одной-глазой?.. Не возьмет... Эх, эх!.. — схватила зеркало и — об пол.

А там, у стола, чарочки гуляют:

— Эй, Настя, молодайка, жана моя, иди!.. — зовет постылый. — Нет, ты послушай-ка, что гостенёк-то говорит.

— И вот, значит, зуб... Можете пощупать, самый настоящий клык... — врал борец, широко оскалив белый ряд зубов и притворно пьяно во все стороны покачиваясь: большая борода его, как чесанный первосортный лён, усы вразлет и сердце стучет молотами в грудь.— И вот, значит, этот самый клык...

— Клык?.. Ха-ха-ха; — бессмысленно заливался хозяин,

— То-есть так, дьявол, заболел, что страсть... Я прямо на стену кидался...

— На стену? Ха-ха-ха... Настюха слышишь?!

— Шесть докторов клещами тащили—не смогли. Что мне делать? Пошел на станцию, взял, прикрутил к зубу самую крепкую струну, а другим концом привязал струну к заднему вагону... Курьерский самый скорый поезд трогался, третий звонок пробрякал...

— Третий звонок? Ха-ха... Ну, ну!

— Я встал, значит, во всей могучести, пятками в землю врос, надулся. Кэ-э-к поезд смаху дернет!..

— Ха-ха... И зуб к чертям?

— Нет!.. Два вагона вверх колесами...

Мельник несколько мгновений сидел, как полоумный, с настежь открытым ртом. Вдруг глаза его утонули в нажеванных щеках, он ударил себя по бедрам, захрипел, замотался весь и с сиплым хохотом, перхая и давясь, упал под стол. Настасья тоже рассмеялась. Еруслан Костров подвигал бровями, чихнул, сказал: «да, да» — и лег на просторную скамейку у стены.

Настасья прикрутила лампу-молнию и, вздыхая и позевывая, улеглась на скрипучую кровать. Стало темно в избе и тихо. Из рукомоЙника, цокая и булькая, капала вода в лохань. Трепетали во тьме хвостатые красные соблазны, кто-то помахивал-веял легким ветерком. Сквозь стекла проступали толпы звезд, месяц плавно подплывал к окну. И вместе с ним неспешно проходило время. Скоро, пожалуй, возгаркнут в полночь петухи. Возгаркни, возгаркни, петушок, да только, чур, не громко: кого не надо, не буди.

— Настя, — чуть слышно, однако, с тугим каким-то пылом позвал зачарованную тьму Еруслан Костров.

— Чего тебе?—нетерпеливо скрипнула кровать от легкой дрожи.

Вновь стало тихо и настороженно, лишь шорохи шуршали где-то под шестком, за печкой. Это колдуновы черти ошаривали темноту, ковали черные блудливые грехи.

— Настя... Зазнобушка...

— Ты не вздумай ко мне под одеяло... Я раздетая...

— За кого ты меня принимаешь. Что ты... Я не фулиган какой... — продышал адским жаром Еруслан Костров и тихонько свесил со скамейки ноги. — Настя...

— Я тебе дам Настю, — с хриплой угрозой, задыхаясь, проперхал мельник под столом. — Ты думаешь: я сплю? Нет, врешь... Отойди — подвинься.

Сердце Еруслана упало прямо в прорубь, в лед. Он опять положил ноги на скамейку и в тихой ярости смежил глаза.

И снова проходило время. Возгаркнул, всхлопал крыльями петух, за ним — другой и третий. Месяц вплотную подкатил к окну, сначала одним глазом заглянул, затем уставился в избу всем ледяным своим загадочным лицом: а ну-ка, кто тут? Эй вы, эй...

Тихо. Только мельник захрапел, не стесняясь, по-хозяйски громко. Кровать молчит, скамья молчит, не скрипнут, спят. Лишь неугомонные капельки живут: цок да цок — насмешливо падают в лохань. Прошло полчаса иль час, как одна минута.

— Это, должно быть, он в бреду... Настя, чуешь?

— Известно в бреду... А ты разуйся, да на цыпочках...

— Не учи, — сладко прошептал борец и закорючил ногу, чтоб стащить измазанный в грязи сапог. — Сейчас, сейчас...

— Я тебе дам — сейчас, — оборвал храп мельник. — Я не погляжу, что ты силач, я тебя так обхомутаю, такую килищу куда надо посажу, спины не разогнешь... Ты, я вижу, охочь до баб... Коркодил паршивый... Гад. Ты думал перепить меня да бабой завладать. Ан, фига. Меня сам чорт не перепьет...

Мельник говорил невнятно, тихо, как бы рассуждая сам с собой. Может, и вправду бредил?

— Эй, хозяин! — громко окрикнул Еруслан Костров.

Но вместо ответа колдуновский крепкий храп. А ночь, погоняя звезды, месяц, шар земной негромко катила и катила к востоку, к солнцу, в собственную смерть.

Под пуховым одеялом обрывки голых снов, жар, зной, а Настя истомилась, истряслась, как в зимнюю стужу уцелевший на осине лист. Эх, эх, что же это, что?

— Слушай, — узывно шепчет она, приподымаясь на подушке. — Как тебя? Голубчик мой...

И вот два мужественных храпа плавают в избе: погуще и пожиже, да шаловливые лешенята по углам пускают шепотки.

Вздыхает Настя.

А борец чует: лихом черным подполз к нему колдун. Глаза горят, как фонари, зубы по аршину. «Погиб я: сейчас заморозит» — думает борец. «Сейчас заморозю» — шепчет мельник. «Вали, вали, — фыркает влажной хряпкой бычка-трычка, — а я его рогом долбану». И чувствует борец: стал хомутать его колдун, сорок болезней припустил и сразу три килы. Еруслан заметался, застонал, колдун замычал, как бык, а бык всхотал по-человечьи. И все пропало: нет быка, нет мельника, нет трех кил. И лежит Еруслан под пуховым одеялом, зной, жар, Настя обнимает его сильными руками, шепчет:

— Эх, ты... Давно бы так... Любименький...

— Ах, вот как тут!.. — прогнусил мельник. — Устроились...

— Ударь его, лягни наотмашь, двинь ногой! — приказывает Настя.

Борец натужился, с силой лягнул в пустое место и грузно пал со скамейки на пол.

Месяц далеко перешагнул, месяц успел подплыть к третьему окну и заглядывал на пуховую кровать Настасьи. Сердито поднялся с полу, заглянул на пуховую кровать и Еруслан Костров. «Эге-ге, — присвистнул он. — Устроились прилично». Под лучами обнаглевшего месяца все

заголубело, зацвело нездешним мертвым цветом: поблескивал, выпучив брюхо с краном, омертвевший самовар, блестя, как обледенелые кресты на кладбище, опустошенные бутылки, медный рукомоийник улыбался, как мертвец. А на кровати, на взбитых подушках лебяжьего пера, устало почивали мельник с Настей. Месяц, посмеиваясь чисто выбритым лицом своим, щедро сыпал на них потешные, путанные сны.

Ошалевший Еруслан Костров поскреб бока, прикрякнул, тупо умно поводит сонными бровями, сказал: «да, да» и с озлоблением повалился на скамейку.

* * *

Петр Петрович Самохвалов, коль скоро дело коснулось его личных интересов, сразу примирился с советским строем и подал на Роберти фон-Деларю в народный суд. Судейский канцелярист зарегистрировал его бумагу во входящий дословно так: «О даче 100 рублей денег под слона, который сшит из картофельных мешков с верчением хвоста пьяным нищим Лукою Дыркиным».

Директор счел нужным номер со слоном из цирковой программы пока-что изъять. Но публика валила. Мадам фон-Деларю сама сидела в кассе и несколько червонцев умудрилась спрятать в штопанный шелковый чулок: чтоб не прокутил гуляка-муж. Да еще Еруслану надобно какой-нибудь подарок сделать. Ах, изверг, изверг... Не ценит ее ласк, шляется где-то по ночам. Ну, ладно.

Ударным номером трех последних гала-представлений был, конечно же, Еруслан Костров. Ежедневно перед вечером он шагал к знакому мельнику, с которым довольно порядочно сдружился, брал послушного быка, проделывал с ним на арене разные штуки, а после представления отводил обратно к мельнику. Жалуясь на усталость, Еруслан Костров всякий раз ночевал у мельника. Перед сном — веселая гулянка: борец на водку денег не жалел. О том, что произошло в ту пьяную первую ночевку Еруслана, мельник ни гу-гу. Да и было ль что, кроме хмельного бреда, кошмарных снов?

Однако, после той странной ночи колдун окружил Настасью особым вниманием и негой. Темными ночами он шептал ей липкие, как патока, слова: Настя будет его женой, он так решил, он стар, ему недолго по земле ходить, и Настя еще сумеет натешиться свободой: у мельника много золотых червонцев позакопано, будет умирать — все богатство оставит Насте. Так пусть же она не зарится на этого голоштанного богатыря, у него, кроме бороды да трубки, ни хрена нет за душой.

Настя на речи мельника молчала, Настя ничего не могла сказать ему, Настя еще вчера дала верное слово всемирно известному борцу: она станет его женой, она поступит в цирк, Еруслан Костров сделает из нее борца-силачку; что ж, у Настасьи мяса много, кость крепка. И будет она с милым вольной птицей, будет порхать по городам, весь

свет просторный высмотрит, пожалуй, доберется до Москвы. Эх, эх, скорей бы уж!.. Эх, зачем так медленно часики спешат. Вскукуй, вскукуй, кукушка, при часах, хлопни дверцей, не томи, утешь!..

Но ждать долго не придется: завтра последний день.

А вчерашний вечер и ночь с грозой проходили так. Колдун замешкался на мельнице: вода одолевала. И Настя с Ерусланом сидели вдвоем.

— Я, конечное дело, не женатый, холостой, — говорит он обнимая Настю.

— Верю. Не обманешь.

— Сверх всякого сомненья, да. Станешь моей женой, может быть, всемирной борчихой будешь, до Москвы доберемся обязательно...

— Ах, любименький...

— Да, да. Оттудова прямым трактом в Париж, в самую заграницу. Три приглашенья было. Называется — запрос. А сам я из бедных бедный, мальчонком в пастухах служил. А вот теперь, видишь, каков я? Всемирно известный, а не кто-нибудь.

— Ах, желанный мой... Неужто любишь?

— Ого! А ты?

— Я-то? Ах ты, свет ты мой, — в трепете, в радости говорит Настасья.—А колдуна я вот как ненавидела. Будь он проклят! Ты первый у меня, любимый. Кончилось мое горюшко... Этакое счастье привалило. Ох, боюсь, боюсь.

— Не бойся, — долго, с упоением целует ее в губы Еруслан Костров.

Настя в голубой повязке по густым светлым волосам, заплетенным в косы; по плечо оголенные руки ее белы, крепки, ласковы; нежное, круглое лицо с раздвоенным подбородком пышет возбужденным жаром, и сиротливый глаз, такой выразительный и ласковый, не портит милого лица: в нем вся жизнь, весь трепет жизни и боль и радостные слезы. — Не бойся, зазнобушка моя, — шепчет Еруслан. — Ежели мельнику не размыслится добром тебя отдать, пусть выходит на честен бой, как в сказке: стукну, тресну, на облако закину, все равно как бычку-трычку. Да!

— Боюсь, боюсь. Я лучше убегу к тебе. Сложу в сундучок добришко и айда...

— Сундучок приготовь. Завтрашнюю ночь поджидай, приду. А только что не бойся. Ничего не бойся. Это раньше помыкал нашим братом, кто хотел. А теперь — дудки. Вот она книжечка-то, вот! — Еруслан вынул коричневую книжку, взял за уголок и с форсом пришлепнул по столу.—В ней все права и все удобства... Вот.

— И что это за книжка за такая? Уж и впрямь не сказку ли сложили про тебя?

— Да, сказку. Лучше сказки! Зовется — профсоюзный мой билет... Собственный... Понимаешь, мой. Да, да.

Постучал в дверь мельник. Он весь мокрый, с бороды течет.

— Дождь,—сказал он и заулыбался в пол-лица. Под правой его хмурой бровью угрозный гнев, под левой — бражная улыбка:

— Ну, выпьем, что ли! Поди, скоро ваш цирк-то и того? В поход?

— Да, да, — с злорадством ответил Еруслан.

И Настя, вздыхая тяжело, шепчет:

— Скоро.

Булькает вино, звякают, дзинькают стакашки. Ночь идет с бурей, с громом, с граем пролетающих ворон. Первый удар грозы потряс всю избу. Видно, и на сей раз Еруслану у Насти ночевать.

— Да, завтра свиданьице наше в последний раз, — значительно говорит Еруслан Костров, взасос любуясь на притихшую рослую Настасью.

— Поскольку вам известно, Марк Лукич, я с вашим бычкой-трычкой еще вплотную не боролся. На себе, это верно, что таскал его, на колени ставил. Ну, так полагаю, поборю. Хотя, правда, бычишка раз от разу входит в ярь. А послезавтра наш цирк из городу уезжает в Кременчуг. Мы сильно расширяемся. Например, чтобы масштаб был. Да, да, масштаб. В общем и целом женскую часть хотим раздвинуть, а мужскую уплотнить... Поэтому самому завтра, об этот час, предполагается между мной и вами великий разговор, то-есть кой-какие про-известь расчеты... — и борец внушительно постучал крепким, как крепень, перстом в столешницу.

Настя обмерла и затаилась.

— Ах, мила-а-й! — не поняв смысла напорных слов борца, прослезился мельник. — Богатырь наш русска-а-й!.. Да я с тебя за бычишку недорого возьму. По трешнице за кажинный вечер выложишь и — баста.

Опять блеснула голубая молния, ударил резкий гром.

* * *

По всему городу пестрели афиши:

«Спешите, спешите! Последнее гала-представление. Первый раз в здешнем городе смертный бой известного бешеного бодливого быка с непобедимым богатырем Ерусланом Лазаревичем товарищем Костровым. Первый и последний раз!».

Сбор был полный. Цены повышенные. Касса имела 275 целковых чистых. Пришел без малого весь городишко. Однако, Петр Петрович Самохвалов блистательно отсутствовал. С ним так: в суде он дело проиграл, с горя крепко, в шат напился, избил свою мадам и, хватаясь за заборы, за столбы, дополз до цирка. Он весь горел мстительным желанием оскандалить этого битого жулика шотландца Деларю. Но в цирк его не допустили. Он снова, всерьез и навсегда, охладел к советской власти, оскорбил черными словами милицейского и был не без шума отведен в участок.

Представление началось. Шли очередные, надоевшие всем номера. Когда выполз крокодил, с галерки закричали:

— Знаем!.. Там девчонка сидит в трусиках. Дашь следующий!..

А вот и новый номер. Бывший в германском плену инвалид из кооперативной чайной в потешной одежде клоуна грубо паясничал, рассказывая анекдоты с сальцем. Публика кричала:

— Жалаим! Bravo! Папаша, загни еще!

В это время Еруслан Костров готовился в общей артистической уборной к выступлению. Перед дешевым, кривым зеркальцем он гофрирует свою длинную бороду раскаленными на лампе-молнии щипцами. Борода трещит и вьется в кольца. Со взбитыми кверху волосами, мускулистый, крепкошей, он стал походить на Посейдона. До полной цирковой красоты ему недоставало лишь черных густых бровей и румянца на щеках.

— Федосья Никитишна, одолжите маральных карандашиков, — сказал он мадам фон-Делару, сидевшей за столиком бок-о-бок с ним и превращавшей гримом свое интересное лицо в лик глупой куклы.

Хозяйка к борцу давно равнодушна, но еженощные отлучки Еруслана вызывали в ней ревность, озлобление:

— Не дам, — сказала она, обдав борца блеском черных глаз. — Ничего теперь не дам тебе. Отчаливай!

— Ну, и не давайте, — низким басом ответил Еруслан Костров. — Может быть, и без вас найдутся. Поздоровше вас...

— Дурак! — и мадам с шумом задышала через ноздри. — Я купила тебе в подарок серебряный портсигар и пару шелковых кальсон. Теперь не жди!

— А наплевать, — равнодушно ответил Еруслан.

Мадам, взбесившись, бросила в него горячими щипцами:

— Свинья! Нахал! Мужик!

Оскорбленный Еруслан Костров направился в конюшню. Для лучшего эффекта быку вызолотили рога, на шею надели снизу бубенцов. Бык всему покорно подчинился. Однако, при появлении борца он отпрянул в сторону и вызывающе взмахнул хвостом.

— Ну, тихо, тихо, бычка-трычка, — огладил его борец.

Бык успокоился и с хитрой таинственной ухмылочкой стал исподлобья поглядывать на своего врага. Двуногий сильный враг внимательно оглядывал его со всех сторон, мысленно прикидывая, как удобней схватить зверя за позлащенные рога и одним рывком бросить на арену. Борец знал, что за победу над быком публика поднесет ему серебряные новые часы и купленную у парикмахера малодержанную венгерскую куртку со шнурами. Да хозяин сверх нормы червонец обещал. Надо подтянуться.

Второй антракт был невелик: публика орала, свистела, хлопала, стучала:

— Время!.. Начинай!.. Выводи быков с коровами! Дашь бою!!

Весь увешанный гирляндами из живых цветов, позвякивая бубенцами, златорогий бык, наконец, появился на арене. Его торжественно вели на расчалках совершенно трезвые Григорий и Лука в кумачных, сшитых на живую нитку фраках. Вслед за быком предстал народу во всей славе и Еруслан Костров. Он в голубом с серыми заплатами трико. Чрез левое плечо, наискосок пересекая широкую, как купеческий шкаф, грудь богатыря, шла розовая лента, сплошь усыпанная крестами, звездами, медалями довольно темного происхождения.

Быка вывели на средину арены и дали полную свободу, оставив лицом к лицу с бешеной толпой.

Такого ослепительного блеска, шума, гвалта, барабанного боя и звука труб не слыхивал, не видывал ни бык, ни город. Молодчина Роберти фон-Деларю на прощанье в средствах не скупился: пусть останется о его цирке славная, незапятнанная память.

Действительно, гремели два оркестра: заводский и любительский. Вкруг арены, изобразив собой яркое кольцо огней, стояло два десятка факельщиков из похоронного бюро и доброхотов. Двенадцать ламп-молний были приспущены, с четырех сторон враз вспыхивали бенгальские огни. Цирк поистине блистал. Казалось, что он весь об'ят пламенем, горит.

Этот сполох, набат, огонь ошарашили быка, как по лбу тяжким молотом. Бойкий бык пал духом, растерялся, стал жалок, слаб, труслив. Он стоял, как зачарованный, лишенный воли.

Твердой поступью, грудь вперед, слегка прихрамывая и чуть поводя локтями, Еруслан Костров двинулся прямо на быка.

Сердце зверя сжалось. Мелкая дрожь прошла по лохматой его шкуре. Борец замедлил ровный шаг. В его голове блеснула мысль: зверь копит ярость. Борец напряг всю мощь, он ждал, что зверь вот-вот ринется ему навстречу. Но черный бык стоял загадочно, недвижно. Рев толпы, бой барабанов, сплошные полотнища огней крепи, ширились, потрясали купол. По затылку отважного борца прокатилась судорога, холод. Да, да, бык, наверное, взбесился, вот он взмахнул хвостом, повел смертоносными рогами. Но медлить некогда. Творя краткую молитву и вперив холодный взор в завялявшие глаза быка, непобедимый витязь вплотную отважно подошел к нему. Темным, скрытым чувством бык сразу угадал, зачем так смело прёт на него этот человеческий наглец. И с великой звериной покорностью нагнул свою бычачью шею, чтоб наглецу удобней было схватиться за рога.

Цирк перестал дышать. Звуки стихли. Вся жизнь борца, вся воля сосредоточилась в обостренной настороженности мускулов и глаз. Борцу казалось, что бык метит рогами ему в грудь. Бык шумно продул ноздри и таинственно попятился. Дыхание борца остановилось. По публике прошел выжидательный хищный трепет. Все замерло.

Вдруг—дьявольский скачек борца и под удар трех барабанов бык чрез мгновенье валялся на арене вверх ногами. И все взорвалось ликующим диким ревом: человек победил зверя, толпа торжествовала.

Но опозоренный бык, покорячившись, вскочил и в испуге стал метаться взад-вперед, норовя прорвать кольцо огней. Тогда сам Роберти фон-Деларю с хлыстом и четверо градских пастухов-подростков с длинными, по версте, кнутами принялись лихо гнать быка на середину цирка, на новое посмеище. Сиротливо поджав хвост и уши, как побитая собака, бык трусцой-трусцой прикултыхал в середину круга. Блеск его опозоренных рогов остался на потных ладонях силача, цветочные гирлянды валялись на пёске и ошейник с бубенцами чуть позванивал. Жалкий бык теперь крупно дрожал, качался, молил мучителя глазами, сердцем, всем существом своим: «Ну, брякни, брякни на землю, я не в обиде, только уведи, пожалуйста, скорей в родное стойло к девке, к Насте».

И снова вверх ногами — брык, и снова рев, гвалт, барабаны...

* * *

Новые часы системы Мозер показывали четверть двенадцатого. Бык, как послушный теленок-сосунок, уныло плелся на веревке за борцом. Вставал широколицый, бритый месяц, над полями плывал легонький ночной туман.

Еруслан Костров—в поднесенной ему венгерской куртке со шнурами. Он брав, красив, могуч. На его лице довольная улыбка, глаза горят, но грудь дышит тяжело. Слава утомительной победы взвинтила его нервы, он вздрагивал, хватался за сердце,— пожалуй, не худо бы и отдохнуть. Выбрал бугорок возле дороги и с наслаждением присел. Достал из саквояжа булку, отрезал колбасы, стал есть. Бык покорно стоял возле.

— Ах, бычка-трычка, — расчувствованно говорил борец, — спасибо тебе, бычка-трычка... Молодец, бычка-трычка... Выручил.

«Хорошо, хорошо... Ничего, ничего... Ладно, ладно» — без слов, надвое ответил бык, вздохнув.

Борец сунул ему в нос кусок булки. Бык нюхнул, отворотил морду.

— Не хочешь? Ишь ты, тварь... Обиделся.

«Ничего, ничего... Ладно, ладно» — надвое ответил бык.

Борец задрал вверх голову и, не отрываясь, выпил полбутылки водки. Под лучами месяца стекло заголубело, и в прозелень пошла борца. Бык ни разу не взглянул в глаза сидевшего пред ним человека, бык смотрел куда-то вдаль, задумчиво вздыхал, крупные глаза животного омыты влагой.

— Расплачься!!.—гаркнул Еруслан и грузной ладонью шлепнул быка по холке. Бык не дрогнул, не мигнул, как отлитый из чугуна. Думал.

Предался мечтам и Еруслан Костров. Водка разлилась по телу, кровь гуще, обильней орошала мозг. Ну что ж... Мало ли что—жена... Наплевать — жена... Дура — жена... Пускай живет в деревне, в Холмо

горах, за тыщу верст. Еруслан Костров теперь самый знаменитый. Нет, нет, не с Маланьей ему жить, с дурой, с непропёкой. Вот ровно через двадцать пять минут по Мозеру он явится к мельнику, к Настюше...

— Слышишь, бычка-трычка?! — крикнул Еруслан Костров и снова приласкал быка по холке. — Явлюсь я, понимаешь, к Насте, к хозяйке бывшей твоей, а моей жене. Ну и... все такое прочее. Понял? Дурак!.. Ничего не понял. Ты нюхал Настю? Ого! Вот так это—баба... Это настоящая женщина, передовая. Я ее обстригу под пивонерку. Ух, чорт... Да ежели ее нарядить в трико, да ежели на арену вывести при мингальских при огнях... Ух, ты, ух, ух, ух!..

Так мечтал борец, слепой рукой уничтожая прошлое, с радостью хватаясь за грядущую свою судьбу. Однако, между будущим и прошлым лежало настоящее сроком в двадцать пять минут. Но Еруслан Костров об этом настоящем и не думал: идет все так, как хочет он. Таков удел всякого самообольщенного ума: бахвальный ум легко зачеркивает прошлое, грезит о грядущем, кузнецом которого он не был, и закрывает глаза на настоящее. Глухой слепец! Ведь в настоящем — все концы и все начала.

Еруслан Костров встал, потянулся, чиркнул спичку, чтоб закурить и кстати справиться, который час. Без двадцати пяти двенадцать. Вот и хорошо. Ровно в полночь он будет при пороге. Здравствуй, здравствуй, Настя. До свидания, Марк Лукич...

— Ну, бычка - трычка, айда!..

«Ладно, ладно, ничего...» — надвое ответил бык и, понурился, пошел в поводу за человеком.

Месяц плыл по небу не спеша. Звезды тоже не спеша отодвигались, расчищая ему путь. Кой-где над мочежинами плоским пологом туман залег. В лугах перепела перекликались. Мельница на взорке дремала крылатой странной птицей. Вдали, у темной грани перелеска, золотым глазком костер мигал.

А вот и речка. Вода в омутах дрожала, крылась под лучами месяца мелкой сизой рябью.

На середине горбатого моста бык остановился. Борец дернул за веревку, бык не шел. Бык слышит: тихо кругом, ни труб, ни рева, ни барабанной трескотни. Бык видит: темновато, ночь, нет страшного пожара, нет бегучих огоньков, вот речка, поле, знакомые места. Бык окончательно пришел в себя, почувствовал, что он есть бык, настоящий бык, зверь своевольный и упрямый.

«Вот захочу и не пойду» — и бык два раза ударил себя хвостом по ляжкам.

— Иди, дьявол!.. — зычно раскатился Еруслан Костров и снова потащил быка.

Сердце быка вскипело.

Кровь ударила в звериную башку, бык взмыкнул дурным голосом, уперся.

«Дудки... Не пойду... Тут тебе не цирк».

Еруслан Костров стиснул зубы, намотал веревку на руку и с такой силой рванул быка, что веревка лопнула. А бык напыхом шагнул к нему. Борец оцепенел: ему почудилось, что на быке сидит колдун. «Ай» — закричал борец. Но бык, пропоров борцу живот, сильным кивком головы сбросил его в омут. Еруслан скрылся под водой, вынырнул и, отфыркиваясь, поплыл к берегу. Бык посмотрел на него с медвежачьей хитренькой ухмылкой, поставил куцый хвост трубой и — проворной рысью к тому месту, куда правился пловец. Еруслан Костров кой-как вышел и в мрачном молчании полез по откосу на быка. Бык, все так же держа на отлете хвост, отступил на несколько шагов. Выбравшись наверх, борец схватился за распоротый живот, привстал на одно колено и застонал от неимоверной боли. Бык задышал всеми боками, ринулся к ослабшему борцу и вновь перебросил его через себя, как венник. Дикие глаза зверя налились кровью, в оскале рта клубилась вонючая, желтая, смешанная с грязью пена. Мсть завершена. Бык взрывал копытами, как плугом, землю и победоносно на весь мир ревел.

В это время у мельника вскуковала в часах кукушка двенадцать раз.

— Эх, эх, эх... — вздохнула Настя. — Где же Еруслан?

Через три дня, рано поутру, бродячий цирк покинул город. После ночного холодного дождя стоял густой туман. В тумане серым силуэтом уныло шагала та же мухрастая лошаденка, впряженная в воз цирковой поклажи. Те же мыши в клетках — беленькая мышка, привстав на дыбки, умывалась в уголке, — тот же петух, те же собачонки Шахер-Махер. Мадам фон-Деларю во всем черном. Она грустно смотрит на туманный призрак мельницы, на горбатый мелькнувший справа мостик и поспешно прикладывает платок к глазам.

— Не надо, мамочка, не надо, — говорит Тамара и целует ее белую в веснушках кисть руки.

Иван Васильевич Толстобокоев (он же мистер Деларю) неузнаваем: пожелтел, сгорбился, вяло понукает лошадь, смотрит в землю, в грязь: Еруслана Кострова нет, и цирку, конечно же, не сдобровать.

Его внутреннее око ничего теперь не видит впереди: ни леопардов, ни львов, ни тигров, ни ловких трансформаторов и знаменитых акробатов из Берлина, Японии, Парижа. Прощай, мечта! У Роберти фон-Деларю нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее. Но оно сплошной туман и мрак. Впрочем, впереди едва маячит сквозь туманную завесу необычный всадник: это престарелая Жозефина-Неподгадь, на ней вместо погибшего борца мужественная широкоплечая Настасья. Ну, что ж... Перед ней свобода, новая жизнь, а где-то там — Москва. Она ведет за собой осиротевший цирк, она найдет дорогу и в тумане. Ну, что ж, ну, что ж, всему надо подчиняться, все принять.

Детское Село.
Ноябрь, 1930 г.

На земле

(Из романа „Встречный ветер“)

ГЕОРГИЙ НИКИФОРОВ

Слышишь, Аника-воин, девятый час бьет?

— Слышу, — отозвался колесник Аникин.

— Эх, к девяти нам и надо бы, — вздохнул Сухоруков.

— Попозднее — лучше, — утешил Аникин. — Попоздней-то мы незаметно селом пройдем. Нам глаз лишний навредить может.

— Ну, ступай, волоки сюда Валявина! — распорядился Сухоруков.

Аникин скрылся и скоро застучал тяжелыми сапогами по каменным ступеням общежития. Сухоруков, укрываясь от порывов пыльного ветра, встал за выступом стены, все время чихая и жмурясь. И не заметил Сухоруков за деревьями зыбких человеческих теней, скользнувших и притаившихся в стороне, за обемистым стволом кряхтевшей под ветром сосны.

— Пойдем! — шепнула первая, широкая и косматая тень.

— погоди, — ответила другая, тонкая и длинная. — К Егорихе успеем. Поглядим, что дальше будет. Виктор Степаныч зазря не станет хорониться.

Слышится грохот сапог, удар двери.

— Тыква чортова! — ругается Аникин. — Он уж и спать завалился.

— Не скули, дядька, — миролюбиво ворчит Валявин. — Подняло вас в такую пору!

Пусть поет ветер, падает на железную крышку сушник...

— Степаныч! Эй, Степаныч!

— Слышу, слышу, — подает голос Сухоруков. — Пошли к Шеметову... Эка, орете вы!

Люди остановились, и один из них сказал голосом озабоченным и беспокойным.

— Ветер действительно, чорт знает какой ветер. Обобьет пшеницу ветер.

Потом взлаяла собака, потом хлопыстнуло пылью по окнам, и зазвенели разбитые стекла, с грохотом упало под ноги сорвавшееся со стены ведро.

Трое товарищей, отплеываясь, прошли сени, Валявин рванул дверь. Широкий свет электрической лампочки облил ноги вошедших.

Хозяин не обернулся, он бросил только ненужные вошедшим три разрешительные слова:

— Да, да, войдите.

И трое увидели и поняли: хозяин занят.

На полу около стола груды газет, на стульях кипы газет, на подоконниках вороха газет, на стенах прищиплены вырезки газет... Красный карандаш подчеркивал слова на тех самых вырезках, черный—объяснял слова.

— Перевожу с иностранного,—похвалился Шеметов, потрясая кипой газет.—Нельзя так. Читаю и объясняю массам, пусть привыкают. У меня целая тетрадь слов. Вот, в два заголовка:

Н а п и с а н о:	З н а ч и т:
Алиби	Либо. То-есть „за“ голосуешь либо против.
Альянс	Игра в карты, к примеру—в подкидного дурака
Антураж	Куражиться в пьяном виде.
Богема	Богема—китайский бой.
Вербальный	Опиум поповский—перед пасхой.

— Замечательно!—изумленно произнес Сухоруков.

— Ловко это у тебя выходит!—сказал и Аникин, приняв восклицание Сухорукова за одобрение.

Валявин же просто гмыкнул и ничего не сказал.

— Отложи, товарищ Шеметов, перевод с иностранного до следующего свободного часа,—предложил Сухоруков, пренебрежительно швырнув тетрадь с переводом под стол.—Попусту работаешь, дорогой друг! Пойдем с нами на село.

И ушли товарищи в пыль, в ночную мглу, в ветряной всхлип. Шагали они прямым путем, через овраг, к селу Проносову, а за ними плыли две тени, одна—широкая, косматая, другая—длинная, тонкая.

Четыре человека шли прудью в грудь встречного ветра. Две тени, точно два помела, ныряли в тучах пыли и песку.

Один из четырех, одолевая кручу, прикрыв ладошкой рот, сказал:

— Опоздал ты, товарищ Шеметов, со своими переводами с иностранного. Сделана работа. Зайди ко мне, подарю словарик. Ха-ха-ха!.. —попытался было засмеяться говоривший и сплюнул тут же густой кашицей пыли.

— Слышишь?—шепнула длинная тень.—Опоздали, говорят.

— Слышу, —отозвалась широкая тень.—Вертай к Егорихе.

— Доброго здоровья, товарищи! Федор Федоровичу, товарищу Аникину, особое.

Предвика Никифор Воропаев жмет руки пришедшим и что есть воли старается улыбаться весело, глядеть открыто и честно.

— Все в аккурате, — сообщает он. — Налицо в общем и целом двадцать два человека. Будем начинать.

— Дай отдышаться,—сказал Аникин и, не приняв воропаевской руки, отошел.

Теперь посмотрите на его лицо, оно — обычное, крестьянское: широкие скулы, короткий нос, верхняя губа под седеющими растрепанными усами совсем закрывает нижнюю. Может быть, это оттого, что Аникину не по душе встреча с Воропаевым. Колесник Аникин втянул нижнюю губу и уткнулся белесыми глазами в одну точку, и в точке той (дайте приглядеться!)... в этой точке родное Аникину село Проносово. Аникин жил в селе до тридцати двух лет, двенадцать следующих он прожил вне села, однако, село из соседнего города, потом из совхоза было всегда на виду. Но если бы только село — и больше ничего. Под крышей хат и домов (дома крепких мужичков словно бы корабли среди лодок и лодчонок), за стенами хат и домов жили, радовались, страдали и мечтали люди, конечно, мечтали о счастье, а счастье — оно для каждого человека особое, и теперь и до революции. Кое-кто пользовался счастьем других, хоть крошечкой счастья.

— Вот оно как повернулось счастьеце-то, — жался Афанасий Кукуев и заглядывал в лицо Никифору Воропаеву, горюну-бедняку, заглядывал и шапку с головы долой и, здороваясь, протягивал руку как-будто за милостью. — Зайди, Никифор Нестерыч, не погнушайся. Мы к начальству всегда с уважением.

«Ага, вот оно с чего началось! — сообщает Аникин. — Да вот эдак и было, должно быть».

Однако, не все так просто, и Никифор Воропаев, блюдя свою бедняцкую честность, отказался зайти к Афанасию Кукуеву, и Кукуев был посрамлен.

— Недосуг мне по гостям шляться,—ответил Воропаев.—А ежели по делу, гражданин Кукуев, пожалуйста в волость.

А потом?

Осень, как и всегда, наполняла закрома Кукуевых, Сесюниных, Польшинкиных полновесным зерном. Ветер гулял над непокрытыми бедняцкими хатами, зима трепала седыми космами, грозила голодом.

«Эй, зайди ты, Никифор Нестерыч, к Афанасию Кукуеву! — пела снежная метель. — Добра тебе желает Афанасий Кукуев. Перестанут дети твои ныть от голода, сердце плачем надрывать. Эх, и добрая же душа у Афанасия Кукуева!..»

— Честь-почтенье, Никифор Нестерыч, — кланяется Кукуев. — Неужли часу нет для беседы? Живешь ты больно нелюдимо нонче. Хлопот, вижу, полон рот, а толку для себя никакого.

— Ничего, проживу, Афанасий Винорыч, о чем тревожишься?

— На ребяток твоих глядеть — слезы!

— Ну?

— Ну и послал я мучицы пятерик по доброте моей исключительно, Никифор Нестерыч. Прими, Никифор Нестерыч, не гоже нам

гордиться дружка перед дружкой. Ведь я, можно сказать, за революцию первый, грудью своей...

— А Филипп?

— Так что Филипп, Никифор Нестерыч? У Филиппа своя путь, это уж ты как хошь суди. Ну только у меня с ним никаких общих делов. По революции мы разошлись с ним.

— Разошлись ли?

— Как хошь побожусь, Никифор Нестерыч.

А потом?..

Первый раз—между прочим, второй—по делу, третий—по особой нужде заходил Воропаев Никифор к Афанасию Кукуеву, добрейшему мужичку (хотя лицо мужичка в буграх застарелых угрей доброты и черточки не имело). К следующей осени перебрал Воропаев загнивающие сенцы у хаты своей, позади хаты незаметно как-то прилепилась пристроечка, и махнула поверху новая крыша. Ну и все!

Нет, не все. В зимние холода воропаевские ребятишки в новых полушубках мороз встречали, на масляной неделе катались на соловом жеребце.

Улыбались Кукуевы, Полынкины, Сесюнины.

— Ладный мужик, председатель, хе! А ведь думали, погибель наша идет.

— Товарищи крестьяне, которые непокрытая беднота, — кричал на собрании колесник Аникин. — Где наши порядки? Кулацкие порядки на селе!

— Не заводи смуты, Федор, — останавливал Воропаев крикуна.— Я за порядком наблюдать приставлен. Со мной говори, подавай жалобу мне, а народ не смущай, не срывай собрания. Запиши, товарищ Квашнин, в протокол: «Демангогия и подрыв...»

«Ну, хорошо, — решил остановленный таким строгим тоном Федор Аникин. — Пушай демангогия! Ну, я тебе докажу когда-нибудь...»

И ушел Аникин из села в совхоз Краснополье, чтобы оттуда повести организованное наступление.

— Будем зачинать? — еще раз предложил Воропаев.

— Начнем прямо с председателя, — поднялся колесник Аникин.

— Товарищу Аникину слов не отпущено, — запротестовал Воропаев. — Не допущу беспорядков! По какому вопросу хочешь слова?

— Вопрос у нас, товарищ Воропаев, один, — вмешался Сухорукков. — Вопрос о кулацком засилье и хлебозаготовках.

— Еще никаких вопросов? Может, найдутся другие вопросы, товарищи собрание? — спрашивает Воропаев.

— Дорогой товарищ, — выступил Шеметов. — На основании существующих правил о ведении собрания я, как вполне официальное лицо, предлагаю вам...

Но именно на этом слове был остановлен красноречивый Шеметов Валявиным.

— Погоди-ка ты, официальное лицо! Дай говорить Сухорукову.

— Возражений против докладчика не имеется, — покорился Шеметов, довольный уже тем, что обратил на себя общее внимание.

«Пускай говорит Степаныч, — думает Аникин, — он-то уж сумеет сказать, что надо сказать».

И снова перед глазами Аникина точка. Но в точке уже не село Проносово, а совхоз Краснополье. Аникин отлично помнит, как этот совхоз рос и развивался на месте разоренного имения. И соловьиные жердцы и коровы-ярославки — все это было когда-то в имение. Было, да сплыло в село и угодило в дворы сметливых мужичков, и не даром благодарили судьбу и революционную щедрость Полинкины, Кукуевы, Сесюнины, и не даром пользовался большим их уважением Никифор Воропаев.

— Если кулачье села Проносова и окружающих деревень все еще имеет право голоса на крестьянских собраниях, совхозу трудно будет проводить политику колхозного и совхозного строительства...

«Так, Степаныч, так, — радуется Аникин, — распуши их! Эх, ежели бы язык у меня попроворней ворочался!»

И не вытерпел:

— Воропаеву с кулаками сподручней!

— Печки-лавочки! — зашумело собрание.

— Неправильная ваша рассуждения, — поднялся Воропаев. Поднялся и отыскал глазами Аникина. — Не мути, товарищ Аникин! Мою репутацию не подшибешь. У меня все под надзором, и ты и прочие другие. У меня насчет кулаков строго. Теперь советская управа на всех...

— Садись обратно! — шумит собрание на Воропаева. — Не твое слово! Дай высказать товарищу Сухорукову...

Вот и настоящие слова нашлись. Пусть эти слова у заведующего совхозом Сухорукова, даже лучше так-то: Аникин думает — Сухоруков говорит.

И в точке той, то-есть не в точке, а в совхозе Краснополье, были косилки, молотилки, саковские плужки...

— ...Совхоз не может оказать настоящей помощи бедняцкой части сел и деревень, — говорит Сухоруков. — Совхоз не выполнил своего задания по хлебозаготовкам, но все-таки мы не откажемся от намеченной цели вовлечения крестьянской бедноты в нашу общую работу по организации сельского хозяйства. Работа на земле должна быть плановой, чтобы рабоче-крестьянская власть могла распоряжаться хлебом по своему усмотрению, а не по воле кулачества. Хлеб точно так же, как и продукция фабрик и заводов, должен поступать...

— А хлебец-то и уплыл!..

Каждое ухо слышит, как плещется ветер, гудят тополя.

— Говори, Поденкин! Рассказывай, дядя Иван!

И поднимается Поденкин Иван, но он еще не говорит, он прислушивается к гульливой забаве ветра, сморкается в полу поддевки и долго непонимающе смотрит на окружающих.

Эх ты, голяда¹⁾, плохо ты живешь! Размечет ветер твою землянку, хоть и пряталась она за березняком под обрывом, около кладбища. Не сумел ты, Иван Поденкин, капитала нажить, а работал ведь не мало, не много — тридцать лет, и друзей у тебя, Иван Поденкин, раз-два и обчелся, один единственный дядя Фаддей. И вдруг тебе такой почет! Сам заведующий совхозом говорит с тобой, интересуется твоим житьишком. Все собрание смотрит на тебя...

Что это ветер разгулялся нонче? Иль в самом деле собрался разметать землянку Ивана Поденкина. Ах, да пушай его озорует, найдет Поденкин другое место, покрепче. Видишь, сколько друзей около тебя, Иван Поденкин...

— Чего же ты, дядя Иван?

Хорошо высморкался Поденкин и уже совсем ясными глазами улыбнулся на улыбки собравшихся около, и заведующий, Виктор Степанович Сухоруков, очутился совсем рядом.

— Куда уплыл хлеб, товарищ Поденкин?

— А за реку, вишь, и уплыл, в лес, к Филиппу.

Слова-то будто бы совсем не страшные, а невдомек многим, почему это ни с того, ни с сего заметался Никифор Воропаев по собранию, подскочил к Поденкину и руки угрожающе поднял над головой Поденкина.

— Чего мелешь? Какой хлеб? Откуда хлеб?

— Посторонись, товарищ! — сказал Валявин и легонько так отодвинул Воропаева тяжелым плечом в сторонку.

Тут еще поймал его секретарь Шеметов.

— В порядке допущенной законом самокритики каждый равноправный член многомиллионного коллектива рабочих и крестьян имеет право...

— У того Филиппа десять человек молодцов, да с нашей стороны человек, поди, тридцать было, — продолжает Поденкин совсем миролюбивым и тихим голосом. — Как же, со всех сторон мужички собрались, кои хлеб продали, мешков с зерном мне и не счесть сколько! Да, поди-ка Никифор скажет: он с Кукуевым делом заправлял, ему и знать.

— Вот тебе и демангогия! — выкрикнул колесник Аникин. — Тут явственно, тут и говорить нечего!

— Смута, товарищи! — завопил Воропаев, пытаюсь вырваться из рук Шеметова. — Запиши клевету, товарищ Квашнин, в протокол!

Пишет вездесущий Парамон Квашнин, пишет и радуется, что успел побывать на двух собраниях.

«На объединенном открытом собрании членов партии совхоза Краснополье, с одной стороны, и членов партии и сочувствующих кре-

¹⁾ Бедняк.

стьян села Проносово, с другой, последовало безответственное выступление пьяницы и клеветника Ивана Поденкина, каковой подозрительный член общества выступил против всеми уважаемого предвика Никифора Воропаева с беспутными словами против, обвиняя вышеуказанного предвика в спекуляции хлебом, каковой будто бы хлеб...»

Квашнин писал, это дело было привычным, и вовсе не мешало ему думать.

Так вот он пишет и думает:

«Ну, уж если зацепились, то непременно пойдут дальше. Тут не сунешь красненькую, другую или сотельный билет, как бывало, приставу...»

Рука между тем деловито и уверенно бегала по бумаге, и рука, держащая перо, выводила дальше:

«...в количестве, не указанном клеветником Иваном Поденкиным, был продан и спрятан у неизвестного лица под именем Филипп в лесу за рекой. Комиссия же правительственная хлеба не обнаружила, а потому хлебозаготовительная кампания жителями села Проносова не выполнена, кроме добровольных, революционно расположенных крестьян, как-то: Афанасия Кукуева, Евтихия Полынкина, Евстигнея Сесюнина и...»

— Извиняюсь, дорогой товарищ! — сказал Шеметов, проследив за рукой Квашнина. — Я, как вполне официальное лицо и секретарь ячейки Ве Ка Пе бе совхоза Краснополье, уполномочен заявить вам, что вследствие неожиданного переворота всего собрания на основании заявления товарища Ивана Поденкина предлагаю протокол переписать в следующем порядке...

Шеметов по-хозяйски деловито стащил со стула Квашнина и уселся писать сам.

— Товарищ Сухоруков, пожалуйста на совещание, — предложил Шеметов, и красным карандашом он смело перечеркнул написанное Квашниным.

Конечно, Квашнин мог воспротивиться, но Квашнин отлично сознавал, что в этом случае ему лучше подчиниться и быть в стороне. Пусть там кричит Никифор Воропаев, — ему есть из-за чего покричать.

Квашнин благоразумно отступил и совсем незаметно выскользнул за дверь. Выскользнул и остановился.

«Нет, пожалуй, неладно так-то! Пожалуй, лучше вернуться».

Он взялся за скобу двери.

— Погоди-ка, Парамон Игнатич!

И встала перед Квашниным длинная и тонкая тень.

— Эка ты, перепугался как! Не признаешь, что ли? Кузьма Дынин!

Тут ветер, играючи, сорвал картуз с головы Квашнина, взметнул руками Квашнин и бросился в тьму за картузом. И очутился писарь неясной тенью, неясной и смешно подпрыгивающей, посредине сельской улицы. И бормотала тень испуганно:

— Ах ты, леший тебя задави, ветрище какой! Упаси господи—пожар если...

«Вот ловкая ночка-то!» — радовался Кузьма Дынин, преследуя Квашнина в пыльной мгле.

Наконец, Дынин поймал за полу Квашнина, и остановился Квашнин с непокрытой головой на ветру.

— Там он, у Ефросиньи Егоровны, — проговорил Дынин. — Туда пойдем.

— Картуз мой...

— Да не картуз, Филипп там. Ошеломел, что ли?

Гонит ветер по дороге сухой помет, крутит охапку содомы, и вместе с пылью несет ветер писарев картуз вниз под горку. Прыгает картуз с бугорка на бугорок, потерял голову картуз, и болтается на плечах писарева голова непокрытой, болтается и зубы со страху скалит, между зубов язык ворочается еле-еле.

— Ох, отпусти ты меня, нечистая сила! Провалиться вам всем, да и с Филиппом вместе!..

То ли ветер свалил Кузьму Дынина, то ли Квашнин толкнул... Брякнулся Дынин в пыль, ссадил колени, выругался, позабыв свое смирение, и, поднявшись, припустился к дому Егорихи.

— Благослови бог! — еще раз повторила Егориха и невольно, отгоняя греховные помыслы, залюбовалась могучей бородой вошедшего Филиппа.

— Ну, ежели с бога почин разговору, значит ко греху, — сказал Филипп и, не ответив на поклоны, сел на скамье у двери. — Сказывайте, зачем звали?

— Филипп, — первым заговорил Афанасий Кукуев, — послушай меня, брат, погибель идет на крестьянский мир.

— Знаю, — подтвердил Филипп.

— Прими на себя защиту, Филипп! — загудели в разнобой мужики. — Вся земля под казну. Куда мы пойдем, Филипп? Прими на себя защиту.

— И участь смертную? — спросил Филипп, и борода его угрожающе вздохнула. — Ась, мужички?

— И участь смертную, — шопотом подтвердил Афанасий.

— Не на разбой,—за мир хрестьянский. Эй, послушай, Филипп!—умягченными голосами запросили мужики.

— А может, в добрый час и пронесет бог участь твою, — присоединилась Егориха, вытерев концом платка неожиданно всхлипнувший нос.

— Та-ак! — тряхнул бородой Филипп. — А ну, тетка, что у тебя водится крепкого? Давай, не задерживай руку, — маята в сердце.

Просветлели мужичьи лица, и голоса осмелели, когда Филипп выпил чайный стакан водки, услужливо поднесенный Егорихой.

— Какие ваши мысли? — спросил Филипп, озирая мужиков.

— Мысли?..

«Погубить тебя хотят, — удержав слова, встрепенулся Афанасий Кукуев. — Уходи, откажись, Филипп».

И сказал:

— Пшеница вызрела, Филипп, вся земля под пшеницей, всего-то, пожалуй, не охватишь: четыреста десятин одной пшеницы у совхоза...

— Погоди! — вмешался Полынкин. — Теперь на такие десятины сколько коней надобно? Не меньше двух сотен.

— Два ста и наберется, — сказал Евстигней Сесюнин. — Теперь наготове все: курдюкинские пригнали, из Сарафанова тут, из Терехина — тоже, и опять же наши.

— В просеках стоят, со всех трех сторон, — веселым голосом выкрикнул кто-то. — Раскумекал, Филипп?

— Не пойду на такое дело, — тряхнул бородой Филипп. — Не по силам мне в открытую войну. Не будет дела, мужики!

— Какая война? Какая, к шуту, война? — зашумел Евтихий Полынкин. — Настоящего слова сказать не умеете. Время зря теряем! Ходи суды, Филипп!

И, расхлебывая дверь, Полынкин встал у порога в сени.

Ветер шаркал по крыше песком и пылью. Шагнул Филипп через порог, вышел с Полынкиным в сени, из сеней во двор, и мужики гуртом за ними. Но захотел Полынкин разговор свой с Филиппом сохранить в тайности, хотя каждая голова была одними с Полынкиным мыслями заполнена, только играли мысли по-разному.

Скрылся Полынкин с Филиппом в огород. Засвистела Филиппова борода по ветру, поднялась перед глазами тучей. Эх, до чего же ночь темна! Плачет земля черной пылью, гудит лес в стороне.

Тах-тах-тарарах, пляшут козы на горах,
А ты спи, сынок, усни, угомон тебя возьми!

Вон они, далекие огоньки, ныряют за оврагом, один огонек всех приветливей. Ходит по селу кто-то и все прислушивается, к человеческому счастью приглядывается. Видит — сидит мать над зыбкой, а в зыбке неугомонный сын пузыри пускает, на свет тарачится, не спит. Выскочил сын из зыбки, выбежал на улицу — и на завалинку. На завалинке темносиняя зола, в золе вечернее солнце копошится, а вот, вытянув длинную шею, выглянуло зеленое с красными прожилками облако.

Ходят по улице дяди и тети. Дяди ласковые, тети улыбочивые.

— Видишь ты, какой у Вианора сын растет, яблочко наливное! Пойдем, Филя, к нам, слатенькой кашки дадим...

Бежит Филя по улице, а улице той конца-краю нет.

На этом, может быть, и повесть о жизни Филиппа оборвать, потому что неизвестно, как пойдет эта жизнь дальше. Вдруг она покажется без пути, как вон тот писарев картуз, подхваченный ветром... И

не лучше ли, пока есть возможность, повернуть Филиппу жизнь свою в другую сторону? (Кстати, Полынкину ничем не обязан Филипп, и ну его к чорту, этого Полынкина, у него свои интересы!) Но бегут по улицам миллионы, и каждый бежит за своей судьбой: один бежит — спотыкается, клянет все на свете, скрежещет зубами и плачет. Но на сердце есть такие искорки, величиной с песчинку, авось, дескать, где-нибудь за пригорком его собственное счастье скрывается. И другой бежит, скаля от радости зубы, потому что отыскал он свою судьбу за бугорком, и теперь вот нет счастливее его никого в мире, и силен и молод он, и милая любит его, и талантлив он, как никто. Ах, улица еще длинна, и возможно, что в конце улицы мудрость окажется глупостью, талантливость — стыдной бездарностью. Чорт его знает, что там может оказаться, но уже сейчас, сию минуту вот, чувствуешь сжигающий душу стыд за то, что сказал и что сделал. И как раз вдруг откроется (то-есть в конце той улицы), что счастье твое не за бугорком, не в таланте, не в любви твоей, не в уме, а в уменье не стыдиться.

Так и бежит Филипп, бежит и не чувствует, что натянули на него серую шинель, сунули в руки винтовку. Стреляй! Коли! Бей!.. И не спрашивал Филипп, зачем стрелять и в кого стрелять, а когда почувствовался и вернулся домой, — ничего сообразить не мог. Тут еще Полынкины, Сесюнины с прямой улицы в переулок толкают...

Эка, ветер дикий! Да и ночь такая, будто черное небо с подпорок свалилось.

Сгрэб Филипп бороду свою в охалку, повернулся к ветру спиной и открыл глаза.

— Видишь огоньки-то? — спросил Полынкин. — Потушить их надо бы, Филипп. А уж мы тебя вот как благодарить будем!

— Погоди с благодарностью, ничего не видя. А ежели я не пойду на этакое дело?

— Пойдешь, Филипп! — убежденно сказал Полынкин. — В какую тебе сторону итти, коли не за нами, да и работы твоей на один час. Устрой сполох, а уж мы — тут как тут с лошадьми.

— С кем пойду, дядя? — раздумывал Филипп. — Один, что ли?

— А со мной!

— С тобой?

Филипп оглянулся и увидел около длинную качающуюся тень Кузьмы Дынина.

— Вот и с богом! — обрадовался Полынкин. — Вот оно и как раз!

— Кони где? — спросил Филипп.

— Кони у Егорихи, кони тут они... — зашепшил Полынкин.

Открыли ворота мужики, и Егориха с крыльца благословляет широким крестом, как-будто и впрямь на праведное дело.

И неизвестно, что испугнуло лошадиную муть: ветер ли неистовый или Филиппова буйная борода. Вынеслись кони на дорогу с пуг-

ливым храпом и пропали во тьме, будто лисий широкий хвост за кустом.

А писарь Квашнин все еще бегаёт по селу, гоняясь за картузом, на бегу он подскакивает, выбросив руки вперед, пиджачишко задирается со спины на голову, и похож писарь на крылатую ящерицу. Одно время писарю казалось, что он вот-вот и схватит этот проклятый картуз, он долго катился перед ним колесом, потом завернул за угол и пошел чесать по тропинке вдоль плетней. Квашнин наддал ходу, обогнал картуз и, сделав прыжок вверх, прижал к груди некий предмет, оказавшийся по рассмотрению сухой коровьей лепешкой. С огорчения писарь зубами хрустнул и, потеряв направление, задыхающийся от усталости, побрел между бесконечных плетней. Слепленный бьющей в лицо пылью, Квашнин шагал наугад, надеясь исключительно на чутье и еще на то, что где-нибудь залает знакомая собака.

Дробный топот промчавшихся в стороне лошадей заставил писаря встрепенуться. Он бросился вперед и, не остерегаясь, со всего размаху наскочил на прясло, кувырнувшись под кручу оврага. Что-то тяжелое и очень твердое ударило писаря по голове (может, это был камень или выкорчеванный пенек, — писарь разобрать не мог).

Квашнин прополз на животе по сыпучему песку, перекувырнулся еще раз и замер в неподвижности, потеряв сознание.

Залаяли на селе собаки, одна, другая, третья, потом короткий лай перешел в завыванье. Вой сливался со свистом ветра, — вот эта музыка и вернула сознание писарю Квашнину. Он продрал глаза и, не имея сил подняться, пополз на четвереньках вверх. Выбравшись, оглянулся. Перед глазами плавали красные круги, они дробились, уносясь в облака, сливались там и закрывали все небо.

«Здорово я шархнулся! — подумал Квашнин. — Как только еще жив остался?»

Опять завертелись красные круги, разошлись, слились и ухнули на Квашнина широким потоком.

— Го-о-о-рим!.. — пронесся над селом истошный женский голос.

— По-ожар... — взвыл, опамятававшись, Квашнин. И увидел он за оврагом, как раз над совхозом Краснополье, клокочущие в огне облака.

Действие первое. (Собрание у Егорихи и приход Филиппа были подготовкой).

Лошадей оставили за парком и двинулись в обход.

— Стога там, за скотным двором, — сказал Кузьма Дынин. — Ты с подветру норови.

— Все спалим, Кузьма, — остановился Филипп. — Чуешь, как ветер гудит?

— А ты не робь! Серафима твоя, поди-ка, жива останется, опять же ветер не туда.

— Дурак ты, Кузьма!

— Да уж ладно тебе! В дураках-то вольготней.

— Уходи, не суетись тут! — отмахнулся Филипп и, сунув бороду за пазуху, скрылся.

— Господи владыко!.. — закрестился Дынин. — Остереги, господи. Чистая беда с такими блаженными...

Тонкие глаза Кузьмы Дынина вскинулись к небу. Там была пыль и муть. Дынин, корячась, взобрался на лошадь и, озираясь, затрусил через поля к лесу.

Действие второе.

— Эй, эй, товарищи! Никифор Нестерыч! Бей тревогу! Горим, чего вы тут!.. Ужаси господни!..

Не рассчитав удара, Афанасий Кукуев высадил кулаком стекло, и ладонь его с крючковатыми пальцами ткнулась в спину колесника Аникина.

Сесюнин с Полынкиным барабанили в дверь вика.

— Где обоз? Выкатывай пожарный обоз! — надрывались приятели. — Упаси бог, если на село перекинет!

— Трогай, милые, трогай! Чтоб вас холера задавила! — кричал Кукуев около пожарного обоза. — Ах ты, темень-то какая!

— Виктор Степаныч! Где ты, Виктор Степаныч? — метался по толпе колесник Аникин.

Нету Виктора Степаныча...

Действие третье.

— Гони, ребята! Арря! — крикнул Кузьма Дынин! — Эй, эй, загоняй слева, катай в пшеницу!

Табуны лошадей с привязанными к хвостам колючими ветками елок бешено вырвались из лесных просек в пшеничное поле.

— Гони до конца! — кричал чей-то неистово визгливый голос. — Вертай взад! Арр-р-ря! О-го-го-го!..

Взметывая гривами, взлягивая и храпя, мечутся табуны лошадей по пшеничным полям совхоза. Распустил широко крылья летун-ветер, бьется ветер в пыли и дыме, подхватывает горящие стога соломы, играет огнем под облаками и рассыпает искры по широким пшеничным полям, обжигая лошадей...

*
* * *

Ну, и... (Конечно, по существующим правилам повествования дальше последует рассказ о том, что было предпринято властями в деле раскрытия виновников пожара, как чувствовал себя заведующий совхозом Сухоруков, глядя на выбитые поля пшеницы, какую радость испытывали Кукуевы, Сесюнины, Полынкины и чем все это окончилось. Рассказ незаметно разрастется в длинную и очень сложную историю. В истории появятся ответвления, и сам собой станет вопрос, буд-то такой герой, как агроном Сухоруков, ничего собой не являет, никакой организующей силы, а главное—он ничего как следует не де-

лает, то-есть делать-то он делает все, что ему полагается по ходу событий, но делает как-то неживо. Чаще всего он уличает себя в каком-нибудь преступлении — правда, очень незначительном, даже пустяковом — и по этой причине «терзается». Нередко также он мучится от жадности к жизни. Однажды Сухоруков увидел женщину с лицом чистым и наивным. Может, женщина как раз играла в то время какую-то ей одной понятную роль. Все это известно, и не будем говорить об этом. Женщина находилась в обществе здорового на вид мужчины с осмысленным лицом, — должно быть, то был борец или боксер, ведь и среди них встречаются иногда осмысленные лица. Виктор Сухоруков долго следовал за женщиной, сопровождаемой здоровенным дядей, он устремился за ними, когда они вошли в трамвай, он проехал несколько станций, и, когда, наконец, женщина скрылась со своим кавалером в невзрачном окраинном домике, Сухоруков Виктор обиделся: — Как это женщина могла уйти с тем самым, который был с ней? — удивился он. — Как она могла разговаривать с кем-то, когда он, Сухоруков, был все время тут, почти рядом с ней?)

...Ну, и... Перейдем прямо к тому, как действовала вызванная из города следственная комиссия и как она чуть было не запуталась в самом начале. Дело в том, что, помимо происшедшего в совхозе пожара и вытоптанной лошаадьми почти начисто пшеницы, нашли еще задушенным в своей землянке Ивана Поденкина, и у двери землянки валялся засыпанный песком и пылью картуз писаря Парамона Квашнина, и вот, как это нередко случается, пустяковая и не относящаяся к сути дела вещь послужила ключиком к раскрытию всех происшедших событий. Отсюда все и началось.

Вы, должно быть, не знаете по-настоящему о следователе? Это обычный и, пожалуй, даже сверхобычный человек.

Вот вы к нему приходите, присаживаетесь этак настороженно к столу и выжидательно вытянули шею. А следователь (ах, это ведь очень тонко!) ковыряет в зубах, морщится и вдруг принимается жаловаться на дурную погоду, на то, что он здорово простудился и теперь у него разболелись зубы, и ему, по правде говоря, вовсе даже не до того, что в какой-то там землянке нашли задушенным человека. Может, он сам задушился? (Следователь так и скажет: «задушился»). В это время вы уже перестали вытягивать шею и поправились на стуле. Следователь все еще продолжает говорить. С зубной боли он перейдет на дороговизну жизни, на семейные тяготы, попытается даже рассказать что-то похожее на анекдот. Ну, уж тут и настороженность ваша пропала, вы улыбаетесь и успокоенно думаете: «Слава богу, на пустяках ртыграюсь!»

— Должно быть, сам задушился, — говорите вы в тон следователю. — Повздорил с начальством и задушился.

— Ах, повздорил с начальством, — как-будто бы удивляется следователь. — С каким начальством? Когда повздорил (совсем равнодушно и простовато улыбаясь)? Ну, что ж, я так, пожалуй, и запишу:

повздорил с начальством и задушился. Изобразите, пожалуйста, под протоколом вашу фамилию, и можете быть свободным (сочувственно), нечего вас мытарить. Я тут как-нибудь на-днях вызову начальство, с которым покойник повздорил, и допрошу.

— Да я... Позвольте, гражданин следователь! — пытаетесь вы об'ясниться. — Я насчет начальства, между прочим, а не то, чтобы...

Все это для примера, для того, чтобы показать, что следователь человек обычный, и вот так приблизительно он, должно быть, и разговаривал с Парамоном Квашниным и даже картуза не показывал, как вещественного доказательства того, будто он, Квашнин, и есть доподлинный убийца Ивана Поденкина. Однако, писарь отлично знал, что повлечет за собой подпись под протоколом, в котором говорилось о ссоре Поденкина с начальством. И вот писарь принялся путать, и, путая, он распутывал перед следователем длинную нить преступлений, совершенных длинным рядом лиц, подозреваемых в заговоре, в сокрытии хлеба и, наконец, в поджоге. И хотя следователь (вот уж поистине протак!) все еще продолжал, нет да нет, жаловаться на дурную погоду, на зубную боль и семейные тяготы и вовсе не пытался спрашивать о картузе, писарь Квашнин принялся сам плести об этом.

— Ветрище-то был какой, гражданин следователь! — плел Квашнин. — Иду я с собрания, и вдруг — ветрище...

— Ах, это в ту ночь, когда было собрание у Егорихи? — заулыбался следователь.

— Вот, вот, у нее, у самой, — с разгону выпалил Квашнин, — то бишь не у нее, а...

— Да, да, вы меня сбили, гражданин. Нельзя же так давать показания! Я хотел сказать о собрании в совете.

— В совете потом...

— Эка вы путаник! — нахмурился следователь. — Ну, что буду я записывать?

— Гражданин следователь, — взмолился Квашнин. — Так я же вам насчет ветра: иду я, значит, и вдруг ветер — бац по картузу. Я, конечное дело, за куртузом, бегу в потемках, даже под кручу свалился, а меня в это самое время Кузьма Дынин хоп за руку... Я за куртузом, а Кузьма...

Так вот разматывается нить, и висят уже на той нити квашнинский картуз, Егориха, Кузьма Дынин, и повис на той же нити присмиревший ветер.

Ветру что ж? Он забрался в лесные просеки, затаился меж камней и посвистывает, любитесь на свою работу. Проходят дни, все еще солнечные, крепко подрумяненные. Плывут облака под небом, точно пуховые лебединые гнезда, небо ушло в неизмеримую высь, а на земле, позабыв о любовании красотами природы, бегаёт Виктор Сухоруков и ругается так, что по всему совхозу слышно. Он озирает выбитые поля

пшеницы. И не взять теперь пшеницу жнейкой, не подсесть простой косой.

Сухоруков видит за оврагом село Проносово и выбирает крыши под железом.

— Будьте вы!..

Нет, руганью не поможешь. И Сухоруков обращается к себе.

Один Сухоруков здесь, среди выбитого поля пшеницы, другой— плутает по ночам в совхозском парке и прислушивается и все ждет, когда же зазвонят звезды. Агроном Сухоруков прислушивается. Сорок годов прожил. Двадцать лет назад Сухоруков, может быть, и зацепился бы вон за то высокое облако, что клубится над лесом, с облаком можно облететь весь мир, но именно тогда он учился распознавать кормовые травы, лазил в коровьи и лошадиные желудки, носился с мыслью о кролиководстве, разводил породистых кұр, занимался пчеловодством и (вот и пойми тут человеческую натуру!)... сочинял прокламации, совсем не имея времени следить за облаками, прислушиваться к звездам. Однако, тот Сухоруков явился к теперешнему со своими требованиями, явился и соблазнил Серафиму. Конечно, в это время в далеком городе жила студентка Раиса Хворостинина, и ей именно он писал отчаянные письма о своем одиночестве, писал, продолжая встречаться с Серафимой.

Позвольте! Это же другой Сухоруков, таинственно скрывавшийся десятки лет. Настоящий Сухоруков не прислушивается к звездам, не видит Серафимы и рвет письма своей возлюбленной, чтобы не читать их лишний раз. Он, этот Сухоруков, собирает всех совхозских рабочих и отдает распоряжения убрать уцелевшую пшеницу, потом он скачет верхом на лошади в село Проносово, в Старобадейкино, в Вахрушево и сбивает всю бедноту, чтобы пришли и помогли. Все было сделано для спасения остатков пшеницы, кстати и погода благоприятствовала, ветер присмирел, растекся по степи, заблудился в лесных трущобах и уже не подымал головы в глухомень¹⁾.

Сто пятьдесят человек вышли на уборку. Но из ста пятидесяти для Сухорукова заметнее всех Серафима.

Мелькают по полю платки, качаются взлохмаченные головы мужиков, дымятся вспотевшие спины.

— Эй, ребятки! Эй, мужички!—кричит колесник Аникин.—А ну за мной в угон! Что, братишечки, аль жила не выдержит?

— Куды там за тобой!—посмеиваются мужики.—Ты, дядя Федор, на общественных харчах, поди-ка, на сто годов силы нагулял...

Вдруг женщины принимаются петь. Сгибаясь и выдирая с корнем побитую лошадьми пшеницу, они поют. Сухоруков не может разобрать отдельных слов, он прислушивается к напеву.

Ни-и-и-и, эх, ни-ми-ни, мини, да-а-а...

¹⁾ В глухомень — в полночь.

Очень далеко, где пшеница осталась невыбитой, трещит жнейка, повизгивают железные колеса, отфыркиваются потные лошади.

...Ни-и-и-и, эх, ни-ми-ни, мне да-а-аэ-э...

— Виктор Степаңызч, Виктор Степаныч! А ну покажь, как по-вашему, по-ученому косить надо!

Вон вдоль канавки у самого парка жнет Серафима, за ней в стороне поблескивают на солнце кривые косы.

— Чвик-фи, чвик-фи...

— Эй, эй, дядя Фаддей, чего больно разошелся, пятки подрежешь!

«Да, чорт меня возьми!—думает Сухоруков.—У меня в совхозе сгорело триста пудов овсяной соломы, вытоптано лошадьми около двухсот гектаров пшеницы. Совхоз Краснополье окружен селами, где еще хозяйничают кулаки. Пять дней назад убили Ивана Поденкина, а еще позднее крестьяне продали спекулянтам хлеб и укрыли его в лесах,—но разрешите мне быть откровенным...»

Напев клубится теперь по всему полю, раскрывается больше сотни ртов. Нет, это само небо клубится и вздыхает, а пуховые лебединые гнезда — облака — кружатся в хороводе, смыкаясь и размыкаясь, дымясь под солнцем голубым дымом. Между древних бронзовых сосен парка заблудилась церковка с прозеленевшим от времени кирпичом. В вершине между звонницами полощется красный флаг.

«Надо разобрать звонницы, надо разобрать!.. И вообще к чему торчит здесь эта церковка?—размышляет Сухоруков.—Давно надо было бы убрать, убрать и... Но позвольте, разрешите же быть откровенным! Ах, откровенным!!.»

И опять приходит прежний Сухоруков, и сталкивается он с пожившим, подготовлявшим революцию Сухоруковым.

Трудно быть откровенным. Как сумеешь рассказать о своей жадности, о том, что вот сию минуту хочется думать не об устройстве крестьянской бедноты, не о совхозном и колхозном строительстве, а о Серафиме?

«Ну и думай, сделай такое одолжение, и чорт тебя, наконец, возьми,—готов закричать вслух Сухоруков,—Нет, все-таки я, должно быть, совсем никуда не гожусь. И то, что я коммунист, и то, что я заведу крупнейшим совхозом,— все это недоразумение, чье-то недомыслие».

Сухоруков идет вдоль парка около канавки, глаза на секунду задерживаются на руках Серафимы, которая легко и необыкновенно ловко вяжет сноп пшеницы. «А я все-таки пройду мимо этой «бабочки», да, да, бабочки! Я все-таки прошел мимо и ничего не сказал ей!»— радуется Сухоруков. Он уходит по аллее к совхозу, он слышит тяжелые вздохи нефтяного двигателя, радуется человеческим голосам, веселой ругани, доносящейся из мастерской, и совсем не слышит топотливых шагов скотника Кузьмы Дынина.

— Виктор Степаныч!.. О-о-мм... — Дынин торопливо сморкается, узкие глаза его слезливо мигают, становятся круглыми.—Виктор Степаныч, не виноват я! Все вы товарищи коммунисты, и я первый за колевтив, и вдруг я... Матерью-покойницей поклянусь!..

Сухоруков обернулся, он сунул руки в карманы и шагом неторопливым, военно-отчетливым, пошел навстречу Дынину.

«Нет, это... Кто же это?» — пугается Дынин.

У Виктора Степаныча добрые щеки и глаза голубые, у Виктора Степаныча губы полураскрытые, и совсем не было морщин, черных глаз, косых губ и острых скул.

Следователь вздохнул (следователи умеют вздыхать: многозначительно, скорбно, тяжело, легко, радостно, обнадеживающе). Вздохнул он тяжело, помолчал, разглядывая растерянное лицо Парамона Квашнина, и, помолчав, сказал:

— Ведь этак я сто лет просижу здесь, с вами не разделаюсь. Говорили бы, гражданин Квашнин, сразу, что у вас было и как?

— Я и говорю,—продолжает Квашнин.—Только это я за картузом, вдруг меня Кузьма Дынин хоп за руку! «Пойдем, говорит, к Егорихе, Филипп там».

— Ну, вот,—развел руками следователь.—Еще Егориха с Филиппом! Что же теперь, гражданин Квашнин, кого мне допрашивать? Егориху или Филиппа? Вот вы человек опытный в крестьянских делах, вы мне скажите, как тут распутаться? Не хотите говорить?

«О, господи,—молится Квашнин, — аль в самом деле не понимает? Да неужто дурака прислали на такое дело?»

— Да, ежели Филиппа,—бормочет Квашнин,—так тогда это что же? Тогда вам, гражданин следователь, может, двести верст в лес гнать.

—Та-ак!—вздыхает следователь, и вздыхает в этот раз многозначительно.—Что ж, придется, видно, разговаривать с Дыниным. Может, у него скорее добыю толку.

Следователь постучал. Вошел красноармеец.

— Кузьму Дынина, товарищ, — распорядился следователь,—пожалуйста. До приятного свиданья, гражданин Квашнин! Да, да, увидимся, придется еще разок потревожить вас. Что ж делать, занятие мое такое, чтобы людей тревожить.

Простак-следователь все еще продолжал говорить, как-будто бы не замечая вошедшего Дынина. Говорил он так довольно долго, но все это не мешало ему следить за играющими глазами Дынина и растерянной улыбкой Парамона Квашнина.

Наконец, следователь очнулся, то-есть он принял соответствующее положение, откинулся к спинке стула и густо прокашлялся.

— Ах, вы еще не ушли, гражданин Квашнин? У меня больше никаких вопросов к вам, да, да, никаких. Вы свободны, я уже сказал.

Хм... Ну, и путаник же ваш приятель, чистое наказание с ним!—пожаловался следователь Дынину, когда Квашнин скрылся за дверью.—Я ему все время доказывал, что Кузьма Дынин к пожару не причастен, вы то-есть, но попробуйте разубедить его! Я, говорит, двадцать пять лет писарствую здесь и всех знаю до корня.

— Брешет он, гражданин следователь!—осмелился Дынин вставить свое слово.

— Вот, вот, — обрадовался следователь,—именно брешет, сбил меня окончательно. Я его спрашиваю: на каком вы были собрании? А он мне плетет о какой-то Егорихе. Я ему объясняю, что никакой Егорихи в делах у меня нет, а он свое: он доказывает мне, что вы—родной племянник Егорихи и что вы работаете в совхозе с каким-то тайным намерением. Так я ничего и не добился: кто кому племянник, кто кому тетка. В деревнях все родственники, по-моему. Да конечно же!—заклучил следователь.—Какое мне дело, что Егориха ваша тетка?

— Ежели бы она мне помогала, — не подумав, сказал Дынин, — аль бы я у нее жил.

— Вот именно, — поспешно согласился следователь. — Вы с теткой ничего общего не имеете?

— Ни боже мой!

— Ну, теперь все ясно.—Следователь улыбнулся.—Откуда же вы могли знать о заговоре у Егорихи? Вы не могли об этом знать, вы возвращались верхом на лошади в совхоз, встретили писаря Квашнина. Квашнин пригласил вас к Егорихе... Погодите, дайте мне досказать! У Егорихи в это время находился заведующий совхозом Сухоруков...

— Не было Сухорукова, гражданин следователь,—не выдержал Дынин.—Покойницей-матерью поклянусь!

— То-есть у Егорихи находился Филипп,—поправился следователь.—Правильно я говорю?

— Не могу знать. Как же я могу знать, когда я...—забормотал Дынин.

— Ох!—вздыхнул следователь (вздыхнул он тяжело и скорбно).—Вы не лучше Квашнина, честное слово! О том, что Сухорукова у Егорихи не было, вы знаете, а что Филипп находился там, вы не знаете, вот и понимай вас как хочешь!

— Квашнин напугал, покойницей-матерью поклянусь!—заторопился Дынин.—А уж ежели Квашнин, так уж тут покойницей-матерью поклянусь!..

— Что ж клясться, гражданин Дынин! — перебил следователь.—Клясться ни к чему, я и так поверю. Ладно, уж так и быть, я не придирчив, на меня нельзя пожаловаться... Распишитесь вот тут вот. Да, да, на этом самом местечке. Прочитайте внимательней, кажется, я словечка лишнего не прибавил, так и занес: «Заведующего совхозом, гражданина Сухорукова, на тайном собрании в доме Ефросиньи Егоровны не видел, что же касается местных кулаков, как-то: Андзасия Кукуева, Евтихия Полынкина, Евстигней Сесюнина, писаря Парамона

Квашнина и крестьян деревни Курдюкиной, села Сарафанова и села Терехина, то таковые крестьяне в ночь на 25-е августа сего года все были в сборе в доме вышеуказанной Ефросиньи Егоровны Дыниной».

— Ах ты, искушенье на меня!—заметался Дынин.—Да уж ежели бы я, гражданин следователь, знал, так уж я бы... покойницей-матерью поклянусь!..

Трудно оправдаться человеку, невозможно оправдаться человеку, когда за ним стоит угрожающей тенью его преступление. Ну, конечно, человек этот принимает все меры к тому, чтобы показать себя с лучшей стороны, это именно он кричит о своих верноподданических чувствах, о том, что готов пострадать, а если потребуется, и пожертвовать собой за общее дело, и все удивляются, и все в большом восторге от такого его геройства, а потом (ах, кто же мог ожидать?!) этот верноподданный крикун оказывается самым ненадежным, самым грешным из всех видимых грешников. И опять все принимаются в удивлении всплескивать руками, негодовать, ахать и охать...

— Ах, вот почему этот прохвост так навязчиво лез всюду и ко всем с выражением своих верноподданических чувств! Так, так-с, понимаем-с...

Дынин надеялся на свое умение изворачиваться, на свою способность прикидываться человеком с глупцей, он ликовал, когда его называли просто дураком.

— Со всей охотой подпишусь, гражданин следователь,—заулыбнулся Дынин, выражая простоватой улыбкой свое согласие с тем, что было занесено в протокол. (Продолжая улыбаться).—Только это самое будет совсем неправильная бумага, как хошь поверни—неправильная, ну, а для вашего закону я с перевеликой моей охотой, чтобы, значит, никакой задержки для закону.

Следователь недоумевающе поглядел на Дынина:

— Что вы имеете добавить?—спросил он.

— Округ бабы все дело завертелось, гражданин следователь.

— Вокруг бабы?

— Сделайте такую милость, гражданин следователь, не записывайте, — взмолился Дынин, проследив движение руки следователя.

Сузив глаза и вытянув шею, он перегнулся к столу и распустил губы, приняв вид крайне растерянного человека, убитого свалившимся на него несчастьем.

— Голова моя слабая, гражданин следователь, понять я не могу ничего в том деле, только сердцем чую,—уж меня сердце не обманет. Раз поглядел, два поглядел. Ах ты, господи боже мой, придет, думаю, лихая беда, беспременно придет! Бабочка—сок малиновый, хошь комиссару под руку: вот оно так и приключилось? Филипп пристаёт и Виктор Степаныч, надо правду сказать, тоже не отстаёт. А мое какое дело? Гляжу и ужасаюсь.

— Вот видите, как хорошо получается,—заговорщицки подмигнул следователь.—Давно бы вам нужно было раз'яснить. Теперь для меня все открыто. Кулаки тут, может быть, и не при чем.

— Да уж какие кулаки в такое-то время, гражданин следователь!—развел руками Дынин.—Кулак-то давно прикончен, где там кулаку дышать. Да мы его, ежели что, первым делом на-смерть прижмем.

— Очень хорошо, что вы раз'яснили,—улыбается следователь.—Если все вокруг бабочки, тогда дело просто решается. Мне бы с этого и начать. Что ж, заставим прилетать бабочку. Всего хорошего, гражданин Дынин, пролетарское вам спасибо...

Дынин отошел в сторону с дороги, голову втянул между плеч.

— Вот вы все товарищи коммунисты, и я первый за колевтив, покойницей-матерью поклянусь! Виктор Степаныч, мое дело тут сторона, сторона! А-а-а! Все снесу, все беды, все напасти. А-а-а! Мое дело сторона! Еще раз, Виктор Степаныч, еще раз, за мое нераденье, Виктор Степаныч!

— Собака, бешеная собака!—кричал Сухоруков.

Вдруг рука, занесенная для вторичного удара остановилась, ослабляющая усталость охватила все тело, мысли, до того тупые и неповоротливые, побежали с ужасающей быстротой, и нельзя было уследить за мыслями:

«Филипп... бабочка... малиновый сок... О, сволочь!.. Что же это, кажется, я его ударил? Как же это я? А ведь он доволен, доволен!.. О, проклятая собака!.. Или я сам? Ах, следователь! Как он хохотал, этот следователь: «бабочка, бабочка—малиновый сок!»

Должно быть, лицо Сухорукова было нестерпимо жалким, Дынин весь просветлел и приосанился.

— Ни боже мой, ничего не было, Виктор Степаныч, никаких моих слов не было. Следователь—шутейный человек, а мне хоть бы в ум, особенно про Серафиму, покойницей-матерью поклянусь! А ежели вы по щеке, так это что же...

Сухоруков мог уйти, его никто не задерживал, но Сухоруков стоял и слушал,—а может быть, он не слушал и его занимало лицо Дынина. Это лицо лезло в глаза, оно морщилось, подергивалось в улыбках, падало к ногам, уходило вверх, а пара узких глаз, ощупывая Сухорукова, ползла, казалось, по его рукам все выше и выше к самому лицу. Было ясно, что Дынин, побитый Дынин хотел утешить Сухорукова, рассеять его сомнения и даже (что особенно и тяжело) простить Сухорукова за его горячность...

Именно в этот час появились в аллее крестьяне, они шли на обед. Впереди шагали совхозские рабочие, и во главе их предрабочкома Прокудин. Голова его, болтаясь между плеч, казалось, готова была оторваться.

— Черти косолапые!—кричал Прокудин.—Да ежели работать по настоящей организации, тут ничего не устоит. Эй, комсомол, подтверждай: с подлинным верно!

И двое совхозских комсомольцев гаркали:

— С подлинным верно, в одиночку скверно!

— Где же Дынин?—спросил Сухоруков.

— Какой Дынин? Ну да, тебя Кузьма Дынин беспокоит,—заболтал головой Прокудин.—Дынин на крючок попался. Знаешь, как ерши на крючок попадаются? Что тебе Дынин? Дынин—ерш, он, брат,—ерш. Иди в контору, там письмо для тебя... А Дынин—ерш, ерш!

Прокудин нашел нужное определение, он будет повторять слово «ерш» ежеминутно, потом он придумает другое, и оно, это другое слово, займет его на следующий день,—в буднях надо уметь находить развлеченья.

«Развлеченья, развлеченья,—мысленно повторил Сухоруков.—Хорошо. Но позвольте же спросить вас, товарищ, — издевался Сухоруков,—малиновый сок тоже развлечение, а любовь к Раисе? Ох, о чем же тут рассуждать и почему не рассуждать дальше? Ведь Кукуевы, Сесюнины, Полынкины и Егориха будут таким же развлеченьем, и пожар, и вытоптанная пшеница?.. Во всяком случае, об этом интересно будет вспоминать потом. Пускай это «потом» наступит через пять, десять лет, но тогда-то уж непременно скажешь: «Ах, как жили мы! Интересно жили, с кровью жили, риск был, радость победы была! О чем говорить, ведь это не то, что наше время, когда...» и так далее...»

Люди прошли, прошло полтора человека, разгоряченных работой, с трепещущими от голода желудками. Они уже заполнили столовую совхоза, заполнили разговорами, смехом, прибаутками и собственными телами.

Сухоруков замечает первые осыпавшиеся листья, они еще казались веселыми, и скорбная желтизна их была на солнце живым румянцем. Мелькнула мысль, но только на секунду, и долее не задерживалась. «Жизнь идет» — мелькнула мысль, но до чего же она была смешной и стыдной! И воспротивился этой мысли Сухоруков, и усилием воли вытолкнута была та мысль. «Я иду в жизнь!» — приказал себе Сухоруков. Однако, он еще не успел шагнуть, как перед глазами появилась услужливая и робкая рука. Может быть, рука эта выросла у столетней липы? Ах, нет, живая рука принадлежала все тому же Дынину.

— Письмецо, Виктор Степаныч, — нежнейше прошептал Дынин. — Я как услышал, что вам письмецо, так сейчас же и побежал. Может, срочное письмецо...

Что бы сказали вы такому услужливому человеку? «Уйди ты к чорту!» — сказали бы вы... Нет, не сказали бы, подавленные навязчивым лакейством.

— Хорошо, — буркнул Сухоруков, принимая письмо. — Вы мне не нужны.

— Как же мне теперь, Виктор Степаныч! — устремился было Дынин вслед за Сухоруковым. — Не виноват я, покойницей-матерью поклянусь. Как же я? Хоть бы одно словечко следователю за меня, Виктор Степаныч. Вы все товарищи коммунисты, и я первый за колевтив...

Дынинские слова шелестели вместе с опадающей листвой, шелестели невеселым, гаснущим в предсмертном сне шопотом, и не слышал слов удаляющийся Сухоруков, то-есть слышал он другие слова, что летели к нему со страничек письма:

«Не могла, не удержалась, не утерпела! Еду... Почему ты и никто другой из миллионов? Совсем ничего не понимаю!

Раиса».

«Выбрала время... Чорт знает что!» — только и мог подумать Сухоруков, небрежно сунув письмо в карман, не дочитав его до конца. (Вот уж чего невозможно было понять!) Однако, войдя в столовую, Сухоруков решительно позабыл о письме, и способствовали тому еще совхозские комсомольцы Петька Костров и Васька Пригонов.

— Агитнем, товарищ Сухоруков! Со всех деревень собрались. И насторожившийся Шеметов подошел как раз во-время.

— В самделе, Виктор Степаныч, конкретная идея! Во исполнение предписания центра о работе в деревне...

— И даже без никакого предписания! — поправил Петька Костров. — Одна волокита и бюрократизм. Я начинаю...

— Ну уж нет, ребятки! — остановил комсомольское рвение Сухоруков. — Выдвинем на это дело мужичка, Аникина Федора. У него язык подходящий. Кто за выдвиженца?

— Голосуем! — обрадовались комсомольцы.

Через коротких пять минут в конце столовой трепыхался синей бязи занавес, и, покуда трепыхался он, раздвигаясь в стороны, Сухоруков успел передать Аникину мысли свои.

— Зови в колхозы... Общественная обработка земли... Плановое распределение продуктов производства... Уничтожение кулачества...

— Чего ты затеваешь там, дядя Федор, какую обедню?

И вот тут, как везде и всегда, между взбитых крестьянских бород зашептали вдруг безликие, теневые, сквозные, неуловимые, и откуда взялись только? Не слышать, не видеть было. Легчайший шепоток, ласковый, будто весенняя сонливая теплынь, гуляет по вздохмаченным головам:

— Они свое дело знают...

— А еще бы тебе!..

— Бога нет, чорта нет — одни коммунисты!

— Хо-хо, хе-хе-хе, хи-ха-ха!.. Одни коммунисты!

По улыбкам ли или по движению губ уловил Сухоруков те слова и хохоток, правда, сдавленный, но в достаточной степени

красноречивый. «Не справится выдвигенец наш» — мысленно определил он и, легонько отстранив Аникина, встал у стола.

— Вот оно и началось! — пролетел шепоток.

И шепоток этот послужил началом.

— Да, началось, — сказал Сухоруков. — И кончится только тогда, товарищи крестьяне, когда вы поймете и усвоите простую истину, что только ваше сознание и ваша организованная сила могут сломить кулачество. Надо повести войну с кулачеством развернутым фронтом, объединенной силой.

Слова были обычные, но уже потухал ехидный шепоток, затаился смех, и вздохмаченные головы застыли в неподвижности. Слова увели слушателей в их непокрытые лачуги, слова подняли зимние метели, погнало сибирскими малоизвестными дорогами, а по дорогам тем дул сибирский ветер (тот самый, что приходится братом российскому, только злее). Год за годом идет, горб за горбом растет, одни горбы на службу к царю, другие на работу к кулаку. Что за чудо те выносливые горбы! — Все тяготы перенесли, не сломались. Сидел царь на горбу, сидит поп теперь, сидит, в небушко подмигивает: «Ничего ничего! Господь-бог да царица небесная! Посижу еще, посижу. Место широкое на горбу. Эй, милостивцы, старатели наши, благодетели Кукуевы, Сесюнины, Польшинкины, садитесь на горбок рядком, горбок выдержит!»

И наступила чуткая тишина. Ни одна голова не шелохнется, ни одна борода не затрепещет, вцепились мужичьи глаза в оратора и не могут оторваться. Берут за словами оратора воскресшие бедствия, бегут, потрясая лохмотьями, а на лохмотьях сгустками старая кровь, между лохмотьев попы с елейными улыбками, с крестами, с иконами. Между лохмотьев волчьи зубы урядников, станowych приставов. Только зубы да казенные шапки с орлами, с гербами, с позументами... Вот уже и посвист удалой разбойничий слышится. Разметал посвист бедняцкие хаты, брызнул посвист по горбам, взвилось лохмотья и упали на поля росой, а по росе той расплясались Кукуевы, Сесюнины, Польшинкины...

— Что, или не так было? — спросил Сухоруков.

— Так, Степаныч, так! — закричал и задергался дядя Фаддей. Вспыхнули потные лица, закружились вздохмаченные головы.

— Пиши в колхоз, Степаныч, всех пиши!

— Долой кулаков!

— Идем в совет!

— Пиши, Степаныч, пиши!..

— Позволь, дорогие товарищи, — вырвался голос Шеметова. — На основании существующих правил социалистического строителя и полного демократического единогласия собрания, вношу предложение о переизбрании сельсовета.

— Правильно! Долой Воропаева! Пиши, Степаныч, пиши!..

— Подходи, кто грамотные! Эй, вахрушинские! — кричал колесник Аникин. — Зачинай! Старобадейкины, подписывай!

— Эх, дядя Фаддей, с тобой рядышком! — смеялись мужики. — Выводи фамиль, вот так: Гнедышевы братья Савел и Никита. Уж больно ты с вензелем!

— А женского полу? Вдов?

— Принимаем, тетка Анфиса, — отвечает Шеметов, пододвигая чернильницу. — Принимаем в виду абсолютного раз'яснения полового вопроса.

— Слышишь? — толкает Валявин Сухорукова. — Вот он и пригодился, словарик твой.

Но Сухоруков не отозвался. К столу подходила Серафима.

«А ведь я, а ведь я... — старался поймать Сухоруков ускользавшую мысль. — А ведь я пил этот малиновый сок вместе с бандитом Филиппом!..»

Серафима все ближе, вот и голова ее рядом почти, и волосы распались. «Теплые волосы, теплые!» Эту мысль он удержал, с этой мыслью и ушел он.

— Пожалуйте, Виктор Степаныч, еще телеграмма.

Снова Дынин. Этот Дынин еще здесь.

— Ах, телеграмма!..

Узкие глаза насторожились, голова книзу и набок. Покорность, услужливость, любопытство — все тут.

День к вечеру. От реки волочится туман, насыщенный влагой, он тяжело переползает через кусты, седеет на полянках трава. В стороне погромыхивает телега.

— Из городу?

— Из центра.

И телеграмма, шушукнув в пальцах, полезла комочком в карман.

Узкие глаза повяли, стали безразличными, они видели удаляющуюся спину с острыми плечами. Спина была строгой, за спиной стучало сердце, стучало оно и двигалось оно в эту минуту большой ненавистью к оставленным позади узким глазам.

«Так-так, так-так...»

И сердцу отвечала голова:

«Да, вот так, долго так, до конца так...»

Наверху, в комнатке с чистой девичьей кроватью у стены, с сухонькой этажеркой в углу, изнемогающей под тяжестью книг, сухоруковское сердце отмякло.

«Чорт с ними! Разопнать Кукуевых, Сесюниных, Польшкиных, Дыниных — и кончено!..»

Вспыхивает над столом лампочка.

День прошел. Ах, нет, он еще не прошел, он так и останется тут вот, в этих вот списках...

Сухоруков тащит из кармана в трубочку свернутый список крестьян, объединившихся в колхоз. Где-то очень близко, во дворе, должно быть, застучала телега.

«Такой день останется навсегда! — торжествует Сухоруков. — Навсегда!»

Список ложится на стол. Кто-то кричит там, внизу, кричит и смеется, весело так заливается...

А список, распластавшись, открывает свои страницы, и на страницах совсем уж не к месту разбежались слова:

«Не могла, не удержалась, не утерпела! Еду...»

Одно досадливое движение руки — и письмо, шелестя, летит за этажерку.

Допустим, что издали, через пятилетний перевал, например, все увлеченья кажутся легкомысленными. Но проходит год, три, пять лет, и легкомыслие вырастает в неопровержимый, в непоколебимый факт, — тогда легкомыслию (а потом факту) находят оправдание: так, дескать, оно и должно быть, к факту этому шли все пути. Когда же найдено оправдание, то уж тут с фактом мирятся, потом привыкают, а за «потом» понемножку начинают любить, и... кто же тот храбрец, который искренне признает свою глупость! Напротив, когда минуют уже все перевалы, то, доживая последний, вспоминая прошлое, говорят:

— Ах, сколько же было прекрасных дней там, сколько милых увлечений! Жаль только, что не вернуть этого!

В тридцать пять лет оглянулся Сухоруков на перевалы и напугался: перевалы он одолел в одиночку. Конечно, была работа, были товарищи, были высылки и отсидки в тюрьме, — мало ли что было! По правде, и скучать-то некогда, даже стыдно скучать. И не заскучал Сухоруков, он просто захолодал. Ну, как только захолодал, так тут же и оглянулся, оглянувшись же, увидел Хворостинину Раису.

«Своя или не своя?» — шевельнулась опасливая мыслишка. И немедленно, как только подумал, как только пригляделся, мысль вернулась опять и в ту же секунду подсказала: «Своя!». А главное, главное было Сухорукову уже тридцать пять лет, и чувство захолодания ощущалось острее. Конечно, он смеялся потом: как это он додумался разбирать — своя или не своя.

Но вот письмо летит в сторону за этажерку. А по лестнице уже слышны шаги, наконец легкая дверь настезь, пачка книг и газет падает с этажерки и прикрывает письмо.

— Райка!

— Вот как ты меня встречаешь, лохматая обезьяна! — кричит и смеется Раиса.—Вот как ты меня!.. Отойди, отойди... и, пожалуйста, довольно! Ты не подумай, что я очень заскучала.

— Ну, ладно, я не подумаю, — ответил Сухоруков и пробормотал, для себя, должно быть.—Вот факт, вот он и факт...

— Факт? Ты о чем? — спросила Раиса. — Какой факт? И повернись, пожалуйста! Да, да, повернись к окну! Я переоденусь, я в пыли вся... Какой факт?

— Я сказал «факт»? — удивился Сухоруков. — И почему я должен повертываться, когда я знаю каждую застежку, любую подвязку, когда я...

— Глупый факт! — рассердилась Раиса.

— Пусть. Ну, а ты собиралась ведь приехать в сентябре? Это что же?

— У тебя имеется мое письмо, — напомнила Раиса. — Где мое письмо? Покажи мое письмо, я покажу тебе твое.

— Где твое письмо? — напоминает Сухоруков и радуется тому, что стоит спиной к Раисе. — Что ты думаешь, у меня в голове одно твое письмо? По-твоему, я должен был носить его в портфеле, запереть в сундук, в несгораемый шкаф и поставить у шкафа часовых?

«Кажется — довольно. Ведь это же чорт знает что! — пугается Сухоруков. — Или я не люблю ее, или не ждал ее?»

Так он думает, иначе и не может думать, но, думая, продолжает говорить:

— Хорошо, предположим, у тебя и в мыслях этого не было, тогда к чему твой вопрос? Ах, это между прочим!.. Однако, это первые слова твои, первый твой вопрос. Вот тебе и факт.

— Факт? — переспросила Раиса, продернув подвязку за колено.

— Мой факт, — поспешил ответить Сухоруков.

— Понима-аю! — протянула Раиса. — У тебя новый заскок. Эй, товарищ Сухоруков, лохматая обезьяна, рассказывай о факте, рассказывай, рассказывай!

Позабыв о ботинках, о том, что еще и не одета как следует, Раиса крадется за спиной Сухорукова, делает скачок и одним ловким рывком сажает его на кровать.

«Надо объяснить, надо что-нибудь сочинить» — с натугой думает Сухоруков. Он откашлялся, как бы готовясь к длинной речи, и незаметно для себя привычным жестом поправил упавшие на глаза волосы. Эта несколько картинная манера, приобретенная в годы студенчества, рассмешила его.

— Ты чухонский бузило, лохматая обезьяна! Что тебя так развеселило? — спрашивает Раиса. — Опять нагрешил, должно быть?

— Нет, нет, что ты! — отмахнулся Сухоруков. — Я не согрешил. То-есть, может, и согрешил, но опять-таки не я, — согрешил он, тот самый, давнишний Сухоруков...

— Давнишний Сухоруков? Ты мистик, Виктор!

— Ну вот, как это ты всегда с определениями! — обиделся Сухоруков. — Не мистик, а... — Сухоруков беспомощно развел руками, — а как бы это тебе сказать?..

— Расклеившийся.

— Вот, — торопливо согласился Сухоруков, — расклеившийся. И не могу я противостоять тому, давнишнему. Он приходит всегда неожиданно, и тогда я начинаю укрепляться в мысли, будто ни к чорту не гожусь вовсе. Кругом кулаки, и бандитизмом пахнет, мне надо скрепиться и бить в одну точку, но... — Сухоруков потер ладонями острые колени свои и поднял голову, — вдруг эта точка кем-то заслоняется. Вот и сейчас я уже сбился. Ты приехала — и я сбился.

— В этом и факт?

— Да, и в этом, потому что я не уверен в законности своей любви к тебе. И вот еще штука: оттого и люблю, что не уверен, в неуверенности этой я даже решил удрать от тебя или телеграфировать, чтобы ты не приезжала. Так я и качался, именно «качался». Час тому назад я был настроен воинственно. Я положил начало колхозному движению крестьянства в нашем уезде. Я стою на той точке зрения, что крестьянство как класс должно исчезнуть, иначе мы не преодолеем собственнической стихии, вся наша государственная плановость останется на бумаге. Понятно тебе это? Миллионы индустриальных рабочих должны по-настоящему слиться с миллионами рабочих земельных фабрик, или как там?

— Ты мне о факте, — напомнила Раиса. — Хотя ты, что же ты...

Раиса не выдержала и захохотала. Откинув голову, сложив руки крестом на груди, она, дрыгая ногами, хохотала, вся ее тонкая фигурка сотрясалась и, казалось, была готова взлететь к потолку.

Вначале Сухоруков обиделся, но понемногу беспричинный смех Раисы захватил и его. Хихикнув, он уже потом не мог удержаться, но в моменты, когда горло освобождали спазмы, Сухоруков ухитрялся выкрикивать:

— Замолчи, Райка! А-ха-ха-ха!.. Задушу, Райка!

Наконец, утомленный и по-настоящему обозленный, он стащил ее с кровати, поднял высоко над головой и пересадил на верх этажерки, в угол.

— Чего ты? В чем дело? — спросил он.

Одернув юбку и вся перегнувшись, женщина ответила:

— Ты дурак! Ты, ты, лохматая глупая обезьяна!.. О чем ты плел мне, о какой законности любви? О какой расклеенности? Ты идешь как раз там, где нужно итти. — Раиса соскочила с этажерки упругим мальчишеским скачком. — Кончены разговоры, твой факт оказался недоказанным.

— У меня имеется другой.

— Факт о кулачестве? — догадалась Раиса. — Так я же приехала не для того, чтобы...

— Ах, не для того? — перебил Сухоруков. — А письмо: «Не могла, не удержалась, не выдержала...»

— Сделай одолжение, могу переписать!

Раиса подбежала к столу и на обороте лежавшей на столе телеграммы отчетливым, сильным почерком вывела:

«Училась, хочу работать, еду работать».

— Так?

— Да, так, — подтвердила женщина.

— Ну, что ж, — сказал Сухоруков. — Если только ты захочешь
возвратиться сюда...

— Возвратиться, говоришь ты!

— Возвратиться, — повторил Сухоруков и перевернул телеграмму.

Пять слов было в телеграмме, простых, холодно официальных слов:

«Выезжайте немедленно Наркомзем подробным докладом».



Петр Первый

Повесть

А. Л. ТОЛСТОЙ

(Продолжение¹)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

1

Прошло два года. Ктогорланил — прикусил язык, кто смеялся — примолк. Большие и страшные дела случились за это время. Западная зараза неудержимо проникала в дремотное бытие. Глубже в нем обозначались трещины, дальше расходились непримиримые силы.

Боярство и поместное дворянство, духовенство и стрельцы страшились перемен (новые дела, новые люди), ненавидели быстроту и жесткость всего нововводимого... «Стал не мир, а кабак, все ломают, всех тревожат... Безродный купчишко за власть хватается... Не живут — торопятся. Царь отдал государство править похотникам мздоимцам, не имущим страха божия... Женясь — жену бросил, уклонился в непотребство... В бездну катимся...»

Но те безродные, расторопные, кто хотел перемен, кто завороненно тянулся к Европе, чтобы крупинку хотя бы позанять от золотой пыли, окутывающей закатные страны, — эти говорили, что в молодом царе не ошиблись: он оказывался именно таким человеком, какого ждали. От беды и позора под Азовом кукуйский кутилка сразу возмужал, неудача бешеными удилами взнуздавала его. Даже близкие не узнавали, — другой человек: зол, упрям, деловит...

После азовского невзятия он только показался в Москве, где все хихикали: «Это тебе, мол, не кожуховская потеха», — тотчас уехал в Воронеж. Туда со всей России начали сгонять рабочих и ремесленников. По осенним дорогам потянулись обозы. В лесах по Воронежу и Дону закачались под топорами вековые дубы. Строились верфи, амбары, бараки. Два корабля; двадцать три галеры и четыре брандера заложили на стапелях. Зима выпала студеная. Всего не хватало. Люди гибли сотнями. Во сне не увидеть такой неволи: бежавших ловили,

¹) См. «Новый мир», кн. кн. 7—12 за 1929 г. и 1—5 с. г.

ковали в железо. Вьюжный ветер раскачивал на виселицах мерзлые трупы. Отчаянные люди поджигали леса кругом Воронежа. Мужики, идущие с обозами, резали солдат-конвоиров, разграбив, что можно, уходили куда глаза глядят... В деревнях калечились, рубили пальцы, чтобы не идти под Воронеж. Упиралась вся Россия, — воистину пришли антихристовы времена: мало было прежней тяготы, кабалы и барщины, — теперь волокли на новую, непонятную работу. Ругались помещики, платя деньги на корабельное строение, стонали, глядя на незасеянные поля и пустые житницы. Весьма неодобрительно шепталось духовенство черное и белое: явственно сила отходила от них к иноземцам и к своей всякой нововзысканной и непородной сволочи...

Трудно начинался новый век. И все же к весне флот был построен. Из Голландии выписаны инженеры и командиры полков. В Паншине и Черкасске поставлены большие запасы продовольствия. Войска пополнены. В мае месяце Петр на новой галере Принкипиум во главе флота появился под Азовом. Турки, обложенные с моря и суши, оборонялись отчаянно, отбили все штурмы. Когда вышел весь хлеб и весь порох, — сдались на милость. Три тысячи янычар с беєм Гасаном Араслановым покинули разрушеннѳй Азов.

В первую голову это была победа над своими, — Кукуй одолел Москву. Тотчас отправили высокопарные грамоты к императору Леопольду, венецианскому дожу, прусскому королю. На Москве реке у вѳзда с Каменного моста воздвигли старанием Андрея Андреевича Виниуса пѳрты, или триумфальные ворота. Наверху их среди знамен и оружия сидел двуглавый орел, под ним подпись:

«Бог с нами, ни кто же на ны. Никогда же бываемое».

Крышу у этих ворот держали золоченые Геркулес и Марс, мужики по три сажени. Под ними — деревянные, раскрашенные, — азовский паша в цепях и татарский мурза в цепях же, под ними надпись:

«Прежде на степях мы ратовались, ныне же от Москвы бегством едва спасались».

С боков ворот написаны на больших полотнах картины: морской бог Нептун, с надписью: «Се и аз поздравляю взятием Азова и вам покоряюсь»... И на другой — как русские бьют татар: «Ах, Азов мы потеряли и тем бедство себе достали»...

В конце сентября тучи народу облепили берега и крыши: из Замоскворечья через мост и пѳрты шла азовская армия. Впереди ехал на шести лошадях князь-папа с мечом и щитом. За ним — певчие, душошники, карлы. Дьяки, бояре, войска. Далее вели четырнадцать богато убранных верховых лошадей Лефорта. Сам он, в латах, с планом Азова в руке, стоя ехал в царских золотых саях по гололедице. Опять — бояре, дьяки, войска, матросы, новые вице-адмиралы Лима и де-Лозьер. С великой пышностью, окруженный гремящими литаврицами, ехал на греческой колеснице приземистый, напыщенный, с лицом, раздавшимся в ширину, боярин Шеин, генералиссимус, жалованный этой честью перед вторым азовским походом, чтобы заткнуть рты

боярам. За ним волокли полотнищами по земле шестнадцать турецких знамен. Вели пленного татарского богатыря Алатыка, — он щурил косые глаза на толпу, бешено оголял зубы, ему улюлюкали. Позади Преображенского полка на телеге в четыре коня везли виселицу, под ней стоял с петлей на шее изменник Яков Янсен, два палача по сторонам его щелкали пытошными клещами, потряхивали кнутами. Шли инженеры, корабельные мастера, плотники, кузнецы. За стрельцами верхом — генерал Гордон, далее — пленные турки в савах. Восемь сивых коней тащили золотую в виде корабля колесницу. Перед нею шел Петр в морском кафтане, в войлочном треухе со страховым пером. Удивлялись его круглому лицу и длинному телу — выше человеческого, и многие, крестясь, припоминали страшные и таинственные слухи про этого царя.

Войска прошли через Москву в Преображенское. Вскоро туда приказано было с'езжаться боярам для сидения. На большой думе, где противно всем обычаям присутствовали иноземцы, генералы, адмиралы и инженеры, Петр мужественным голосом сказал боярам:

«Понеже фортуна сквозь нас бежит, которая никогда так близко на юг не бывала: блажен, кто хватает ее за власы. Посему приговорите, бояре: разоренный и вызженный Азов благоустроить вновь и населить войском не малым, да неподалеку оттуда, где заложена мною крепость Таганрог, сию крепость благоустроить и населить же... И еще потребно, — аще нам способнее морем воевать, нежели сухим путем, — построить морской караван в сорок али более того, судов... Корабли делать со всей готовностью, с пушками и мелким ружьем, как быть им на войне. И делать их так: патриарху и монастырям — с восьми тысяч крестьянских дворов — корабль. Боярам и всем чинам служилым с десяти тысяч крестьянских дворов — корабль. Гостям и гостинной сотне, черным сотням и слободам сделать двенадцать больших кораблей. И посему боярам и духовным, и служилым людям, и торговым составить кумпанства, сиречь товарищества, и быть всех кумпанств тридцать пять...»

Бояре так и приговорили, хоть у многих глаза повылезли и шубы вспотели. Кумпанства велено составить к декабрю под страхом отписки вотчин, поместий и дворов на государя. Каждому кумпанству, кроме русских плотников и пильщиков, держать на свой счет иноземных мастеров, переводчиков, кузнецов добрых, одного резчика и одного столяра доброво ж, одного живописца и лекаря с аптекой.

И далее — Петр велел приговорить особую подать на постройку канала Волга — Дон и рыть тот канал, не мешкая. Развели руками, без спора приговорили. Тяжела была боярам такая спешка, но видели, — спорь, не спорь, у Петра все решено вперед. С трона не говорит, а жестко лает, бритые генералы его только потряхивают париками... Ох, как круто! Кругом Преображенского — военный лагерь, — трубы, барабаны, солдатские песни. И получалось, что боярская дума

преет здесь только порядка древнего ради, — вот-вот царь уж и без нее обойдется.

Действительно, вскоре случилось великое дело, не боярским приговором, а просто: личной государя канцелярии дьяк и князь-папа настрочил и послал с солдатами царский указ пятидесяти лучшим московским дворянам, чтоб собирались за границу — учиться математике, фортификации, кораблестроению и прочим наукам (без коих, слава богу, жили от Володимера святого). Взыли во многих домах на Москве, но об отмене просить или сказаться за немощью — побоялись. Молодых людей собрали, благословили, простились, как на смерть. К каждому приставлен был солдат для услуг и для отписки, и поехали они по весенней распутице в чужедальные прелестные страны.

Одним из этих стольников был Петр Андреевич Толстой, зять Троекурова. Он какую угодно ценой рад был загладить участие свое в стрелецком мятеже.

2

Взятие Азова было чрезвычайно легкомысленным и опасным делом: русские накликali большую войну со всей турецкой империей. А сил имелось только-только, чтобы справиться с одной крепосцей, и Петр и генералы отлично это поняли в боях под Азовом. От прежнего кожуховского задора не осталось следа. И мысли теперь не было о завоеваниях, а лишь уцелеть на первых порах, буде турки пожелают воевать Россию с моря и суши.

Нужно было искать союзников, со всей поспешностью улучшать и вооружать армию и флот, перестраивать насквозь проржавевшую государственную машину на новый европейский лад и добывать денег, денег, денег...

Все это могла дать только Европа. Туда требовалось послать людей и так послать, чтоб там дали. Задача мудреная, неотложная, спешная. Петр (и ближайшие) разрешил ее с азиатской хитростью: послать со всей пышностью великое посольство и при нем поехать самому, — переодетым, как на машкераде, — под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. Получалось так: «Вы-де нас считали закоснелыми варварами, и мы хоть и цари и прочее и победили турок под Азовом, но люди не гордые, простые, легкие, и косности у нас может быть меньше вашего, — спать можем на полу, едим с мужиками из одной чашки, и одна забота у нас — развеять нашу темноту и глупость, поучиться у вас, наши милостивцы...»

Расчет был, конечно, верный: привези в Европу девку с рыбьим хвостом, там бы так не удивились... Помнили, что еще брат Петра почитался в роде бога... А этот — саженого роста, изуродованный судорогою красавец — плюет на царское величие ради любопытства к торговле и наукам... Сие невероятно и даже соблазнительно...

Великими полномочными послами выбрали Лефорта, сибирского наместника Федора Алексеевича Головина, мужа острого ума и знавшего языка, и думного дьяка Прокофия Возницына. При них двадцать московских дворян и тридцать пять волонтеров, среди них — Алексашка Меньшиков и Петр.

Отъезд задержался из-за неожиданной неприятности: раскрылся заговор среди донских казаков, во главе обнаружился полковник Цыклер, тот, кто в бытность Петра в Троице первым привел к нему стрелецкий полк. Петр никогда не мог забыть, что Цыклер был одним из вернейших слуг Софьи, и упрямо не доверял его льстивости. После взятия Азова он послал Цыклера строить крепость Таганрог, — для честолюбца это было равно ссылке. В Таганроге он нашел возбужденное принудительными работами казачество, — степная воля их гибла под жесткой рукой царя, — и там, сразу заворовавшись, Цыклер стал говорить казакам:

«В государстве ныне многое нестроение для того, что государь уезжает за море и посылает великом послом врага нашего проклятого чужеземца Лефорта, и в ту посылку тащит казну многую... Царь упрям, никого не хочет слушать, кроме непородных людей, живет в потехах непотребных и творит над всеми печальное и плачевное, и только зря казну тащит... Ходит один по ночам к немке, и легко можно изрезать его ножом в пять... 'А убьете его — вам, казакам, никто мешать не станет, сделайте, как делал Стенька Разин... А сделайте так — потом царем хоть меня выбирайте, — я сам простой и простых людей люблю...»

Казаки на это кричали: «Дай срок, отъедет государь в немцы, — учиним, как Стенька Разин...» Стрелецкий пятидесятник Елизарьев, не жалея коней, прискакал в Москву и донес о сем воровстве. На розыске открылось, что корень заговора надо искать в Новодевичьем монастыре, ближайшими сообщниками были московские дворяне Соковнин и Пушкин. Петр сам пытал Цыклера, и тот в отчаянии от боли и смертной тоски много нового рассказал про бывшие смертельные замыслы Софьи и Ивана Михайловича Милославского (умершего года три тому назад). Снова поднималась страшная с детских лет тень Милославского, оживала недобитая ненавистная старина...

В Донском монастыре разломали родовой склеп Милославских, взяли гроб с останками Ивана Михайловича, поставили на простые сани, и двенадцать горбатых длиннорылых свиней, визжа под кнутами, поволокли гроб по навозным лужам через всю Москву в Преображенское. Толпами вслед шел народ, не зная, смеяться или кричать от страха?

На площади солдатской слободы в Преображенском увидели четырехугольник войск с мушкетами пред собой, — гудели барабаны. Посреди — помост с плахой, подле — генералы и Петр, верхом, в треухе с пером, в черной епанче. Рука у него дергала удила, — привычный конь стоял смирно, — нога, выскакивая из стремени, лягалась, белое

лицо кривилось на сторону, запрокидывалось, будто от смеха. Но он не смеялся. Гроб раскрыли. В нем в полуистлевшей парче синел череп и распавшиеся кисти рук. Петр, под'ехав, плюнул на останки Ивана Михайловича. Гроб подтащили под досчатый помост. Подвели изломанных пытками Цыклера, Соковнина, Пушкина и троих стрелецких урядников. Князь-папа, пьяный до изумления, прочел приговор...

Первого Цыклера втащили за волосы по крутой лесенке на помост. Сорвали одежду, голого опрокинули на плаху. Палач с резким выдохом тяжелым топором отрубил ему правую руку и левую, — слышно было, как они упали на доски. Цыклер забил ногами, — навалились, вытянули их, отсекали обе ноги по пах. Он закричал. Палачи подняли над помостом обрубок его тела с всклоченной бородой, бросили на плаху, отрубили голову. Кровь через щели помоста лилась в гроб Милославского...

3

Государство было оставлено боярам во главе со Львом Кирилловичем Стрешневым, Апраксиным, Троекуровым, Борисом Голицыным и дьяком Виниусом, Москва со всеми воровскими и разбойными делами — Ромодановскому. В середине марта великое посольство с Петром Михайловым выехало в Курляндию.

Первого апреля Петр отписал симпатическими чернилами:

«Мин хер Виниус... Вчерашнего дни приехали в Ригу, слава богу, в добром здравии, и приняты господа послы с великою честью. При котором в'езде была ис 24 пушек стрельба, когда в замок вошли и вышли. Двину обрели еще льдом покрыту и для того принуждены здесь некоторое время побыть... Пожалуй, поклонись всем знаемым... И впредь буду писать тайными чернилами, — поддержи на огне — прочтешь... А для виду буду писать черными чернилами, где пристойно будет, такие слова: «Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул маво домишку»... Остальное все — тайными чернилами, а то здешние людишки зело любопытные...»

На это Виниус отвечал:

«...Понеже от господина великого посла с товарищи первая явилась почта, ввалился я в такую кампанию в те часы и за здравие послов и храбрых кавалеров, а паче же за государское, так подколотили, что Бахус со внуком своим Ивашкою Хмельницким надселся со смеху... Генералы и полковники и все начальные люди, урядники и все солдаты вашей милости отдают поклон. В первой ротѣ барабанщик Лука умер. Арап Ганибалка, слава богу, живет теперь смирно, с цепи сняли, учится по-русски... А в домах ваших все здорово...»

Через неделю в Москву прибыло второе письмо:

«Хер Виниус... Сегодня поехали отсель в Митау... А жили мы за рекой, которая вскрылась в самый день пасхи... Здесь мы рабским

обычаем жили и сыты были только зрением. Торговые люди здесь ходят в мантиях и кажется, что зело правдивые, а с ямщиками нашими, как стали сани продавать, за копейку матерно лаются и клянутся... За лошадь с санями дают десять копеек. А чего не спросишь — ломают втрое.

«...Пожалуй, поклонись господину моему генералу и побей челом, чтоб пожаловал, не покинул маво домишку...» (Далее все — симпатическими чернилами). А как ехали из Риги через город и замок, — солдаты стояли на стенах, которые были меньше двух тысяч... И сказывают, что — все солдаты были... Город укреплен гораздо, только не доделан... Здесь зело боятся, и в город и в иные места и с караулом не пускают, и мало приятны... А в стране зело голодно, — неурожай».

И еще через две недели:

«Сегодня поедем отсель в Кенигсберг морем... Здесь, в Либаве, видел диковинку, что у нас называли ложью... У некоторого человека в аптеке — саламандра в склянице, в спирту, которую я вынимал и на руке держал. Слово в слово такоф, как пишут: саламандра — зверь — живет в огне... Ямщиков всех отпустили отседова. А которые ямщики сбежали — вели сыскать и кнутом путно выбить, вода по торгу, и денги на них допратить, чтоб другие впредь не воровали...»

4

Приятным ветром наполняло четыре больших прямых паруса на грот-ифок-мачтах и два прямых носовых — на конце длинного бушприта. Чуть навалившись на левый борт, корабль Святой Георгий скользил по весеннему солнечно-серому морю. Кое-где, окруженные пеной, виднелись хрупкие льдины. На громоздкой, как бышня, корме вился бранденбургский флаг. Палуба корабля была чистая, вымытая, блестяла начищенная медь. Веселая волна, ударяя о дубового Нептуна на носу под бушпритом, взлетала радужной пылью.

Петр, Алексашка Меньшиков, Алеша Бровкин, Волков и хилый, с подстриженной бородой, большелобый поп Битка, — все одетые в немецкое серого сукна платье, в нитяных чулках и юфтовых башмаках с железными пряжками, — сидели на свертках смоляных канатов, курили в трубках хороший табак.

Петр, положив локти на высоко задранные колени, веселый, добрый, говорил:

— Фридрих, курфюрст бранденбургский, к которому плывем в Кенигсберг, свой брат, — поглядите, как встретит... Мы ему вот как нужны... Живет в страхе: с одной стороны его шведы жмут, с другой поляки... Мы это все уж разузнали. Будет просить у нас военного союзу, — увидите, ребята...

— Это тоже мы подумаем, — сказал Алексашка.

Петр сплюнул в море, вытер конец трубки о рукав.

— То-то, что нам этот союз ни к чему. Пруссия с турками воевать не будет. Но, ребята, в Кенигсберге не озорничайте, — голову оторву... Чтоб о нас слава не пошла.

Поп Битка сказал с перепойной надтугой:

— Поведение наше всегда приличное, нечего грозить... А такого сану—курфюрст — не слыхивали.

Алексашка ответил:

— Пониже короля, повыше дюка, — получается курфюрст. Но ка-анешно, у этого, страна разоренная, — перебивается с хлеба на квас.

Алеша Бровкин слушал, разинув светлые глаза и безусый рот... Петр дунул ему в рот дымом. Алеша закашлялся. Засмеялись, стали пихать его под бока. Алеша сказал:

— Ну, чаво, чаво... Чай, все-таки, боязно, — вдруг это мы — и к ним...

На них, балующихся среди канатов, с изумлением посматривал сверху старый капитан, финн. Не верилось, чтобы один из этих веселых парней — московский царь... Но мало ли дикованного на свете...

С левого борта вдали плыли песчаные берега. Изредка виднелся парус. На запад за край уходил полный парусов корабль. Это было море викингов, ганзейских купцов, теперь—владения шведов. Клонилося солнце. Святой Георгий отдал шкоты, и фордевиндом, мягко журча по волнам, плыл к длинной отмели, отделяющей от моря закрытый залив Фришгаф. Вырос маяк и низкие форты крепости Пилау, охранявшей проход в залив. Подплыв, выстрелили из пушки, бросили якорь. Капитан просил московитов к ужину.

5

По утру вылезли на берег. Особенного здесь ничего не было: песок, сосны. Десятка два рыбацких судов, сохнувшие на колышках сети. Низенькие, из'еденные ветрами, бедные хижины, но в окошках за стеклами белые занавесочки... (Петр со сладостью вспомнил Анхен...) У подметенных порогов женщины в полотняных чепцах за домашней работой, мужики в кожаных шапках-зюдвестках, губы бриты, борода только на шее. Ходят, пожалуй, неповоротливее нашего, но видно, что каждый идет по делу, и приветливы без робости.

Петр спросил, где у них шинок. Сели за дубовые чистые столы, дивясь опрятности и хорошему запаху, стали пить пиво. Здесь Петр написал по-русски письмо курфюрсту Фридриху, чтоб увидеться. Волков вместе с солдатом из крепости повез его в Кенигсберг.

Рыбаки и рыбацки стояли в дверях, заглядывали в окна. Петр весело подмигивал этим добрым людям, спрашивал, как кого зовут, много ли наловили рыбы, потом позвал всех к столу и угостил пивом.

В середине дня к шинку подкатила золоченая карета со страусовыми перьями на крыше, проворно выскочил напудренный, весь в го-

лубом шелку, камер-юнкер фон-Принц и, расталкивая рыбаков и рыбацек, с испуганным лицом пробирался к москвитам, стучавшим оловянными кружками. На три шага от стола снял широкополую шляпу и помел по полу перьями, при сем отступил, рука коромыслом, нога подогнута:

— Его светлейшество, мой повелитель, великий курфюрст бранденбургский Фридрих имеет удовольствие просить ваше... (Тут он занулся. Петр погрозил ему). Просит высокого и давно желанного гостя пожаловать из сей жалкой хижины в отведенное согласно его сану приличное помещение...

Алексашка Меньшиков впился глазами в голубого кавалера, пхнул под столом Алешку.

— Вот это — политес... На ципках стоит, — картинка... Парик, гляди, короткий, а у нас — до пупа... Ах, сукин сын!..

Петр сел с фон-Принцем в карету. Ребята поехали сзади на простой телеге. В лучшей части города, в Кнейпгофе, для гостей был отведен купеческий дом. Вехали в Кенигсберг в сумерках, колеса загремели по чистой мостовой. Ни заборов, ни частоколов, — что за диво! Дома прямо — лицом на улицу, рукой подать от земли — длинные окна с мелкими стеклами. Повсюду приветливый свет. Двери открыты. Люди ходят без опаски... Хотелось спросить: да как же вы грабежа не боитесь? Неужто и разбойников у вас нет?

В купеческом доме, где стали, опять ничего не спрятано, хорошие вещи лежат открыто. Дурак не унесет. Петр, оглядывая темного дуба столовую, богато убранную картинами, посудой, турьими рогами, тихо сказал Алексашке:

— Прикажи всем настрого, — если кто хоть на мелочь позарится, — повешу на воротах...

— И правильно, мин херц, мне и то боязно стало... Покуда не привыкнут — я велю карманы всем зашить... Ну, не дай бог — с пьяных-то глаз...

Фон-Принц опять вернулся с каретой. Петр поехал с ним во дворец... Прошли туда через потайную калитку огородом, где плескал фонтан и на лужайках темнели кусты, подстриженные то в виде шара, то петуха или пирамиды. Фридрих встретил гостя в саду, в стеклянных дверях, протянул к нему кончики пальцев, прикрытые кружевными манжетами. Шелковистый парик обрамлял его весьма пронзительное лицо с острым носом и большим пробритым лбом. На голубой через грудь ленте переливались бриллиантовые звезды.

— О, брат мой, юный брат мой, — проговорил он по-французски и повторил то же по-немецки. Петр глядел на него сверху, как журавель, и не знал, как назвать его. Братом? Не по чину... Дяденькой? Неудобно. Светлостью или еще как? Не угадаешь — еще обидится...

Не выпуская рук гостя и пятясь, курфюрст ввел его по ковру в небольшой покой. У Петра закружилась голова, — будто ожила одна из любимых в детстве картинок, что висели у него в Преобра-

женском. На мраморном весело топившемся камине помахивали маятником дивной работы часы, украшенные небесной сферой, звездами и месяцем. Мягкий свет стенных с зеркалом трехсвечников озарял шпалерные картины на стенах, хрупкие стульчики и лавочки и множество красивых и забавных вещиц, коим трудно найти употребление. Ветки с цветами яблонь и вишен стояли в тонких, как мыльный пузырь, высоких кубках.

Курфюрст вертел табакерку, острые глаза его были добродушно полуприкрыты. Усадил гостя у огня на такой легонький золоченый стульчик, что Петр больше держался на мускулах ног, боясь положить вещицу... Курфюрст пересыпал немецкую речь французскими словами. Наконец, помянул о военном союзе. Тут Петр понял. Застенчивость немного сняло с него. На голландско-немецком матросском языке пояснил, что здесь он инкогнито и о делах не говорит, а через неделю придут великие послы, — с теми и надо толковать о мире.

Курфюрст шлепнул в ладоши. Неслышно растворилось то, что Петр принимал за окно, — зеркальная дверца, — и лакеи в красных ливреях внесли столик, уставленный едой и напитками. У Петра схватило кишки от голода, сразу повеселел. Но еды оказалось до обидности мало: несколько ломтиков колбасы, жареная птичка — голубь, пирожок с паштетом, салат... Изящным движением курфюрст предложил гостю сесть за стол, заложил накрахмаленную салфетку за камзол (Петр хотел было сделать то же, но дернул подбородком, сдержался) и с тонкой улыбкой говорил:

— Вся Европа с восхищением следит за блистательными успехами оружия вашего царского величества против врагов христовых. Увы, я принужден лишь рукоплескать вам, как римлянин со скамей амфитеатра. Моя несчастная страна окружена врагами, — поляки и шведы. Покуда в Саксонии, в Польше, на Балтийском море, в Ливонии хозяйничают эти разбойники шведы — процветание народов невозможно... Южный друг мой, вы скоро поймете, — наш общий враг, посланный богом за грехи наши, не турки, но шведы... Они берут пошлину с каждого корабля в Балтийском море. Мы все трудимся, они, как осы, живут грабежом... Страдаем не только мы, но Голландские штаты и Англия... А турки, турки! Они сильны лишь поддержкой Франции, — этого ненасытного тирана, который узурпаторски протягивают руку к испанской короне Габсбургов... Дорогой друг, скоро вы будете свидетелем великой коалиции против Франции. Король Людовик Четырнадцатый стар, его знаменитые маршалы в могиле, Франция разорена непосильными налогами... У нее не найдется сил помогать турецкому султану... В международной игре карта Турции будет бита... Но Швеция, о, это опаснейший враг за спиной Московии...

Легко касаясь кончиками локтей стола, курфюрст теребил цветок яблони. Водянистые глаза его поблескивали. Озаренное свечами бритое лицо было бесовски умное. Петр чувствовал — оплетет его немец. Выпил большой стакан вина.

— Хотел бы у ваших инженеров артиллерийской стрельбе поучиться...

— Весь парк к услугам вашего величества...

— Данке...

— Попробуйте глоточек вот этого мозельского вина...

— Данке. Нам еще рановато в европейскую кашу лезть, — турки нам в великую досаду...

— Только не рассчитывайте на помощь Польши, мой юный друг, — там пляшут под шведскую дудку...

— А мозельское вино доброе...

— Черное море вам ровно ничего не даст для развития торговли... Тогда как несколько гаваней на балтийском побережье раскроют перед Россией неисчислимые богатства...

Курфюрст кусал лепесток яблоки, стальной взгляд его с невидимой усмешкой скользнул по смущенному лицу москвитина...

6

Всю последующую неделю до прибытия посольства Петр провел за городом, стреляя из пушек по мишеням. От главного артиллерийского инженера Штейгнера фон-Штернфельда он получил аттестат:

«...Господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб и в теории науки и в практике, осторожного и искусного огнестрельного художника и ему во внимание к его отличным сведениям оказывать всевозможное вспоможение и приятную благосклонность...»

Великие послы вехали в Кенигсберг столь пышно, как никогда и нигде того не случалось. Впереди поезда вели верховых лошадей под дорогими чепраками и попонами, за ними—пруссские гвардейцы, пажы, кавалеры и рыцари. Оглушительно гремели русские трубачи. За ними шли тридцать волонтеров в зеленых кафтанах, шитых серебром. Верхами — посольские калмыки с луками и саадаками. Московские гайдуки в малиновых кафтанах с золотыми гербами на груди и спине. В развалистой, кругом стеклянной карете ехали три посла—Лефорт, Головин и Возницын — в атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках. Сидели они откинувшись, неподвижно, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей. За каретой — московские дворяне, надевшие на себя все, что было дорогого...

Пока шли приемы и переговоры с курфюрстом, — Петр уехал кататься на яхте по Фришгафу. Дела здесь не было: сколько курфюрст ни хитри — с Польшей союз был нужнее, чем с ним. Великие послы, не в пример прошлым временам, к словам и к букве не цеплялись, в обычаях были обходчивы, только не захотели коленопреклоненно целовать руку курфюрста, потому что-де еще не король. Предложили они союз не военный, а дружественный и на том уперлись.

Курфюрст стал уламывать. Послы сказали: ладно, быть союзу военному, но воевать противу тех держав, кои отстанут от войны с Турцией. И это решение было противно курфюрсту, он поехал на яхту к Петру и проговорил с ним всю ночь. Но мальчишка только кусал грязные ногти. Под конец сказал:

— Да, ладно... Бумагу только не будем писать. Бude у тебя нужда, курфюрст, поможем, вот крест... Веришь?

Заклучив тайный словесный союзный договор (что все же пришлось закрепить на бумаге), великое посольство собралось к отъезду, но пришлось задержаться на три недели в Пилау из-за важнейшего известия: в Польше начались выборы нового короля. На сеймах и сеймиках шляхетство рубилось саблями и стреляло из пистолей, отстаивая кандидатов. Их нашлось более десяти человек, но главными и достоверными были Август, курфюрст саксонский, и принц Конти, брат французского короля.

Француз на польском престоле — значило отпадение Польши от союза против турок и война с Московией. Только здесь, на европейском берегу, Петр понял, что значит политическая игра. Из Пилау он послал гонца к Винусу с приказом написать такое письмо полякам, чтоб как можно напугать партию французского принца. В Москве сочинили грамоту на имя кардинала примаса гнезднинского. В ней говорилось: «...Когда б в польском государстве француз королем стал, то не токмо против неприятеля святого креста союз, но и вечный мир с Польшей был бы зело крепко поврежден... Того ради мы, великий государь, имея ко государям вашим королям польским постоянную дружбу, так же и к панам, раде и речи посполитой, такого короля с французской и турецкой стороны быти не желаем...». Грамоту подкрепили соболями и червонными. Из Парижа тоже прислали золото. Суетные поляки выбрали в короли и Августа и Конти. Началась смута. Паны вооружали челядь и мужиков, разбивали друг у друга хутора, жгли местечки. Петр в тревоге писал в Москву, чтоб двинули войско к литовской границе на подсобу Августу. Но Август сам явился в Польшу с двенадцатитысячным войском — садиться на престол. Французская партия была бита. Паны раз'ехались по замкам, мелкое шляхетство — по шинкам. Принц Конти, — так стало известно в Европе, — доехав только до Булони, пожал плечами и вернулся к своим развлечениям. Король Август поклялся русскому резиденту в Варшаве, что будет заодно с Петром.

Великое дело закончилось благоприятно. Послы и Петр с волонтерами покинули Пилау.

Петр ехал на перекладных впереди посольства, не останавливаясь, через Берлин, Бранденбург, Гальберштадт. Свернули только к знаменитым железным заводам близ Ильзенбурга. Здесь Петру показали вы-

пуск чугуна из доменной печи, варку железа в горшках, ковку из тонких пластин ружейных стволов, обточку и сверление на станках, вертящихся от водяных колес. Работали цеховые мастера и подмастерья по своим кузницам и мастерским. Изделя сносились в замок Ильзенбург: ружья, пистолеты, сабли, замки, подковы. Петр подговорил было двух добрых мастеров ехать в Москву, но цех не отпустил их.

Ехали по дорогам, обсаженным грушами и яблонями, никто из жителей плодов сих не воровал. Кругом — дубовые рощи, прямоугольники хлебов, за каменными изгородями — сады и среди зелени — черепичные крыши, голубятни. На полянах — красивые сытые коровы, блестят ручьи в бережках, вековые дубы, водяные мельницы. Проедешь две-три версты — городок, — кирпичная островерхая кирка, мощеная площадь с каменным колодцем, высокая крыша ратуши, тихие, чистенькие дома, потешная вывеска пивной, медный таз цырульника над дверью. Приветливо улыбающиеся люди в вязаных колпаках, коротких куртках, белых чулках...

В теплый июльский вечер Петр и Алексашка на переднем дормезе въехали в местечко Коппенбург, что близ Ганновера. Лаяли собаки, светили на дорогу окна, в домах садились ужинать. Какой-то человек в фартуке появился в освещенной двери трактира под вывеской «К золотому поросенку» и крикнул что-то кучеру. Тот остановил уставших лошадей, обернулся к Петру.

— Ваша светлость, трактирщик заколол свинью, и сегодня у него колбаски с фаршем... Лучше ночлега не найдем...

Петр и Меньшиков вылезли из дормеза, разминая ноги.

— А что, Алексашка, заведем когда-нибудь у себя такую жизнь?

— Не знаю, мин херц, — не скоро, пожалуй...

— Милая жизнь... Слышь, и собаки здесь лают без ярости... Парадиз. Вспомню Москву, — так бы сжег ее...

— Хлев, это верно...

— Сидят на старине, — сгнила... Землю за тысячу лет пахать не научились... Отчего сие? Курфюрст Фридрих умный человек: к Балтийскому морю нам надо пробиваться, — вот что... И там бы город построить новый, — истинный парадиз... Гляди, — и звезды здесь ярче нашего...

— А у нас бы, мин херц, кругом бы тут все обгадили...

— Погоди, Алексаша, вернись — дух из Москвы вышибу...

— Только так и можно...

Вошли в трактир. Над большим очагом и на дубовой балке под потолком висели окорока и колбасы, от пылающего хвороста блестя медная посуда. Трактирщик низко кланялся, ухмыляясь красной, как кастрюля, рожей. Спросили пива, и только расположились закусывать, — с улицы вошел кавалер.

Был он в высокой — конусом — широкополой шляпе, в суконном плаще, задевающим за шпоры. Кивнул трактирщику, чтобы тот удался, подсканул, захватил спереди шляпу и начал раскланиваться,

шпагой задирая плащ, летая по кухне. Петр и Алексашка, разинув рты, глядели на него. Кавалер сказал на мягком наречии:

— Ее светлость курфюрстина ганноверская Софья с дочерью Софьей-Шарлоттой, курфюрстиной бранденбургской и сыном кронпринцем Георгом-Людовиком, августейшим наследником английского престола, и герцогом Цельским, а также придворными ее светлости дамами и кавалерами, — покинув Ганновер, поспешили навстречу вашему царскому величеству с единственным намерением вознаградить себя за утомительную дорогу и неудобство ночлега знакомством с необыкновенным и славным царем московским...

Коппенштейн, — таково было имя кавалера, — просил Петра пожаловать к ужину: курфюрстина с дочерью не садятся за стол, ожидая гостя... Петр половину только понял из сказанного и до того испугался, — едва не дернул на улицу...

— Не могу, — сказал, заикаясь, — zelo тороплюсь... Да и время позднее... Назад, когда из Голландии поеду, — тогда разве...

Плащ и шляпа Коппенштейна опять полетели по кухне. Он настаивал, не смущаясь. Алексашка шепнул по-русски:

— Не отвяжется... Лучше сходи на часок, мин херц, — немцы обидчивы...

Петр с досады оторвал пуговицу на камзоле. Согласился с условием, чтобы их с Алексашкой провели как-нибудь задним ходом, в безлюдстве, и чтоб за столом была одна курфюрстина, в крайности — с дочерью. Нахлобучил на глаза пыльный треух, с тоской взглянул на колбасы над очагом. На улице ждала карета.

8

Курфюрстина Софья с дочерью Софьей-Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола, перед камином, занавешанным из-за уродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещиком. Несколько современных шпалер и ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами, несомненно, водились совы. Спешно добытые хозяином шелковые креслица стояли на плитчатом полу, истертом сапогами рыжебородых рыцарей и подковами рыцарских жеребцов. Отовсюду пахло мышами и пылью. Дамы содрагались при мысли о грубости нравов, слава создателю, исчезнувших навсегда. Их взор утешала висевшая на ржавом крюке, предназначенном для щитов и панцырей, большая картина. Она изображала роскошное изобилие: прилавок с грудой морских рыб и лангустов, связки битой птицы, овощи и фрукты, кабаны, пораженные копьями... Краски изучали солнечный свет...

Живопись, музыка, поэзия, игра живого ума, устремленного ко всему утонченному и изящному, — вот единственное достойное содержание мимолетной жизни, — так думали мать и дочь. Они были

образованнейшими женщинами в Германии. Обе состояли в переписке с Лейбницем, говорившим: «Ум этих женщин настолько пытливы, что иногда приходится капитулировать перед их глубокомысленными вопросами...» Покровительствовали искусствам и словесности. Софья-Шарлотта основала в Берлине академию наук. На-днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме свои впечатления о царе варваров, путешествующем под видом плотника. «Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону». Мать и дочь не любили политики, их привело в Коппенбург благороднейшее любопытство.

Курфюрстина Софья сжимала худыми пальцами подлокотники кресла. Она прислушивалась, — за окном, раскрытым в ночной сад, сквозь шорох листвы чудился стук колес. Вздрагивали нитки жемчугов на ее белом парике, натянутом на каркас из китового уса, столь высокий, что, даже подняв руки, она не могла бы коснуться его верхушки. Курфюрстина была худа, вся в морщинках, недостаток между нижними зубами залеплен воском, кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уже соблазнять. Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством.

Софья-Шарлотта с темным, как у матери, взором, но более покойным, была красива, величественна и бела. Умный лоб под напудренным париком, блистающие плечи и грудь, открытая почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок... Немного вздернутый нос ее заставлял внимательнее взглянуть в лицо, ища скрытого легкомыслия

— Наконец-то, — сказала Софья-Шарлотта, поднимаясь, — под'ехали. Мать опередила ее. Обе, шумя шелком, подошли к глубокой в толще стены нише окна. По дорожке сада стремительно шагала, размахивая руками, длинная тень, за ней попевала вторая — в плаще и шляпе конусом, подальше — третья.

— Это он, — сказала курфюрстина Софья; — боже, это великан...

Дверь отворил Коппенштейн.

— Его царское величество!

Появилась косолапая нога в пыльном башмаке и шерстяном чулке, — боком вошел Петр, увидя двух дам, озаренных свечами, пробормотал: «Гутен абенд...» Поднес руку ко лбу, будто, чтобы потереть, совсем смутился и закрыл лицо ладонью.

Курфюрстина Софья подошла на три шага, приподняла кончиками пальцев платье и с легкостью, не свойственной годам, сделал реверанс.

— Ваше царское величество, добрый вечер...

Софья-Шарлотта также, подойдя на ее место, лебединым движением отнесла вбок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела.

— Ваше царское величество простит нам то законное нетерпение, с каким мы стремились увидеть юного героя, повелителя бесчисленных народов и первого из русских, разбившего губительные предрассудки своих предков.

Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался, как жердь, и видел, что смешон до того, — вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее, немецкие слова выскочили из памяти:

— Их кан ниht шпрехен... Я не могу говорить, — бормотал он упавшим голосом. Но говорить не пришлось. Курфюрстина Софья задала сто вопросов, не ждя ответа: о погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия, просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое лицом к мрачному залу с темными сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина. От женщин пахло сладкими духами. Старушка, разговаривая, ласково, как мать, касалась сухонькими пальчиками его руки, еще судорожно сжатой в кулак, ибо ногтей своих он застыдился на снежной скатерти, среди цветов и хрустала. Софья-Шарлотта угощала его с приятной обходительностью, приподнимаясь, чтобы дотянуться до кувшина или блюда, оборачивалась с прельстительной улыбкой.

— Откушайте вот этого, ваше величество... Право, это стоит того, чтобы вы откушали...

Не будь она так красива и гола, не шурши ее надушенное платье, — совсем бы сестра родная. И голоса у них были, как у родных. Петр переставал топорщиться, начал отвечать на вопросы. Курфюрстины рассказывали ему о знаменитых фламандских и голландских живописцах, о великих драматургах при французском дворе, о философии и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, дивился...

— В Москве — науки, искусства! — сказал он, лягнув ногой под столом. — Сам их здесь только увидел... Их у нас не заводили, боялись... Бояре наши, дворяне — мужичье сиволапое, — спят, жрут да молятся... Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожили. Сижу здесь с вами — жутко оглянуться... Под одной Москвой тридцать тысяч разбойников... Говорят про меня — я много крови лью, в тетрадах подметных пишут, что-де я сам пытаю...

Рот у него скривился, щека подскочила, выпуклые глаза на миг остеклянели, будто не стол с явствами увидел перед собой, а кислую от крови избу без окон в Преображенской слободе. Резко дернул шеей и плечом, отмахиваясь от видения... Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его...

— Так вы тому не верьте... Больше всего люблю строить корабли... Галера Принкипиум от мачты до киля вот этими руками построенна (разжал, наконец, кулаки, показал мозоли)... Люблю море и очень люблю пускать потешные огни. Знаю четырнадцать ремесел, но еще плохо, за этим сюда приехал... А про то, что зол и кровь люблю —

врут... Я не зол... А пожить с нашими в Москве — каждый бешеным станет... В России все нужно ломать, все — заново. А уж люди у нас упрямы! На ином мясо до костей под кнутом слезет...

Запнулся, взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато.

— У вас королями быть — разлюбезное дело... А ведь мне, машина, — схватил курфюрстину Софью за руку, — мне нужно сначала самому плотничать научиться.

Курфюрстины были в восторге. Они прощали ему и грязные ногти и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, помигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью-Шарлотту.

Всё, — даже чудившаяся его жестокость и девственное непонимание иных проявлений гуманности, — казалось им хотя и страшно-ватым, но восхитительным. От Петра, как от сильного зверя, исходила первобытная свежесть. (Впоследствии курфюрстина Софья записала в дневнике: «Это человек очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он — полный представитель своей страны»).

От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился. Софья-Шарлотта пожелала представить ему дядю, брата и двор. Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь маленьким ртом, кивнул: «Ладно, валяйте...» Вошли герцог Целльский, сухой старик с испанской, каких теперь уж не носили, седой бородкой и закрученными усами волокиты и дуэлиста; кронпринц, — вялый, узколицый юноша в черном бархате; пестрые и пышные дамы и кавалеры; широкоплечий красавец Алексашка, окруженный фрейлинами, — этот всюду был дома. — и послы — Лефорт и толстый Головин, наместник сибирский. (Они нагнали в Коппенбурге царский дормез и, узнавши, где Петр, в великом страхе, не поевши, не переодевшись, поспешили в замок.)

Петр обнял герцога, подняв под мышки, поцеловал в щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы враз присели, кавалеры запрыгали со шляпами.

— Алексашка, прикрой дверь покрепче, — сказал он по-русски. Налил вином бокал, без малого с кварту, кивком подозвал ближайшего кавалера, и, — опять со странной улыбкой: — Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя, пить всем — и дамам и кавалерам по полной...

Словом, веселье началось, как на Кукуе. Появились итальянские певцы с мандолинами. Петр захотел танцевать. Но итальянцы играли слишком мягко, тягуче... Он послал Алексашку в трактир, в обоз за своими музыкантами. Пришли преображенские дудошники и рожечники, — все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, — стали, как истуканы, у стены и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на ко-

ровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах... Под средневековыми сводами отродясь не раздавалось такой дьявольской музыки. Петр подтопывал, вертел глазами.

— Алексашка, жги!

— Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел с носка на пятку. Софья пожелала видеть, как танцует Петр. Он шепотно взял старушку за пальцы, повел ее лебедью. А, посадив, выбрал толстенькую — помоложе — и начал выписывать ногами курбеты. Лефорт взялся распоряжаться танцами. Софья-Шарлотта выбрала толстого Головина. Подоспевшие из сада волонтеры разобрали дам и хватили в присядку с вывертами, татарскими бешеными взвизгами. Крутились юбки, растрепались парики. Всыпали поту немкам. И многие дивились, отчего у дам жесткие ребра? Спросил и Петр об этом у Софьи-Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез:

— Сие не ребра, а пружина да кости в наших корсетах...

9

В Коппенбурге разделились. Воликие послы двинулись кружным путём в Амстердам, Петр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к Рейну, не доезжая городка Ксантена, сел на суда и поплыл вниз. За Шенкеншанцем начиналась желанная Голландия. Свернули правым рукавом Рейна и при деревне Форт вошли через шлюзы в прокопы, или каналы.

Плоскодонную барку тянули две широкозадых караковых лошади в высоких хомутах, степенно помахивая головами, они шли песчаной тропкой по травянистому берегу. Канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченной, как на карте, огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. День был жаркий, слегка мгlistый. Левкои, гиацинты, нарцисы уже отцветали, кое-где остатки их на почерневших грядках срезались, укладывались в корзины. Но тюльпаны — черно-лиловые, красные, как пламя, пестрые и золотистые — бархатом покрывали землю. Повсюду под ленивым ветром — вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких ив вдоль канав. В голубоватой дымке — очертания городов, соборов, башен и — мельницы, мельницы...

Ладья с сеном двигалась мимо огородов по канаве. Из-за крыши мызы появился парус и скользил тихо между тюльпанами... У зеленого от плесени шлюза — голландцы в широких, как бочки, штанах, узкогрудых куртках, деревянных башмаках, их лодки с овощами стояли в канаве, убегающей туда, где мгlistо блестело солнце, — покойно покуривая трубки, дожидались открытия шлюза.

Местами барка плыла выше полей и строений. Внизу виднелись плоды на деревьях, распластанных ветвями вдоль кирпичной стены,

белье на веревках, на чистом дворике по песку разгуливающие павлины. Видя живьем этих птиц, русские только ахали. Сном наяву казалась эта страна, дивным трудом отвоеванная у моря. Здесь чтили и холили каждый клочок земли... Не то, что у нас в Дикой степи!.. Петр говорил волонтерам, дымя глиняной трубкой на носу барки:

— На ином дворе в Москве у нас просторнее... А взять метлу, да подмести двор, да огород посадить зело приятный и полезный — и в мыслях ни у кого нет... Строение валится — и то вы, дьяволы, с печи не слезете подпереть, — я вас знаю... До ветру лень сходить в приличное место, гадите прямо у порога... Отчего сие? Сидим на великих просторах и — нищие... Нам то в великую досаду... Глядите — здесь землю со дна морского достали, каждое дерево надо привести да посадить. И устроен истинный парадиз...

Через шлюзы из большого канала барка вошла в малые. Шли на шестах, постоянно расходясь с тяжело нагруженными ладьями. На востоке разостлась молочно-серая пелена Зейдерзее, голландского моря. Все больше виделось на нем парусов. Все многолюднее становилось вокруг. Вечерело, приближались к Амстердаму. Корабли, корабли на розовеющей морской пелене. Мачты, паруса, пылающие в закатном свете, острые кровли соборов и зданий... Облака горели багрово, как горы, вставшие из-за моря, но быстро погасал свет, они подергивались пеплом. На равнине загорались огоньки, скользили по каналам.

Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трактире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстердам всех волонтеров с переводчиком и коробьями, сам же с Меньшиковым, Алешей Бровкиным и попом Биткой пересел в бот и поплыл дальше (минуя столицу), в деревеньку Сардам.

Более всего на свете не терпелось увидеть ему этот любимое с детства место. О нем рассказывал старинный друг кузнец Гаррит Кист (когда строили потешные корабли на Переяславском озере). Кист, подработав, тогда же вернулся на родину, но из Сардама прибыли (в Архангельск, потом — Воронеж) другие кузнецы и корабельные плотники и говорили: «Уж где строят суда, Петр Алексеевич, так это в Сардаме, — легки, ходки, прочны, — всем кораблям корабли...»

Километрах в десяти на север от Амстердама в деревнях Сардам, Ког, Ост Занен, Вест Занен, Зандик было не менее пятидесяти верфей. Работали на них днем и ночью с такой быстротой, что корабль спускался в пять-шесть недель. Вокруг — множество фабрик и заводов, приводимых в движение ветряными мельницами, изготавливали все нужное для верфей, — точеные части, гвозди, скобы, канаты, паруса, утварь. На этих частных верфях строили средней величины купеческие и китобойные корабли, — военные и большие купеческие, ходившие в колонии, сооружались в Амстердаме на двух адмиралтейских эллингах.

Всю ночь с лодки, плывущей по глубокому и узкому заливу, видели на берегах огни, слышали стукотню топоров, скрип бревен, звон железа. При свете костра различались ребра шпангоутов, корма корабля на степелях, переплет деревянной машины, поднимающей на блсках связи досок, тяжелые балки. Сновали лодки с фонариками. Раздавались хриплые голоса. Пахло сосновыми стружками, смолой, речной сыростью... Четыре дюжих голландца поскрипывали веслами, посапывали висъчными трубками.

В середине ночи заехали передохнуть в харчевню. Гребцы сменились. Утро настало сырое, серенькое. Дома, мельницы, барки, длинные бараки, — все, казавшееся ночью таким огромным, — принизилось на берегах, покрытых сизой росой. К туманной воде свешивались плакучие ивы. Где же славный Сардам?

— Вот он, Саардаам, — сказал один из гребцов, кивая на небольшие, с крутыми крышами и плоской лицевой стороной домики из дерева и потемневшего кирпича. Лодка плыла мимо них по грязноватому каналу, как по улице. В деревне просыпались, кое-где уже горел огонь в очаге. Женщины мыли квадратные окна с мелкими стеклами, радужными от старости. На покосившихся дверях чистили медные ручки и скобы. Кричал петух на крыше сарая, крытого дерном. Светлело, дымилась вода в канале. Поперек его на веревках висело белье, — широчайшие штаны, холщевые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться.

Свернули в поперечную канаву мимо гнилых свай, курятников, сараев с прилепленными к ним нужными чуланами, дуплистых ветел. Канавка кончалась небольшой заводью, посреди ее в лодке сидел человек в вязанном колпаке, с головой, ушедшей в плечи, — удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал:

— Гаррит Кист, кузнец, это ты?

Человек вытащил удочку и тогда только взглянул, и, видимо, хоть и был хладнокровен, но удивился: в под'езжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим, — в лакированной шляпе, красной куртке, холщевых штанах... Но другого такого лица он не знал, — властное, открытое, с безумными глазами... Гаррит Кист испугался, — московский царь! В туманное утро выплыл из канавы на простой лодке! Поморгал Гаррит Кист рыжими ресницами, — действительно, царь, и окрик его... Подплыл на веслах.

— Эй, это ты, Питер?

— Здравствуй...

— Здравствуй, Питер...

Гаррит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку.

— Эй, это ты, парень?.. То-то я смотрю — как-будто они... Вот как славно, что вы приехали в Голландию...

— На всю зиму, Кист, плотничать на верфи... Сегодня ж побегим покупать инструмент...

— У вдовы Якова Ома можно купить добрый инструмент и недорого, — я уж поговорю с ней...

— Еще в Москве думал, что остановлюсь у тебя...

— У меня тесно будет, Питер, я бедный человек, — домишко совсем стал плох...

— Так ведь и жалованья на верфи чай мне дадут немного...

— Эй, ты все такой же шутник, Питер...

— Нет, теперь нам не до шуток. В два года должны флот построить, из дураков стать умными, чтоб в государстве белых рук у нас не было...

— Доброе дело задумал, Питер.

Подплыли к травянистому берегу, где стоял под осевшей черепичной кровлей деревянный домишко в два окна с пристройкой. Из плоской высокой трубы поднимался дымок под ветви старого клена. У покосившихся дверей с решетчатым окном над притолкой постелен чистый половичок, куда ставить деревянные башмаки, ибо в дома в Голландии входили в чулках. На под'ехавших глядела с порога худая старуха, заложив руки под опрятный передник. Когда Гарри Кист крикнул ей, бросая весла на траву: «Эй, эти к нам из Московии» — она степенно наклонила крахмальный ушастый чепец.

Петру очень понравилось жилище, и он занял горницу в два окна, небольшой темный чулан с постелью (для себя и Алексашки) и чердак (для Алешки с Биткой), куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у вдовы Якова Ома добрые инструменты, а когда вез их в тачке домой, встретил плотника Ренсена, одну зиму работавшего в Воронеже. Толстый, добродушный Ренсен, остановясь, раскрыл рот и вдруг побледнел: этот идущий за тачкою парень в сдвинутой на затылок лакированной шляпе напомнил Ренсену что-то такое страшное, — защемило сердце... В памяти раскрылось, — летящий снег, зарево и вьюгой раскачиваемые трупы русских рабочих...

— Здорово, Ренсен, — Петр опустил тачку, вытер рукавом потное лицо и протянул руку.. — Ну, да, это я... Как живешь? Напрасно убежал из Воронежа... А я на верфи Лингста Рогге с понедельника работаю... Ты не проговорись, смотри: я здесь — Петр Михайлов. — И опять воронежским заревом блеснули его пристально-выпуклые глаза.

(Продолжение следует).

Моя весна

Из цикла „Северо-Восток“

ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВ

Простой ли случай или, может быть,
Оплошность моего чутья
Меня вдруг захлеснуло ненароком
Из отдаленных северных окраин
Сюда в Москву, на кунцевскую дачу —
В согласный круг друзей... традиционно
Дышали зимы зверем и смолою,
Когда плутал я — волком по лесам —
В узкоколейных гранках литстраниц
И широкополосице журналов.
Что вынес я из этой суеты?
Итоги после... Снова над Москвой
По устоявшемуся небосклону
Ударил сурик майского румянца,
В стандартные рассветы заключен.
Он мне зырянские напомнил зори!
И знаю я: на Севере сейчас
От ига льда освободились реки.
И первые плоты Русголландлеса
Ведет Двина... Топографы спешат
Сквозь желчь болот, цветение кувшинок
Многообразьем пармы захлебнуться:
Скитаться! Намечать и достигать!
Уменьем изыскателя хвалиться,
Чтоб этой призрачностью, наконец,
Чтоб холодком пространства, глушью первобытной,
Как женщиной любимой, овладеть!
Восходит жизнь для Севера, для нас.
И в лад плотам — скрипенью соловьев!
По звонким кедром дятлов перестук,
В угоду топорам, прокладывающим дорогу.
Весна идет, стремительна по темпу,
Порывом творческим занесена
Над ароматом знойным лесосплава,
В процессе изыскательских работ...
Вот потому-то ежегодно в мае,
Когда рассвет брусники ядреней,
Я ухожу на родину, на Север,
С НКПС'овской разведкой или просто

Обычным сплавщиком, чтоб переплыть
Без мало десять сотен километров
На экспортном плоту от Устьысольска
До самого Архангельска... И нет
Достойнее и лучше мне награды:
Счастливым гулом полнятся леса.
Луга обильем добрым затекли,
Отяжелели зеленью племхозной.
Скрипят плоты, как в рощи соловьи.
По звонким кедром дятлов перестук
В лад топорам, прокладывающим дорогу.

Я вспоминаю, что сейчас в Москве
Не продохнешь. Печальные поэты
Зудят поэмы в толчее редакций,
А в дачном Кунцеве для них восходит май
Лишь тусклой астрой примуса на кухне.

Сестра

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

В луговинах по всей стране
Рыжим ветром шумят костры,
И, от голода осатанев,
Начинают петь комары.
На хребтах пронося траву,
Осетры проходят на юг
И за ними следом плывут
Косяки тяжелых белуг.
Ярко-красный теряет пух
На твоём полотенце петух.
За твоим порогом река,
Льнут к окну твоему облака,
И поскрипывает, чуть слышна,
Половицами тишина.
Ой, темно Иртышское дно, —
Отвори, отвори окно!
Слушай, как водяная мышь
На поемах грызет камыш.
И спокойна вода, и вот
Молчаливая тень скользнет,
Это синие стрелы щук
Бороздят лопухи излук,
Это всходит вода ясней
Звонкой радугой окуней!
...Ночь тиха и печаль остра,
Дай мне руки твои, сестра.
Твой родной, постаревший дом
Пахнет медом и молоком.
Я приветствую этот кров
За мычанье пестрых коров,

За густой его палисад,
За сырой его аромат.
Наступил нашей встречи срок,
Дай мне руки, я не остыл,
Пусть махорки моей дымок
Синь взойдет, как тогда всходил.
Под резным, глухим потолком
Пусть рассеется тонкий дым,
О далеком и дорогом
Мы с тобою поговорим.
Горячей шумит разговор, —
Вот в зеленых мхах и лугах
Юность мчится во весь опор
На крутых степных лошадях.
По траве, по корявым пням
Юность мчится навстречу нам!
Расплеснулись во все концы
С расписной дуги бубенцы.
...Проплывает туман давно.
Отвори, отвори окно!
Слушай как тальник, отсырев,
Набирает соки заре.
Первобытной листвою пыля,
Шатаются пьяные тополя,
Всходит рьжею головой
Раньше солнца подсолнух твой.
Осыпая горячий пух,
С полотенца кричит петух:
Утро, утро, сестра, встречай,
Дай мне руки твои. Прощай!



Б р а у н и н г

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

В промасленной тряпке
С полной обоймой
Спокойно лежишь ты
Десятый год;
Давай же сегодня,
О друг дорогой мой,
Мы в сумерках вспомним
Последний поход.

Уральские выюги
И польские топи
Сломить нас с тобою
Никак не могли,
Есть памятка также
О Перекопе,
Как в море бежали
От нас корабли.

Есть много печалей
И радостей много, —
Пули твои
Сеяли смерть;
Что ж, вылезай
Из темной берлоги,
Дни боевые
Вспомним теперь.

Вот на столе ты,
Черный, блестящий,
В дверь устался
Дулом пустым;
Видишь ли снова
Сибирские чащи,
Или же памятью
Вызвал Крым?!

Сумерки слушают
Длинную повесть
(Им-то понятен
Железный язык!),
Как нас уносит

В степь бронепоезд
В пьяное буйство
Военной грозы.

Верный товарищ,
С тобою легко мне, —
(Сумерки лезут
И лезут в окно)
Ты ль рассказал мне,
Я ль вспомнил,
Как мы ударили
В тыл Махно.

Ты ль рассказал мне,
Я ли вспомнил,
Как мы с тобой
Пропадали в лесах,
Чтоб подстеречь их
Ночью темной,
Чтобы пропахла
Кровью роса...

...Добрый товарищ,
Дай же мне лапку,
Время — ночное,
Пора и спать;
Я заверну тебя
В жирную тряпку,
Сам — на кровать,
Тебя — под кровать.

Время такое,
Не завтра, так скоро
Мы пригодимся
Друг другу с тобой, —
В наших сердцах
Есть еще порох,
Встретим же смело
Последний бой!..

Март, 1930.

Н. ЗАРУДИН

Весна пронеслась мимо жизни, как поезд,
Как стекла и цепи,
И грохот и слава...
Осталась за насыпью дымная повесть,
Во сне одуванчик,
Столбы и канава.

Обтаяли елки смолою на лапах.
Рассохлась сторожка.
Со скатов пологих
Трава затаила волнение и запах
Песка и мазута железной дороги.

Ушли облака с пассажирским.
У линий
Лишь сторож с рожком,
Довольствуясь малым,
Глазел, как с билетом воздушным и синим
Какая-то юность уходит по шпалам.

19. XII. 29.

Люди и факты

1. Проф. К. И. ДЕБУ. Сельское хозяйство и химия. — 2. Дан. КРЕПТЮКОВ. Молочные фабрики. — 3. Вяч. ЛЕБЕДЕВ. По советской Корее. — 4. П. БОЛОХИН. Бураки.

1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ХИМИЯ

Проф. К. И. Дебу

Химизация — лозунг дня. На развитие химической исследовательской работы отпускаются значительные средства. Значение химии в промышленности понятно каждому. Химия дает нам здесь и продукты питания, и одежду (искусственные волокнистые вещества, обработка естественных волокнистых веществ, окраска тканей и пряжи), и строительные материалы (цемент, бетон), и такие продукты, как мыло, и самые разнообразные лекарства, и взрывчатые вещества и многое другое. Перспективы химии в промышленности беспредельны. Повторяем, о значении химии в промышленности говорить много не приходится, оно понятно.

Но СССР — страна прежде и больше всего земледельческая. Нужна ли химия для сельского хозяйства? Что дает она сельскому хозяйству?

Значение химии в сельском хозяйстве не так бросается в глаза. Представление о мыловарении, о приготовлении лекарственных веществ и т. п. в нашем уме всегда ассоциируется с представлениями о химии и химиках. Сельское хозяйство вызывает представление о пахаре, о скотоводе, о пастухе, но не о химике.

А между тем сельское хозяйство, — и притом в обоих своих разветвлениях — и в земледелии и в животноводстве, — есть не что иное как химическая промышленность. И это не парадокс. В самом деле, что такое химическое производство? В химическом производстве мы добиваемся получения из одного вещества других веществ.

Химическое производство связано непременно с превращением веществ, а не только с изменением их формы.

Производство разнообразнейших изделий из чугуна или из стали не есть производство химическое. Здесь из одного и того же материала изготавливаются предметы, различающиеся только по форме, а выплавка чугуна из руды, превращение чугуна в сталь — производство химическое. Руда не имеет свойств чугуна, сталь по своим свойствам, по своему составу, а не по форме отличается от чугуна. Одной и той же формы предмет может быть и чугунный и стальной.

Из крахмала мы получаем патоку, из жиров — мыло, из винограда — вино; все это — типичные химические производства.

Посмотрим, что имеем мы в земледелии, и для большей яркости примера возьмем такие его отрасли как огородничество и плодоводство. Мы сажаем в землю семена, а получаем кочанную или цветную капусту, морковь, свеклу и другие овощи. Из семени мы получаем огурцы, дыни, арбузы. Мы выращиваем из семени, посаженного в почву, яблони с плодами и т. д. Что сделали или, вернее, что получили мы из посаженного семени? Разве мы получили только иной формы предмет из того же материала? Разве не происходит во всех случаях выращивания огородных и плодовых растений создание новых количеств веществ и не только в новых внешних формах, но и с новыми свойствами? Разве семя яблони имеет тот же состав, что ябло-

ко? А раз это так, то ясно, что здесь имеют место химические процессы, что мы здесь имеем химическое производство. Химический характер данного производства не бросается сразу в глаза вследствие некоторых специфических его особенностей.

Возьмем мыловаренное производство. Мыло получается из жиров и щелока (раствора каустической соды). Но чтобы получить мыло, недостаточно жир привести в соприкосновение со щелоком. Жир мы должны расплавить, при нагревании и перемешивании должны постепенно подливать к нему щелок. Должны определенным образом отделить образовавшееся мыло от водной жидкости, должны придать мылу известную форму, окрасить его, придать ему приятный запах. Словом, мы должны определенным образом провести процесс изготовления мыла, вызвать все стадии его производства. Весь процесс протекает на наших глазах, весь процесс проводит сам человек. Иное мы имеем в земледелии. Роль человека здесь в грубых чертах сводится к помещению семени в почву (правда, надлежащим образом подготовленную). Дальнейшее совершается само собой. Семя прорастает, его вещество идет на создание корешков и первых зеленых листиков. Далее корешки начинают впитывать из почвы воду с растворенными в ней солями, зеленые части растения начинают улавливать из воздуха углекислый газ. Растеньице превращается в миниатюрную химическую лабораторию, выполняющую такие сложные химические процессы, которые человек — этот царь, по его мнению, природы — еще выполнить в своих лабораториях не умеет. В растительной лаборатории из неорганических солей и воды, получаемых из почвы, с одной стороны, и из углекислого газа, улавливаемого зелеными частями растения из воздуха, с другой, совершается чудесное создание органического вещества и постройка из него определенных сложных и по внешнему виду и по химическому составу форм растительного организма. Почва, семя, само растение являются не только исход-

ными материалами производства, но одновременно и орудиями его и притом орудиями, действующими почти без участия рук и воли человека.

В зерновом земледелии, т. е. в производстве зерна, мы имеем те же химические процессы, совершающиеся в растительном организме, но только целью их является создание таких же зерен, из которых выросло растение, но в значительно большем, чем было высеяно, количестве.

Итак выращивание растений — это химический процесс, земледелие — это химическое производство. Ну, а животноводство, эта не менее, чем земледелие, важная отрасль сельского хозяйства? Цель животноводства — получение мяса, сала, молока, яиц, шерсти и т. п. продуктов. Получаются эти продукты за счет продуктов земледелия: травы, соломы, зерна, клубней, съдаемых животными и в пищеварительном аппарате животных превращающихся в материал для создания мяса, молока, шерсти. И здесь мы имеем дело с изменениями внутренних свойств веществ, и здесь мы имеем химические процессы, и здесь у нас химическая лаборатория в теле животных. Рядом с этим и здесь та же особенность, что и в земледелии, самостоятельный, без непосредственного в нем участия человека ход химических процессов превращения одних веществ в другие. Но животные не только нужны, как будущий продукт потребления (в виде мяса, сала и т. п.), не только они дают с них снимаемые и вновь возобновляемые продукты (шерсть) или вырабатывают такие выделения как молоко. Очень часто в сельском хозяйстве мы пользуемся ими (лошадьми, волами, оленями, верблюдами) как рабочей силой. Существо дела здесь, однако, не меняется. И тут животное является лабораторией, только вырабатываемые им в своем теле вещества не накаплиются, как при откорме, а сжигаются, используются для получения мускульной силы, для произведения той или иной работы.

Итак сельское хозяйство во всех его отраслях является несомненно хими-

ческим производством, а почва, растение, животное — это те химические лаборатории, те мастерские, в которых идет это производство.

Разница между сельскохозяйственным производством и таким производством, как, напр., мыловарение, в том, что в сельском хозяйстве многие химические процессы идут как бы самостоятельно, независимо от человека. Но то же самое мы имеем во многих отраслях собственно химической промышленности; возьмем для примера виноделие. Человек выдавливает виноградный сок и оставляет его в покое. В нем возникают определенные химические процессы, приводящие к образованию спирта. Процессы эти (брожение) ведут находящиеся в соке микроорганизмы — дрожжи, и без них человеку (по крайней мере пока) из виноградного сока вина не получить.

Главными работниками в химическом сельскохозяйственном производстве являются: почва, растение, животное, а не человек. Это они, а не человек, выполняют те сложные химические процессы, которые приводят к нужному в сельском хозяйстве результату, но человек может не только быть свидетелем этих процессов, он может и должен в них вмешиваться, он должен их направлять в желательную сторону, давать для них наиболее благоприятные условия и т. п. Химия и только химия дает ему эту возможность.

Почва — это та кладовая, из которой растение черпает для себя питательные вещества, но в ней далеко не всегда бывают все нужные для растения продукты питания, а еще чаще эти продукты питания бывают не в готовом для восприятия растением виде (не в удобоусвояемой, как говорят, форме). Человек пополняет те вещества, которых в почве нет или которых в ней мало, внося их извне. Человек различными способами может воздействовать на почву так, чтобы превращать ее неудобоусвояемые запасы в усвояемые.

Почва не представляет собою мертвую, инертную среду. В ней все время происходят химические процессы,

меняющие и ее физические свойства, и ее химический состав. Почва полна микроорганизмов, ведущих непрерывную химическую же работу. Во все эти сложные процессы человек может вмешиваться, всеми этими процессами он может до известной степени руководить, и руководство это становится все более и более существенным и значительным по мере того, как развивается химическая наука вообще и учение о химии и жизни почвы в частности.

Наиболее примитивное вмешательство человека в деятельность почвы — это внесение в нее нехватящих для питания растений веществ при помощи удобрения навозом. Навозом человек огулом вносит в почву все то, что растение из нее извлекает, но далеко не в тех количествах, как это нужно. Некоторые вещества вносятся в избытке, некоторых вносится слишком мало. Следующим этапом в удобрении является внесение в почву минеральных удобрительных туков. Здесь в землю мы можем вносить как раз те составные части пищи растений, которых в почве нехватает. Вмешательство человека в данном случае будет, во-первых, в определении, чего и в каких количествах в почве растению нехватает, а во-вторых, во внесении в почву этих нехватящих веществ. Не все минеральные удобрительные туки имеются, с другой стороны, в природе в готовом состоянии, многие приходится готовить искусственно или, по крайней мере, природные удобрительные вещества переводить в формы удобоусвояемые. Растение нуждается в фосфоре, фосфора очень часто бывает мало в почве и понятно почему. Фосфор сосредоточивается в растении всего больше в зерне, зерно из хозяйства отчуждается продажей, не идет все в корм скоту, его минеральные составные части не возвращаются в почву в виде навоза. В природе имеется богатый фосфором минерал — фосфорит; его в некоторых областях СССР так много, что он шел раньше на мощение дорог. Сам по себе в размоленном виде, однако, фосфорит представляет удовлетворительное удобрение

ние только на кислых почвах. Химической переработкой фосфорит превращается в так называемый суперфосфат. Суперфосфат — прекрасное фосфорное удобрение уже для всякого рода почв.

Чрезвычайно важным являются азотистые удобрения. До начала нынешнего столетия почти единственным искусственным азотистым удобрением являлась селитра, мощные естественные залежи которой, однако, имеются только в Южной Америке, в Чили. Чилийские залежи селитры не велики. Их может хватить на 15—20 лет. Селитра при этом идет главным образом не на удобрение, а на выделку взрывчатых веществ. Других сколько-нибудь значительных минеральных источников получения азотистых удобрений нет. Человечеству грозит селитрянный голод, а между тем мы окружены азотом, азот составляет главную по количеству составную часть воздуха. Больше того, селитра—это соль азотной кислоты, а для получения азотной кислоты надо азот соединить с кислородом. Кислород также имеется в воздухе. Следует их соединить между собою, полученный газ поглотить раствором поташа, и селитра готова. Но это легко на словах, но не легко на деле. Азот соединяется с кислородом под влиянием электрического разряда при очень высокой температуре, но около этой же температуры лежит и температура разложения этого соединения. Чтобы его сохранить, его надо быстро вывести из сферы действия разряда и охладить. Все это представляет громадные технические трудности, но их удалось победить, и в начале текущего столетия появилась «воздушная» норвежская селитра.

Во время войны производство воздушной селитры для военных нужд получило сильное развитие в Германии. Рядом с этим был установлен способ получения из азота воздуха и водорода, так называемого «водяного газа» (продукта разложения при высокой температуре водяных паров), или водорода, получающегося при разложении воды электрическим то-

ком—аммиака, соли которого могут также служить азотным удобрением.

Химия, таким образом, разрешила вопрос об азоте.

Значение минеральных удобрений в сельском хозяйстве огромно. Опыты показали, например, что в Тверской губернии на культурных землях фосфорно-кислое и азотистое удобрение подымает урожай зерна ржи на 63 проц., а полное минеральное удобрение (азотистое, фосфорное и калийное) на 73 проц.

Минеральное удобрение дает особенно хорошие результаты при комбинации с удобрением навозом. Во Владимирской губернии, например, по данным коллективных опытов, на крестьянских землях, получились такие урожаи зерна ржи.

На темноцветных суглинистых почвах: без удобрения— $1\frac{1}{12}$ тонны, полное минеральное удобрение— $1\frac{1}{6}$ тонны, т. е. на $\frac{1}{4}$ тонны больше, по навозу— $1\frac{1}{4}$ тонны, т. е. на $\frac{1}{3}$ тонны больше, по половине навоза и половине минеральных удобрений— $1\frac{1}{2}$ тонны, т. е. на $\frac{1}{2}$ тонны больше.

На сучесчаных почвах: без удобрения— $\frac{5}{6}$ тонны, полное минеральное удобрение— $1\frac{1}{6}$ тонны, т. е. больше на $\frac{1}{3}$ тонны, по навозу— $1\frac{1}{4}$ тонны, т. е. больше на $\frac{5}{12}$; по половине навоза и половине минеральных удобрений— $1\frac{1}{2}$ тонны, т. е. больше на $\frac{2}{3}$ тонны.

Таким образом, правильным применением удобрения можно почти удвоить урожай. Необходимо только, чтобы это повышение урожая было рентабельным, т. е., чтобы внесение удобрения окупалось с лихвой этим повышением урожая. Надо, чтобы искусственные минеральные удобрения стоили дешево. Сделать их дешевыми—задача химии.

Более близкое знакомство с почвой и происходящими в ней процессами выяснило, что часто малое плодородие почвы зависит не от отсутствия в ней тех или иных нужных для растения питательных веществ, а только от того, что эти вещества находятся в неудобуоусвояемой форме и процессы их превращения в формы удобуоусвояемые замедлены. Надо ускорить эти про-

цессы, и неплодородная почва превращается в плодородную. Очень часто это можно достигнуть определенной обработкой почвы, но особенно хорошие результаты дает известкование—внесение в почву извести. Хотя известь и сама по себе нужна для питания растений, но растения ее берут из почвы сравнительно немного.

Значение известкования почвы не в увеличении количества кальция в ней. Цель внесения в почву извести гораздо сложнее. Внося в почву известь, мы имеем в виду главным образом ее косвенное действие, заключающееся в улучшении целого ряда свойств самой почвы.

Плодородная почва должна иметь мелкокомковатую структуру, она не должна расплываться при обработке и не должна сплываться и образовывать корку от дождей. Структура почвы имеет громадное значение для жизни растений. В почву, имеющую мелкокомковатую структуру, легче проникает воздух, необходимый для дыхания корней растений. Всходы растений не задерживаются образующейся на поверхности коркой. Наконец, при доступе воздуха не образуются в почве некоторые вредные для растений вещества.

Известь способствует соединению отдельных почвенных частиц в более крупные комочки и, таким образом, улучшает структуру почвы. Тяжелые глинистые почвы после известкования становятся более рыхлыми и рассыпчатыми.

Химическое действие извести состоит прежде всего в том, что она нейтрализует кислотность почв. Кислотность некоторых почв, в особенности северных нечерноземных, бывает настолько значительна, что сильно влияет на жизнь растений. Некоторые из них, например, клевер, совершенно не выносят сильно кислых почв.

Улучшая структуру почвы и уничтожая почвенную кислотность, известь создает также благоприятные условия для жизни и работы почвенных бактерий, переводящих питательные вещества в доступную для растений форму. Особенное значение это

имеет для снабжения растений азотом. Бактерии переводят азот почвы из недоступных растению органических соединений (перегноя, или гумуса) в аммиак и азотную кислоту, азот которых может всасываться корнями растений. Эти бактерии совершенно не переносят кислоты и нуждаются в доступе воздуха. Смягчая кислотность почвы и делая ее проницаемой для воздуха, известкование усиливает деятельность бактерий и тем самым в сильной степени способствует накоплению доступного растениям азота.

Усиливая деятельность почвенных бактерий, известь ускоряет разложение навоза и дает возможность обходиться меньшими его количествами.

Рядом с этим, способствуя переходу части составных веществ гумуса в удобоусвояемое соединение, известь остальную часть гумуса связывает и не позволяет почвенной и дождевой воде вымывать из него растворимые вещества и уносить их в глубь почвенного слоя.

Наконец, надо указать, что известь сильно способствует переходу из нерастворимого в растворимое состояние различных соединений фосфора, калия и азота, имеющих в почве. Это обстоятельство имеет свои хорошие, но и свои дурные стороны. После обработки, известно, плодородие почвы увеличивается, но на бедных почвах, если в них не вносить удобрений, довольно скоро наступает истощение. У немцев сложилось даже поговорка: «Известь обогащает отцов и разоряет детей». Химия показала несостоятельность этой поговорки. Рядом с известкованием должно идти внесение в бедные почвы удобрений, тогда выиграют и отцы и дети.

В настоящее время, однако, химия пошла значительно дальше возвращения в почву извлеченных из нее растений питательных веществ и таких сравнительно грубых косвенных воздействий на почву, как описанное нами действие извести. Вопросы плодородия почвы изучены в настоящее время очень глубоко, и это изучение позволило сделать очень интересные

выводы, дающие направление в изыскании ряда практических мероприятий по поддержанию и возбуждению плодородия почвы.

Давно известно, что наиболее удобовоспринимаемым источником питания растений является не твердая часть почвы, а содержащиеся в почве водные растворы («почвенные растворы»). Оказывается, что состав и концентрация этих растворов под влиянием разнообразных внешних причин подвержены чрезвычайно легкой изменчивости во времени. Эта динамика почвенных растворов ведет к тому, что нельзя вносить удобрения исключительно на основании данных химического анализа о составе почвенных растворов. В данную минуту почвенный раствор беден определенным элементом, но он может им естественно обогатиться через некоторое время, при наступлении определенных условий влажности, температуры и т. д. Точно так же в почвенном растворе при наступлении определенных условий может произойти понижение содержания каких-либо питательных веществ совершенно независимо от поглощения их растениями. В первом случае мы будем на основании данных анализа напрасно вносить удобрение, во втором — во вред делу его не вносить. Исследования целого ряда ученых (Дояренко, Кравцов) сделали возможным до известной степени предугадывать динамику почвенных растворов, в особенности поскольку она зависит от жизнедеятельности в почве микроорганизмов. При условии определенных благоприятных условий в подзолистых бедных почвах в некоторые периоды года (осенью) могут накапливаться громадные количества (до 1—1½ тонн в верхнем верхковом слое десятины) удобовосвояемых азотистых веществ — нитратов.

Оказывается далее, что в почве происходит известная борьба между корневой системой растения и мелкими почвенными частицами. Корни обладают способностью всасывать почвенные растворы, а мелкие почвенные частицы обладают молекулярной силой,

удерживающей эти растворы, препятствующей корням их всасывать. Известкование почвы, как это в настоящее время выяснено, как раз, кроме различного другого действия, уменьшает это задерживающее действие мелких почвенных частиц.

Большое влияние на жизнь растений оказывает осмотическое давление¹⁾ почвенных растворов (Н. Тулайков, Дояренко и др.). Оптимум давления, повидимому, равен 2—3 атмосферам. Для почв северных районов, повидимому, в общем надо повышать давление, для почв южных — понижать его. Практические способы для изменения осмотического давления могут быть найдены; давление это меняется в зависимости от содержания в растворах солей.

Громадное влияние, как показали исследования целого ряда ученых, на плодородие почвы оказывает присутствие в почвенных растворах так называемых «стимулирующих (возбуждающих) веществ». Присутствие в почвенных растворах малых доз марганца, цинка, урана, лития, меди, ртути, мышьяка, фтора, хрома в некоторых опытах дало увеличение урожая известных растений на 50—100 проц. Стимулянты действуют отчасти на упоминавшуюся нами способность почвенных мелких частиц задерживать питательные растворы, а отчасти на плазму растений, ускоряя развитие растительных организмов. По образному выражению Армстронга, сти-

¹⁾ Если мы возьмем два водных раствора солей (или вообще две жидкости) и разделим их перегородкой (напр., пузырем), то наступает явление диффузии или осмоса, т. е. растворы будут в противоположных направлениях через перегородку проходить один в другой. Прохождение это в зависимости от состава и концентрации растворов будет идти в обе стороны не с одинаковой скоростью. Эта разница в скорости диффузии (просасывания) поведет к тому, что по одну сторону перегородки будет скопляться больше жидкости и с этой стороны, след., перегородка будет находиться под большим давлением. Это давление носит название осмотического давления. О увеличением осмотического давления скорость диффузии падает. При известной величине осмотического давления диффузия приостанавливается.

мулянты являются «приправой» пищи для растений. Исследования Н. Кравкова показали, что живая протоплазма к таким стимулянтам чрезвычайно чувствительна. Ткани животного организма в опытах Н. Кравкова реагировали, например, на раствор одной молекулы сулемы в 4,5 литрах воды.

Наконец, необходимо отметить, что в почвенном растворе для того, чтобы он мог быть использован растением, питательные вещества должны находиться в определенных количественных отношениях друг с другом.

Правило, определяющее эти соотношения, называется «законом физиологических отношений». Согласно этому положению присутствие в почвенном растворе какого-нибудь элемента, даже безусловно необходимого для растения, может явиться вредным, если он находится там в относительном избытке по сравнению с другим. Точные соотношения между различными питательными веществами еще не установлены; но самый факт необходимости присутствия их в питательном субстрате в определенных взаимных соотношениях не подлежит сомнению. Близко по существу к описываемому явлению стоит и другое явление, носящее название антагонизма солей, согласно которому та или иная соль, взятая в отдельности и отравляющая растение, теряет эту ядовитость (а иногда при этом и стимулирующе действует), будучи взята в известной смеси с другой солью.

Таким образом, перед агрономической наукой ставится ряд новых задач, а именно: стремиться активно воздействовать на почвенный раствор в целях создать в нем определенную равновесную систему. В этом стремлении согласно «закону физиологических соотношений» мы будем способствовать более энергичному и обильному росту растений, а согласно явлению существования антагонизма солей — будем оберегать эти растения от различных вредных веществ, могущих накапливаться в почвенном растворе.

Известь является во многих случаях прекрасным антагонистом. Влияние известкования на повышение урожайности может в известных случаях найти объяснение отчасти и в этом явлении.

Твердая часть почвы в процессах питания растений участвует двояким путем. Во-первых, корни растений своими выделениями (природа которых еще не вполне установлена) непосредственно действуют на нее, растворяют известные составные ее части и используют их. Во-вторых, корни, выбирая из почвенных растворов известные вещества, изменяют состав растворов, и такие почвенные растворы с измененным составом действуют на твердую фазу почвы, разлагают в ней труднорастворимые составные части и переводят их в раствор. Изменения состава почвенных растворов, придание им способности воздействовать на твердую фазу почвы и переводить нерастворимые ее составные части в растворимые можно достичь введением в почву известных веществ, которые сами по себе не являются удобрением, т. е. непосредственно растениями не воспринимаются. Работы проф. Прянишникова показали полную практическую возможность такого воздействия на почву. Введением хлористого натрия или хлористого калия в почву он достигал, например, увеличения в ней количества фосфора в удобоусвояемой для растений форме.

Внесением тех или иных химических веществ в почву мы, наконец, можем вызывать в ней не непосредственно те или иные реакции, т. е. изменение ее состава, но можем достигать этого косвенно, стимулируя жизнедеятельность того громадного количества микроорганизмов, которое в почве находится (в черноземе Рихтер, например, констатировал свыше 2 миллиардов различного рода микроорганизмов на каждый ее грамм) и которые ведут неустанную работу по переводу одних составных частей почвы в другие, способствуя, главным образом, накоплению азота в удобоусвояемом для растений виде.

Остается сказать еще о третьей почвенной фазе, о имеющихся в почве газах—воздухе. Несмотря на кажущееся легкое проникновение воздуха в почву, как оказывается, многие почвы страдают от его недостатка и требуют, так сказать, воздушного удобрения. Предпринятые по инициативе проф. Дояренко массовые опыты с внесением в крестьянские земли б. Московской губернии минеральных удобрений дали неожиданные результаты. Оказалось, что внесение с минеральными удобрениями в почву всех необходимых для растений питательных веществ отражается крайне слабо на урожае растений: в подавляющем большинстве случаев полное удобрение давало прибавку урожая всего лишь около $\frac{1}{4}$ тонны на 1 га, повышая общий урожай лишь до 1 тонны на 1 га. На основании полученных массовых данных было сделано заключение, что крестьянские поля (Московск. губ.) нуждаются прежде всего не в питательных веществах, а в каком-то другом факторе произрастания. Таковым фактором оказался недостаток в почве потребного для растения количества воздуха.

Непосредственное исследование величины потребностей корней растений в кислороде показало, что величина эта колоссальна, и, можно сказать, превышает все имевшиеся до сих пор по этому вопросу предположения. Так, на 1 грамм сухого вещества растение, оказывается, должно потребить в среднем 1 мг кислорода в сутки, а соответствующими перечислениями выяснено, что в каждый данный момент почвы Московской губ. обеспечены запасами воздуха лишь на 8 дней.

Достигнуть усиленной аэрации почвы (где она нужна) можно различными способами, и очень часто это достигается подходящей ее обработкой, поддержанием ее в разрыхленном состоянии. Хорошие результаты дает культивирование время от времени на таких почвах растений с сильной и сильно разветвленной системой корней. Прекрасные результаты могло бы

дать, не так-то легко, однако, на практике достижимое разведение в почве большого числа дождевых червей, поддерживающих почву в разрыхленном состоянии. В Англии хорошие результаты получались при «удобрении» почвы кусочками кирпича и черепицы. В Германии с успехом применяли дренажные с мелкими отверстиями и открытыми по обоим концам трубы.

Растения, получая минеральные питательные вещества из почвы, зелеными своими частями улавливают из воздуха углекислый газ. Углекислый газ не менее важное питательное вещество для растений, чем те, которые оно получает из почвы. Земледелец, однако, много хлопоча об удобрениях почвы, никогда не заботится об искусственном предоставлении растению углекислого газа. Хотя содержание углекислоты в воздухе и не велико и составляет всего 0,03—0,04 проц., но воздух настолько подвижен, что всегда к растению поступают все новые и новые количества углекислого газа. Кроме того, в нижних слоях воздуха, над почвой, содержание углекислоты обычно выше, чем нами было только что указано, и доходит до 0,13 проц. Происходит это потому, что углекислота выделяется при разложении органических остатков в почве.

Давно было замечено, что искусственные минеральные удобрения не могут вполне заменить естественного удобрения—навоза. При прочих равных условиях, при удобрении навозом урожай получались всегда лучше. В настоящее время большую часть преимуществ удобрения навозом мы приписываем той углекислоте, которая выделяется при разложении составных частей его бактериями.

Таким образом, человек, сам того не подозревая, производил удобрение углекислотой.

А раз это так, то сам собою ставится вопрос об удобрении углекислым газом. Оказалось, что увеличение содержания углекислоты в воздухе можно довести до 10—12 проц., и это высокое содержание ее, в противоположность животным организмам, для растений не только не вредно, но в зна-

чительной мере способствует их росту и развитию.

С удобрением углекислотой в Германии ставились многочисленные опыты. Наиболее интересны опыты с удобрением очищенными газами доменных печей. Газы эти чрезвычайно богаты угольной кислотой. Немецкий ученый Риддель брал две совершенно одинаковые теплицы: в первой воздух оставлял без прибавления углекислоты, а во второй обогащал воздух углекислотой из доменных печей. Как в первой, так и во второй теплице высаживались томаты и огурцы. Оказалось, что в удобренной газом теплице получилось по весу:

огурцов в 1,9 раз больше,
томатов « 2,75 « «

Кроме того, в удобренной газом теплице огурцы были значительно крупнее и выделялись своей темнозеленой окраской, а томаты отличались более сильным ароматом.

Тот же ученый провел очищенные газы доменных печей по цементным трубам, имевшим боковые отверстия, в огороды, расположенные около завода. Везде на участках получились довольно значительные приросты овощей, сравнительно с контрольными, а в одном случае картофеля получилось в 4 раза больше, чем на неудобренных углекислотой участках.

Конечно, удобрение углекислотой возможно не везде, мы пока не имеем много, как в доменных и отчасти вообще фабричных печах, дешевого источника углекислоты, но там, где такой источник имеется (в районах металлургических заводов), удобрение доменными газами может оказаться рентабельным.

В Рурской области «воздушные удобрения» применяются уже на практике. Ячмень при этом дал повышенные урожаи на 100 проц., люпин — на 175 проц., а картофель — на 320 проц.

Тем или иным воздействием на почву мы при теперешнем состоянии наших знаний можем уже не только увеличивать урожай, т. е. повышать весовое количество собираемого материала, но и изменить его состав. Мы

выше говорили о значении осмотического давления почвенных растворов. Изменением его Н. Тулайкову удалось не только повышать урожай пшеницы вообще, не только укорачивать вегетационный период и увеличивать в урожае процент содержание зерна за счет соломы, но и изменять состав зерна. Из одной и той же чистой линии белотурки он получал зерно то стекловидное, т. е. с большим содержанием белковых веществ, то мучнистое, т. е. с большим содержанием крахмала.

Изучение химико-физиологических процессов, совершающихся в растениях, открывает нам возможность и непосредственного (не через почву) влияния на развитие растений.

Очень много, как оказывается, можно достигнуть укорачиванием (при помощи частичного затемнения) или удлинением (при помощи искусственного освещения) дня. И при этом результаты получаются не такие, как можно было ожидать, т. е. удлинение вегетационного периода при укорачивании дня и сокращение его при удлинении. Все зависит от сорта растений и нормального времени его цветения и плодоношения.

Один из сортов сои, имеющий очень длинный вегетационный период и характеризующийся поздним зацветанием осенью (вегетационный период его четыре месяца), после временного затемнения на определенные часы дня зацветал гораздо раньше, не через четыре месяца, а уже через четыре недели. Аналогичное наблюдение было сделано и над одним из сортов табака «Мэрилендский Мамонт». Этот сорт в климате Вашингтона нормально не зацветает до поздней осени, обнаруживая склонность к неограниченному вегетативному росту и образованию ста и более листьев. Оказалось, что и у него при затемнении в течение ограниченного числа часов цветение наступало гораздо раньше.

При искусственном удлинении дня добавочным электрическим светом «Мэрилендский Мамонт» вовсе не зацветал.

Способность к сокращению вегетационного периода под влиянием укороченного периода

чения дневного периода оказывается свойственной растениям, нормально зацветающим поздно осенью, т. е. в условиях естественного укороченного дня.

Обратная реакция наблюдается у растений, нормально цветущих в условиях длинного дня, т. е. летом. Типичными представителями этой биологической группы являются яровые злаки. Колошение их при искусственном укорочении дня задерживается, при удлинении дня, наоборот, ускоряется, что вполне соответствует земледельческому опыту в северных широтах. Сходное поведение обнаруживается и гречиха.

Чрезвычайно интересно на изменение продолжительности дня реагируют корне- и клубнеплоды. Путем последовательного укорочения дневного периода можно не только задержать цветение их, но и направить запасные вещества преимущественно в подземные вместилища за счет развития надземных частей. Так у картофеля (сорт «Мак Кормик») в зависимости от укорочения дневного периода вес клубней превышал сухой вес надземных частей в следующее число раз: при полном дневном освещении—в 15 раз; при 13-часовом дне—в 22 раза; при 10-часовом дне—в 168 раз. И обратно: удлинение дня добавочным электрическим светом вызвало полное подавление клубнеобразования и разрастание ботвы до высоты $2\frac{1}{2}$ метров.

Изменение длины дня сказывается не только на изменении длины вегетационного периода. Для кукурузы, например, оно сказалось даже в некоторых существенных изменениях соотношения мужских и женских соцветий: под влиянием затемнения в разные периоды своего развития кукуруза обнаруживает ясную тенденцию превращения мужских соцветий в женские или смешанные.

Конкретных данных для объяснения влияния изменения длины дня мы еще не имеем, но факт остается фактом, и из него хотя бы для тепличных культур можно сделать определенные практические выводы, ибо в теплицах достигнуть удлинения или укорачивания дня не трудно.

Влиять на рост и развитие растений, а следовательно и на урожай можно также и определенными воздействиями на посевные семена. Оказывается, что при обработке посевного зерна различными солями магния или марганца, а также различными появившимися в продаже патентованными средствами можно в некоторых случаях получить увеличение продукции на 30—40 проц. К сожалению, такая стимуляция посевного материала еще глубоко не изучена и не всегда почему-то дает результаты. Во всяком случае, известные горизонты здесь открываются, и дело только за более глубоким изучением.

Не можем обойти совершенно молчанием и такие интересные факты химического воздействия на физиологические процессы, совершающиеся в растениях, как ускорение созревания фруктов и овощей, снятых с растений, при помощи выдерживания их в атмосфере воздуха с содержанием минимальных количеств этилена-газа, содержащегося в неполных продуктах горения. Совершенно зеленые плоды в такой атмосфере дозревают в 3—4 дня; при чем сахаристость их значительно повышается, а терпкость (содержание дубильных веществ) быстро и полно падает.

Из этого краткого обзора совершенно нового применения химии в сельском хозяйстве мы видим, что роль ее в земледелии не ограничивается одними удобрениями.

Кроме непосредственного влияния на вегетационные процессы растений, химия дает возможность сельскому хозяйству бороться с болезнями растений и с их вредителями. Зараженное головней зерно дает большие растения, понижает урожай и количественно и качественно. Протравливание посевного материала в формалине сполна его оздоравливает.

Говоря о непосредственном повышении урожая при помощи химии, мы не должны забывать и о борьбе с теми влияниями, которые уничтожают урожай. К этим факторам, уничтожающим урожай, принадлежат вредные насекомые. Укажем, напр., на бабочку

«озимую совку», личинки которой губят озимые посевы. В 1907 году в 15 северных и средних губерниях они уничтожили посевов на 75 миллионов рублей. В 1922 году в губерниях Вологодской и Череповецкой совка заняла 150 тысяч гектаров.

Саранча является в некоторых местах истинным бичом для земледелия. В СССР она живет в низовьях больших южных рек: Кубани, Дона, Днепра, в так наз. речных «плавнях», питаясь камышом, осокой, болотными травами. Там же в «плавнях» она откладывает свои яички, из которых выходят личинки, питающиеся той же пищей, что и взрослые насекомые. В годы же большого разномножения она переползает или перелетает на новые места, нападает на поля, уничтожая сотни и тысячи гектаров хлебов и трав. В СССР особенно страдают от саранчи южные губернии, Кавказ, Восточная Сибирь и Туркестан. В 1922 году саранча заняла площадь около трех миллионов гектаров земли. От нее страдает земледелие и других стран.

Гарвуд (американский автор) так картинно говорит о вреде, причиняемом земледелию насекомыми:

«Если бы населению нашей страны грозил уплатить в форме ли военной контрибуции или займа, вынужденного безумным мотовством или бездарностью ее правителей, такую сумму, какую оно теряет благодаря истреблениям, причиняемым насекомыми, то оно ответило бы на это всеобщей революцией; а если бы оно узнало, что ему предстоит уплачивать эту страшную дань из года в год, то людьми овладел бы ужас, как перед чем-то угрожающим прямо жизненному нерву всей нации. Потери Соединенных Штатов за последние десять лет, причиненные насекомыми, не считая косвенного вреда, также немаловажного, оцениваются в семь миллиардов долларов, в сумму, в три раза превышающую национальный долг, сумму, колоссальную даже для богатого народа, при вышедшего к крупным цифрам, и эти потери нарастают с каждым годом на семьсот миллионов долларов, чего было бы достаточно для уплаты всех

расходов нации, включая пенсии и содержание армии и флота». И это в Америке, стране, где сельское хозяйство поставлено не в пример лучше, чем в СССР, где оно является во многих отношениях образцом постановки сельскохозяйственной промышленности.

Не одни насекомые вредят сельскому хозяйству, — не меньший вред причиняют мыши, суслики и другие грызуны. Суслики встречаются в громадных количествах в губерниях Поволжья: Самарской, Саратовской, Астраханской. В степях и полях этих губерний насчитывают по 100—400 нор на гектаре. Ф. Н. Лебедев находил около норки суслика до двух тысяч пустых колосьев. Съедая в день около 100 граммов корму, за летнее время суслик съедает около 16 клгр. В прежние годы в Пугачевском, Балаковском и Новоузенском уездах Самарской губ. засеивали около двух миллионов гектаров хлебов. Если считать хороший урожай только по $\frac{2}{3}$ тонны на гектар, то значит суслики только в этих губерниях съедали ежегодно не меньше 80—130 тысяч тонн хлеба.

Зараженная сусликами площадь в 1922 г. достигла колоссальной цифры —десяты миллионов гектаров.

Полевые мыши в 1922 г. напали на поля во время созревания хлеба в Б. Вавинской губернии в таком количестве, что уничтожили хлеб почти до единого колоса.

Химия и только химия дает средства бороться с этими вредителями. Те самые отравляющие вещества, что являются таким злом, служа на войне для истребления человека человеком, в сельском хозяйстве оказывают незаменимую пользу в борьбе с вредителями. Мы не будем касаться здесь всех способов применения отравляющих веществ. Ими можно опрыскивать или опыливать растения. Плодовые деревья окуривают синильной кислотой. С саранчей борются в недоступных плавнях рек при помощи воли хлора. Опрыскивание или опыление зараженных лесов производится с аэропланов. Сусликов душат в их норах прямым пуском туда хлора из баллонов.

И здесь в борьбе с вредителями химия сделала уже много, а впереди достижения предвидятся еще больше.

До сих пор мы говорили только о химии в земледелии. На животноводстве мы останавливаться долго не будем, но все же пройти молчанием и эту отрасль сельского хозяйства мы не можем.

Мы знаем, что определенным кормлением можно повышать выделение молока, отложение жира, усиливать и земедлять рост животного, усиливать его работоспособность и т. д. Химия дает нам эти возможности.

Но химия дает возможность не только подбирать нужные кормовые вещества, увеличивающие выделение молока, отложение жира, и не только позволяет точно вычислять нужное количество задаваемого скоту корма, химия, без всякого сомнения, в будущем позволит вещества, не имеющие кормового значения, превращать в питательные корма. Клетчатка — главная составная часть всякой древесной массы — не имеет никакого кормового значения, но ее можно химическим путем превратить в удобоусвояемое вещество — глюкозу или патоку. Экономически это пока не выгодно, но возможно. Будут усовершенствованы способы такого превращения, и, говоря фигурально, явится возможность кормить скот дровами.

Мы видели, как можно изменить процессы, совершающиеся в растении, одним только изменением продолжительности дня. Нечто похожее можно наблюдать и в одной из отраслей животноводства, а именно в птицеводстве. Куры, как известно, зимой совершенно прекращают носку яиц, а весной несут яйца усиленно.

Кладке яиц весной способствует: 1) долгий день, 2) теплая погода, 3) хороший запас питательного животного корма, способствующего образованию белка и желтка яйца (черви, личинки, насекомые и пр.), 4) нежная зелень на выпасе. Как раз зимой этих благоприятных условий недостает и, чтобы усилить зимнюю кладку, надо эти условия создать.

Помещая птицу в хорошие птичники и защищая ее таким образом от зимнего холода, давая ей затем, кроме зерна, и животные корма (мясную или кровяную муку, творог, кислое молоко, остатки мяса и т. д.), а также заменяя зелень на выгуле корнеплодами, капустой и т. д., мы и зимой можем выполнить последние три условия, но куры при этом нести не будут. Зависит это от того, что остается невыполненными первое условие. Применением искусственного освещения в курятниках мы можем выполнить и это условие.

Американские опыты, проведенные с двумя сотнями кур, разница в уходе между которыми заключалась единственно в том, что курятник одной сотни не был освещен искусственно, а другой освещен так, что рабочий день курицы был доведен до 12 часов, дал такие результаты.

	Снесли яиц	
	Сто кур, не пользовавшихся искусственным освещением.	Сто кур, пользовавшихся искусственным освещением.
Декабрь	14	1410
Январь	154	780
Февраль	430	548
Апрель	1401	451
Март	841	483
Май	1605	771
Июнь	792	704
	5237	5147

Куры, не пользовавшиеся искусственным освещением, в общей сложности за 7 месяцев снесли несколько больше яиц, но большая часть снесенных ими яиц пришлась на весну, когда яйца дешевы. Куры, пользовавшиеся освещением, снесли больше яиц в зимние месяцы, когда яйца дороги. Поэтому, несмотря на то, что в общем они дали яиц несколько меньше, доход от них был значительно больше.

Объяснение влияния освещения на носкость кур зимой, впрочем, очень просто. Зимний день очень короткий, птица позднее сходит с насета и рано на него забирается, так что рабо-

чий день ее очень непродолжителен, и она не успевает съесть достаточно корма для переработки его в яйца.

Это, по наблюдениям американского проф. Гальпина, доказывается тем, что зимой обычно у кур в полночь зобы уже пусты, хотя куры в течение осени и зимы днем забивают зобы полнее, чем летом и весной. Вся задача значит состоит в том, чтобы увеличить день, а это возможно, только применяя искусственное освещение в птичнике в зимнее время с раннего утра до полного рассвета и с сумерек до того времени, когда куры идут спать на насесты.

Это, конечно, не прямая «химия», а только удлинение срока, в который работает живая фабрика-курица. Удлиняя ее рабочий день, мы позволяем ей довести ее производственные процессы до конца.

А вот и прямая химия в деле кормления животных.

Азот, необходимый для постройки тела животного, «мяса», а также его выделений, напр., молока, т. е. наиболее ценных продуктов, которые мы получаем от животных, поступает в тело животного вместе с принимаемой пищей обычно в виде белковых соединений: корма с большим содержанием белка (напр., разные жмыхи) называются «сильными» или «концентрированными» кормами. Эти «сильные» белковые корма гораздо дороже кормов, бедных белком, и всякая возможная замена белка в корме более дешевым азотистым же, но не белковым питательным веществом разрешает вопрос о более дешевом производстве мяса, молока и др. продуктов.

В поисках за заменяющими белковые вещества питательными продуктами немцы обратили внимание на мочевину.

Мочевина — главная составная часть мочи плотоядных животных и человека и находится в моче в растворенном виде. Мочевина является конечным продуктом распада белков в теле животных и выделяется из тела почками. По внешнему виду мочевина представляет собою кристаллическое веще-

ство без цвета и запаха, на вкус напоминает селитру, легко растворяется в воде и спирте. В настоящее время ее добывают на химических заводах действием угольного ангидрида на аммиак, при чем этот последний обычно получается контактным способом из азота и водорода из смеси генераторного и водяного газа.

Мочевина содержит в себе еще 45 проц. азота. Оказывается, что животные со сложным пищеварительным аппаратом (с 4 желудками)—коровы, овцы—могут усваивать азот и из более простых, чем белки, азотистых веществ.

У этих животных в пищеварении большое участие принимают бактерии, особенно в рубце, т. е. в первом, самом обьемистом желудке. Небелковые азотистые вещества (амилы), принимаемые животным с пищей, потребляются бактериями.

Оказалось далее, что бактерии, потребляя амиды в передней части кишечника животного, образуют из них в своем теле белок, который затем переваривается и усваивается в другой части кишечника.

Опыт показал, что овцы, коровы могут использовать среди других не белковых азотистых веществ и мочевину и что мочевиной можно в кормовом рационе заменить часть концентрированных белковых кормов.

Прибавка мочевины к задаваемому кормовому корму, очень бедному белками, вызывала увеличение выделения молока.

Мочевина является первым синтетическим (искусственно в лаборатории приготовленным) кормовым веществом. Правда, вещество это может иметь ограниченное применение, но оно показывает, что и такой путь применения химии в животноводстве не невозможен. Прибавка мочевины к естественным кормам — то же по аналогии, что прибавка минеральных удобрений в почву.

Можно ли сомневаться после всего нами сказанного (а этим далеко не исчерпывается все, что можно было бы сказать), что химия есть основа сельского хозяйства, что без развития хи-

мии невозможно развитие ни земледелия, ни животноводства. Можно ли сомневаться, что химия во всех ее подразделениях (общая, органическая, физическая, коллоидная, физиологическая, биологическая) должна быть положена в основу агрономического образования. Зоотехнический институт в Москве выпускает инженеров-зоотехников. Над этим званием иронизируют, но ведь инженеры не только механики, не только представители механической промышленности. Есть инженеры-химики, и вот таких инженеров в области животноводства и в области земледелия можно и должно приветствовать. А чтобы не было недогово-

ренности, будем приветствовать химиков-агрономов, химиков-земледельцев, химиков-зоотехников.

Рядом с лозунгом химизации промышленности в настоящее время выдвигается лозунг механизации сельского хозяйства. Механизация сельского хозяйства нужна, в этом не может быть сомнения. Но рядом с ней не надо пренебрегать не менее важной химизацией сельского хозяйства.

Механизация и химизация должны идти в сельском хозяйстве рука об руку, тем более, что с.-х. машины нередко являются средством воздействия человека на совершающиеся в почве химические процессы.

2. МОЛОЧНЫЕ ФАБРИКИ

Дан. Крептюков

Длинное кирпичное здание, оштукатуренное и выбеленное изнутри и снаружи, оседло высокое бугор. Паракрих жеребцов, изогнув шею, галопом вынесла бричку в гору и подкатила к зданию. Петро Петрович, выходя из брички, поглядел вниз к пруду и сказал:

— Ну, значит приехали... Пойдем...

Высокий долговязый батрак весело глянул на нас:

— До нас под'ехали?..

Агроном сошвырнул с себя широкий аяз и перекинул его через руку.

— Здорово...

Батрак распахнул створки главной брамы. Из коровни дохнуло на нас пряными запахами навоза, свежего молока, грудных ребят. Мы прошли на самую середину коровни и тут подошел к нам голощекий и сизоносый человек с упрекающими коричневыми глазами. Голосом печальным и усталым указал он на широкозадую, матерински оснащенную хорошим показом вымени каштаново-красную «немку».

— Чем не корова?..

Горделиво услаждаясь этим чистокровным животным, коричневоглазый сошвырнул с крестца коровы приставшую соломинку и прокудахтал:

— Это же самый настоящий молочный социализм и есть...

Отрывая руку от тела животного, он выставил большой изогнутый палец перед собственным носом и закончил:

— Двадцать литров в сутки и молоко — прямо один жир... Намазывай на хлеб и ешь!.. Масла не надо!..

Петро Петрович подозрительно наморщил брови.

— Ну, ну, ну... Пошел молоть губернию... Больше шести процентов жиров в молоке не бывает, почтенный Савватий Павлович... Без демагогии!.. И шесть процентов — только как исключение... А норма — три или четыре...

Сизоносый с невыразимейшим упреком взглянул в нашу сторону:

— Шесть процентов?.. Ему и этого мало...

Он огляделся, потом, видимо, решив отступить под насмешливым взглядом Петра Петровича, сообщил:

— Молоко, вот, затаивает, плутня...

Показывая мелкие частые зубы с треугольными из'единами, словно нарочито выдолбленными, Савватий Павлович печально упрекал кого-то:

— Как только у доярки, которая ее раздваивает, выходной день, так уж она и пошла плутовать. Затаивает мо-

локо, хоть ты что хошь делай. И скотина тоже ведь привыкает к человеку, не признает никаких пятнадцатков. Ей подавай одну и ту же доярку и баста!.. Иначе в бунт ударяется. Другая реветь починает, — прямо слушаешь и диву даешься, до чего понятлива бывает скотина... Лучше другого человека...

Савватий Павлович прошел в стойло «немки», провел рукою по подгорлью коровы, тогда животное вздохнуло, прикоснулось влажной своей мордой к ладони человека и, играя, подбоднуло Савватия Павловича в бок. Тот глянул на нас и, заикаясь, пробубнил:

— Ишь, с-сволота, шутки шутить вздумала...

Пройдя к задним ногам коровы, он похлопал рукой по взбугрившемуся короткошерстому моклаку.

— Вы только пощупайте...

Я подошел к корове, прощупал молочные колодцы, углубляющиеся и надежные, провел рукой по толстой веревкоподобной связке вен, питающих вымя. Коричневоглазый упрекающе глянул на агронома:

— А длина?..

И, возвышая голос, протянул:

— А голова?! А хвост?!.

И я увидел узкую, кровную, правильно оснащенную рогами голову, широкую холку, объемистое безмерно-глубокое туловище и длинный тонкий хвост. Далеко заходящее вперед и назад вымя отмечалось сзади прочно-очерченной складкой кожи, которую скотоводы называют «запасом» вымени». Складка легко оттягивалась, потому что «немка» уже была выдоена.

Савватий Павлович подступил ко мне вплотную:

— Это же только первый отел. Если правильно раздонтить вот такую корову эт-то же десять тысяч литров молока в год.

Петро Петрович кольнул взглядом Савватия и, неожиданно сплюнув на глинистый свежее подметенный пол, холодно уронил:

— Мне-то что, — можете верить или не верить... А только — эт-то же не корова, а одно молоко.

Тогда в разговор вступил Петро Петрович. Шевеля бородой, агроном сказал:

— Вы не очень-то носитесь с десятью тысячами литров в год... Обжечься не трудно на этом самом...

Савватий Павлович обежал глазами коровню и медленно спросил:

— Это для чего же обжигаться?.. Мы что знаем — то уж знаем...

Агроном прищуренно глянул сначала на меня, потом на Савватия:

— А знаете ли вы, что наивысший удои, к тому же почти единственный в мире, за год составил только двенадцать тысяч литров с небольшим?..

Савватий печально сообщил:

— Знаю.

Агроном, тая угрозу в глазах, резал словами сгустившуюся тишину:

— У нас под Мелитополем есть единственная такая коровенка, которая при седьмом отеле дает двенадцать тысяч литров в год... Так ведь эта самая коровенка побилла все рекорды не только наши, но и датские. Только в Америке, вот, говорят, есть еще одна, которая дает еще больше.

Савватий обиженно всхлипнул:

— А, может, вот эта самая даст тоже двенадцать тысяч литров?.. Разве заглянешь ей в утробу?!

Агроном криво ухмыльнулся, подошел к «немке», поднял хвост, разглядел выменные богатые зеркала, стойко и неотвратно сказал:

— Никогда не даст она вам больше шести тысяч в год. Хоть сами ее сосите. Хоть рядом с собой за стол сажайте да котлетами кормите...

Савватий облизнул языком воспаленные свои губы:

— Бездоказательно... Клевета... Поясните...

Петро Петрович вытер губы и уничтожающе сообщил:

— Коленка ¹⁾...

Недоуменно глядели рабочие. Недоумевали глаза Савватия. И тогда, насладившись этим недоумением, агроном пояснил:

— Рано к быку подпустили. Надо было еще месяца четыре—пять выдерживать... Оттого и общее недоразвитие. Природа не терпит безвозбранно вот таких излишеств. Это все одно как дет-

¹⁾ Коленка — недоразвитая вследствие ранней случки корова.

ский онанизм... Да-с... А теперь она вам больше пяти—шести тысяч литров в год не даст... Ни за что...

Савватий поднял руку над головой и безнадежно махнул ею, рассекая пополам пряную сладость коровни. А агроном, насупив брови, вымолвил:

— Не форсите... Ежели бы у нас все коровы давали по шести тысяч литров, это-то всякие кризисы забылись бы. А то вон у мужиков даст три тысячи и тпру-у... Хоть ты режь ее!.. А то еще и две...

Подворачивая ко мне голову, он уронил:

— Ну, так пойдем дальше, а то их тут до утра не дослушаешь...

Стояло в коровне полтора ста этих молоконосных фабрик. Расчет был на чистопородный красный немецкий скот, но время и обстоятельства искривили план. По этому поводу Петро Петрович еще вчера неистовствовал:

— Ска-ажите, какая с-сволочь!..

Я без удивления спросил:

— Это вы про что же?..

Почтенный человек вскипал, сыроватая зрелость его тела начинала вздрагивать и, метаясь в своем платье, как взаперти, он вскрикивал:

— Коров бить начали!.. План сорвали!.. Хотелось чистоту породы сохранить, чтоб все, как одна, высоковыдержанные немки были!.. А кулачье наше, куркулье — нет-с, коров бить начало!.. Ну, и предписание из центра...

Он насторожился и скороговоркой прочел, чертя пальцем в воздухе:

— ...Предлагается всеми мерами бороться с уничтожением молочного скота зажиточным крестьянством... Ну и так далее, понимаете...

Всверлился в меня угольками глаз и сжатым кулаком сделал такое движение в воздухе, словно бил по дубовому крепкому столу.

— И правильно!.. мудро!.. Так и надо!.. Иначе ничего не поделаешь!..

Слегка оседа плечами, печально покачивал головой:

— И вот начал я скупать молочный скот. Скупил я свыше тысячи голов... Сам ездил и скупал. Около двухсот тысяч на это ухлопал... Да-с...

Внезапно возгораясь, скаля зубы из-под бороды, тяжело выворачивал он, как глыбы руды, пласты слов из себя:

— Вы понимаете, — пять миллионов литров молока спасено... Да-с... Вот где мудрость... Ты, сволочь, скот молочный режешь, а мы тебе не позволим делать это... Получай полтора ста!.. Получай еще пятьдесят!.. Еще мало?!.. Возьми две сотни с половиной!..

Вытаращенными глазами, скомкавшейся слюной в уголках рта, всем своим обличьем, озлобленным и на все решившимся, он кричал и вопил, казалось, на весь этот в муках зарождающийся мир:

— Не режь!.. Что ты делаешь?!.. Лучше сам под нож лягу!.. Не режь!..

Напрягая всю свою утробу, вырывал он вместе с огнем, клокочущим в нем, отдельные слова:

— Еще мало?!.. Совести в тебе нет!.. Получи двести пятьдесят, но только не режь!.. шоб тебе різачка, зарізала, печінка в тобі куркульска¹⁾!..

Отдаваясь своему гневу, он мешал украинские фразы с русскими. Но об этом я уже знал. Эта скупка молочного скота из-под ножа разъяренного куркулья сказалась и на ферме. Среди чистопородных «немок» попадались и пестротелые ярославки, и не уступавшие им по яркой колоритности расцветки костромички, и могучие, как волы, продымянно-серые, окрашенные под цвет степной земли быкоподобные украинки. Пряча нос в синеекаемчатый платок, агроном прошамкал:

— Вот это они и есть, те самые слабые нами коровы... Тысяча коров... Ежели по пять тысяч литров только, — это пять миллионов литров в год. Двести тысяч килограммом масла! Двести тонн! Завод, в котором десять тысяч пролетариев, такая ферма в тысячу коров прокормить может. Вот что...

Пряча платок, ясно и четко говорил он, умеряя гнев:

— Стадо сбивалось наскоро... Это же видно... Но замейте... Среди всего этого безродья попадаются экземпляры, которые при правильном раздаивании будут давать по семь-восемь, а,

¹⁾ Шоб тебе різачка зарізала, печінка в тобі куркульска — украинское ругательство. Різачка — рези в животе. Печінка — печень.

может быть, некоторые и по десять тысяч литров в год. Это, так сказать, дегенераты в лучшую сторону.

И, снова закипая, грузно и медленно выкрикнул:

— И все это могло бы быть перерезано!.. А-ах!..

Всхрипывая, взял себя в руки и обернулся к Савватию Павловичу.

— Ну, показывайте дальше.

Слегка испуганным тонким голосом Савватий сообщил:

— Как же ей не давать молока при таких кормовых единицах?... Все вычислено, вымерено, вывешено... Кормовая дисциплина известна каждому рабочему... Он даст ей только то, что полагается, только тогда, когда полагается... Эт-то же музыка!.. Понимаете—как по нотам?!. А вы!..

И жалостливо глянул на Петра Петровича:

— ...А вы — пять тысяч литров... Э-эх...

Ноги его разбежались, и он сразу брызнул гневом через край:

— Десять тысяч даст!.. Р-ручаюсь!.. Не даст?!. Не даст??.

Костистым, худым кулаком он колотил себя в грудь и верещал:

— Десять тысяч!.. Сам дойти буду, ежели не даст десять тысяч!..—Петро Петрович обвел глазами Савватия сверху донизу:

— С вас много не надоишь... Млявы вы больно... Да и молоко худое...

И гмыкнул в свою бороду. Старший коровник, средних лет мужчина с могучими плечищами и детским альтом, рукою указал на одну «немку»:

— Видите, як воно зроблено от науки... Тепер и мы донимаем...

И радостно всхлипнул, кося глазами в сторону «немки».

Подшли к «немке». У коровы был хороший, здоровый вид, взгляд ее жгуче-черных глаз был ласков, женственно-нежен и спокоен, однако, корова эта была больна. Передние ее ноги стояли в углублении стойла, задние были приподняты и помещались на специально выложенном возвышении.

Я вопросительно повернул голову к коровнику:

— Для чего это она так перекошена?..

Добродушно ухмыльнувшись, коровник почти дискантом пропищал:

— А вгадайте... га-га-га...

И загоготал захлебисто и с провизгами в голосе. Мы обошли корову сзади, хвост у нее был необычно подвижен, хвостом она проявляла беспокойство, причины которого невидимо гнездились где-то внутри. Я соображал:

— Не желудок ли?.. Не кишечник ли?.. Не вымя ли?..

Но при этих болезнях животные обычно ложатся. Здесь могло иметь место что-то хроническое и давнее. И я снова думал над этой болезнью:

— Передние ноги ниже, задние выше... Что-то внутри надо таким манером вдвинуть постепенно куда-то на свои места...

И тогда стало ясно. Картина болезни очевидна. Обернувшись, я сказал:

— Не выпадение ли матки?!

Коровник раздосадованно оглядел нас:

— Оно самое.

Слегка разводя руками, он продолжал:

— У моей жінки отака ж хороба якось приключилась... Була у лікаря...

Оглядев нас поочередно, задушевым голосом коровник спросил:

— А как же вы узнали вот так сразу?.. Дивное дело...

Я приблизился к нему вплотную:

— А разве ж вы, товарищ, не слышали про спілку науки и праці...

Лицо коровника, внезапно загорелось какой-то мыслью, потом оно с такой же внезапностью потухло. Петро Петрович приблизился ко мне и сказал:

— Да-а, тепер уже все верят, что это всерьез. Когда мы закладывали эти молочные фермы, над нами смеялись на селе. Мужики говорили: «Що надоять, то и сожрут сами. Рабочим на фабриках этого молока и не видать...» А тепер сами же бегают сюда и на коров смотрят. А мы свое знаем. Мы, как гвоздь в стену, вгвоздились в это дело и ничем нас от него не отогнать... Хоть палкой бей, а мы свое делаем...

Журчал его голос, как утоляющий жажду родник в степи, и бесконечно

слушать хотелось этого приземистого бородача.

— Они говорят, а мы делаем. Что лучше — это уж видно... А через два—три года все эти упрямы из села будут краснеть, когда мы им в их же коллективные столовые будем отпускать наше масло... Мы уже и теперь ежедневно тысячу литров молока отправляем в Киев церабкоопу по договорам да ящиков с десятком творогу в Винницу. А что будет дальше!..

Мы шли по среднему центральному проходу длинной и светлой галлерей. Коровы уже с'ели жом ¹⁾ и, набив оскомину, неторопливо жевали овсяную солому. Сработанные из дерева кормушки, еще нуждающиеся в дополнительных усовершенствованиях, матово белели поперечными, гладко остроганными перекладинами, отделяющими коров для устранения взаимного объединения.

Еще много надо тут капиталовложений... Надо из'ять все это дерево, надо заменить его цементом, железом, бетоном, надо так изготовить кормушки, чтоб ежедневно их можно было споласкивать, мыть эту посуду... Но... Сахаротрест денег не дает... Говорит — только в 1931 году по плану пятилетки, а теперь вот перебиваемся...

В окна хлестало, как из многих прожекторов, пучками зимних подвядших лучей. Блики этих лучей падали на красно-каштановую окраску коров, вызолачивали ее, и тогда казались коровы окутанными в какие-то хорошо пригнанные, прочно и навеки сшитые кроваво-золотые одежды. Слушая Петра Петровича, я мечтал о тех временах, когда беломатовой молочной влагой будут залиты фабрики, цехи, рабочие коммуны, города. Захваченный этой мечтой, почти поработанный ею, я спросил:

— А на 1930 год какие у вас планы по пятилетке?..

Освещаемый косыми лучами, Петро Петрович остановился у оконного провета и, жмуря глаза, сказал:

— Пять вот таких ферм по двести голов в каждой... Тысяча голов. На се-

годня есть шестьсот сорок, а еще только восемнадцатое января... Пять миллионов литров молока в год!.. Это пять тысяч тонн!.. Да-а-с...

Петро Петрович не мечтал. У него все это уже было давным давно перемечтано и передумано, подсчитано и взвешено. Теперь его заботило другое:

— Каждая корова дает нам в год примерно около десяти тонн навоза. От тысячи коров будет десять тысяч тонн навоза. Этого хватит, если еще добавлять минеральных удобрений... Вот в чем загвоздка! Навоз для нас не менее важен, чем молоко. Одно за другое цепляется в этом кругообороте... Навозом и трактором мы заставим рожать землю по-новому.

Я спросил:

— А все же?..

Петро Петрович обернулся ко мне.

— Что все?..

Я пояснил:

— До каких пределов, думаете, можно догнать урожайность?..

Агроном щелкнул языком:

— Тридцать метрических центнеров из года в год дам!.. Не меньше!

Устыдясь этого своего порыва, агроном сразу увял и тихо сказал:

— Конечно, пшенички... Нашей хохлацкой украинки... хе-хе...

«Пацковский царь»

Шагая с ним рядом, я заметил у одной «немки» у самого основания хвоста шершавое пятно вылезшей шерсти. Подошел к корове и подозвал коровника: Не лишай ли?..

Коровник повел головой.

— Может быть, короста?..

Коровник поддернул штаны и, ухмыльнувшись, вывизгнул:

— А вгадайте!..

— Не знаю, ей-ей... А вы все же скажите?..

— Пушай похочется больше, тогда и скажем... ха-ха-ха...

Коровник гоготал и подтрунивал надо мной. Потом скороговоркой выбросил:

— Не лишай и не короста, а только, значит, самый настоящий пацюк...

— Па-ацюк?!.

И мне почему-то представился именно гоголевский Пацюк, поглощающий

¹⁾ Жом — обессахаренная свежесковичная лапша, остаток от производства. Хороший корм для скота.

вареники, обильно выкупанные в сметане.

— Какой такой пацюк?..

Коровник потешался надо мною.

— Пацюк, как пацюк... Крыса, то есть, по-вашему...

— Кры-ыса?!.. Какая крыса?!..

— Да настоящая крыса... Пацюк...

Щурами его зовут у нас...

Оказалось — действительно крысы... Во время лежки коров они общипывали шерсть у животных, расщекотывали их, животное срывалось, взрывалось, не давалось доиться. Коровник указал на небольшое отделение, выгороженное в конце коровни. Мы прошли туда и увидели ряды просторных клетушек с телятами-сосунами, еще отпаиваемыми цельным молоком. Коровник подошел к одной клетушке и, гогоча, показал пальцем в угол клетушки.

— Тимкó.. О-го-го... Пойди сюда, сволочь... Пушай на тебя, дьявол, люди московськи хоть посмотрять... Тимкó... Тимкó... Лайдак... Поди сюда...

Что-то мохнатое, огромно-ожирелое, всхрапывая, поднялось из угла выпятило пушистой дугой спину и, фыркнув, подалось к коровнику.

— О-го-го... Тимкó-о... Молодец... Пацюковой царь...

Это был гигант-котище с продолговатыми, как сливы, глазами, которые как-то по-особенному фосфоресцировали при виде незнакомых людей. Когда я приблизился к этому полуодичавшему зверю, он сгримасил усатую морду, показал острые долотца зубов, фыркнул носом, словно отплеываясь, и, протяжно мяукнув, взвыл и ошетинился зловонным клубом шерсти, когтей и мускулов.

— Не трогайте!.. Не замайте!.. А то он такой сумасшедший, что́ як цапне— хоча вы и не пацюк, го-го-го...

В большом смущении пришлось отступить от этого зверя.

— Зачем он вам, такой бесище?..

Коровник осклабялся, показал желтовато-темные зубы.

— А для пацюків... Пацюків він даве... Так як схвате пацюка за в'язи¹⁾, та як придаве, та шлепне об землю— тому й кінець... У перцу ніч, як я при-

ніс его сюды, він задавив сімнадцять пацюків... Але ж не йість, а даве тільки, та все рядком склада, все рядком...

Мы были подавлены этим царственным величием кота. Он вел себя, как истый привычный царь, со всеми признаками этого честного ремесла.

— А чем же вы его кормите?..

Коровник доставал кисет с махоркой.

— Молочка немножко даем, а то хлебца шматочек... Все он жрет... О-о-х, и боятся же его пацюки!.. С тех пор, как он здесь, а ни одного пацюка!..

И восторженно захлебнулся, словно завидовал он коту. Потом сыпнул из горсти табаку в газетную бумагу и, чему-то радуясь, всхлипнул. Кот, слушая наши разговоры, дыбился колесом, сверкал глазами, налитыми заленовато-красным фосфором, воркотал, разнеженно и сладострастно, терся спиной и боками у ног коровника. Потом он внезапно фыркнул носом, насторожился и коротким мягким прыжком взметнулся в угол. Уже оттуда он коротко мяукнул, сверкнул глазами из темноты и залег клубком пушистой шерсти в углу. Все время молчавший Савватий шагнул к нам, сжал в усилии желваки щек и пробормотал:

— З-злбная тварь... Корова бьет ногами, а крыса знай щиплет шерсть и к себе в гнездо, к себе в гнездо... И снова обратно к корове...

Закончив это пояснение, Савватий Павлович надул щеки и высокопарно прочел:

Были и лето, и осень дождливы,
Были затоплены пажити, ливы, —
Хлеб на полях не созрел, а пропал,
Оделался голод, народ умирал.

Декламируя, Савватий пристукивал левой ногой. Кончив четверостишие, он торжествующе обвел нас глазами и коротко спросил:

— Помните?..

Петро Петрович с насмешливой угрозой обронил:

— Смотрите, чтобы и вас крысы не сожрали, как того легендарного епископа Гаттона, о котором писал Жуковский...

Он приостановился, взглянул с усмешкой в сторону Савватия и закончил:

1) В'язи — шея.

— В эпоху всяческих реконструкций — и вдруг зава молочной фермы крысы, если... хо-хо-хо...

Потрясая бородой, добродушной ширью своего смеха тронул он за самое живое коровника, и тот, вскинув руки в бока, зашелся в альтовом хохоте.

— Хо-хо-хо-хо... Хи-хихь-хи-и...

Он смеялся, но провизги в его смехе казались детским волнующим плачем.

Телята

Мы подошли к клетушке с чистопородными красными немецкими телятами. Эти создания глупыми влажными мордами тыкались в наши платья, в жмени рук, а один недельный тельпаш облюбовал полу моего овчинного вятского полубубка. Я только тогда обратил внимание на таинственное занятие теленка, когда коровник, взмахивая руками, крикнул:

— Оттяните полу!.. Оттяните!.. Прожует, ан-нахтема!.. Оттяните!..

Я приподнял полу, взгляделся в заключенное влажное место и увидел прожевицу величиной в медный пятак на самом видном месте полы. Влажной мордой теленок тянулся к моей руке, выгибая мягкую слабую шею и часто дыша, словно захлебываясь в сыром воздухе теплого, сухого телятника.

Петро Петрович покачал головой и перешел к другой клетушке.

— Обратите внимание, только вот сегодня народился этот миленьш.

«Миленьш» был чистопородной телочкой. С широко расставленными ногами телочка, пошатываясь, вдыхала крепкий дух земли. И видно было по вхлебистому, неровному дыханию, что механизм этого процесса еще не усвоен телочкой, что земля не кажется ей гостеприимной. Еще два часа назад телочке пришлось сменить температуру материнской утробы в 38,5 по Цельсию на температуру этого телятника, в котором держалось около 8 градусов. Разница в тридцать с половиной градусов воспринималась телочкой довольно трудно. Телочка временами дичала, бросалась из стороны в сторону.

С каким-то теплым, почти отцовским чувством мы вышли через пролаз в броне из телятника и попали в открытое, ровное, как поле, пространство.

Навоз

На площади около двух гектаров — углубление с выбранной землей, с откосыми боками. Сюда ежедневно, в определенные часы, вывозят на специальных грязных арбах из коровен, свиношников, конюшен, телятников отслужившую свою службу влажную подстилку. Пласты навоза с каждым днем возрастают, из угловых сточных колодцев вычерпывается навозная жижа, и этим удобрительным экстрактом поливается навозохранилище. Легкий дымок в безветренные утра волокнами потягивается над навозохранилищем, черноземной прянью овеивает ноздри и пахуче-сладостной навозной сытью. Нога мягко вдавливается в спружинивающуюся полусоломистую массу. Две можары медленно везают на навозохранилище, волы в можарах роняют длинные, свисающие мониста слюны. Колеса увязают в пушистом одеяле. Ярма, поскрипывая, облегают шею волов, смазанные едучим и рвущим ноздри креозотом. Молодолицый подросток роняет осыплым голосом:

— Цоб, Гривко... Цабе, Макіцирка... Цоб-типу верни... Гей...

Подросток плюет в ладони, вкладывается сразгона вилами в верхнюю покрывку навоза на можаре. Четырнадцать натычек — и можара пуста. Опустошенная, она приподнялась на колесах, облегченно вспарила над волами.

Я гляжу на всю эту крайне медленную операцию и говорю директору:

— А вот эти шницельные гиганты много дают навоза?..

Кивком головы указываю на волов. Петро Петрович еще только собирает-ся ответить, а Савватий, опережая агронома, жалостливо выговаривает:

— Раза в два с половиной больше, чем коровы...

Агроном поощряюще смотрит в сторону зава, а зав, долгий и сдавленный с боков, поясняет:

— Об'емистыми кормами волов кормим, оттого и золота больше, и солей тоже, и мочи... А коровам, особенно высокоудойным, больше концентрированных кормов даем... Соломку им для того только, чтоб интенсивней перетирание пищи в желудке происходило... Вот и навозца от них меньше...

Медвежковатый, облеченный почему-то в вывернутую шубу, низколобый и скуластый батрак, отчопив бочку, дуговатым каскадом выцеживал из бочки на солоmistые части навоза обивково-гноиную жижу. Савватий жалостливо тянул, широкими шагами вдавливаясь в навоз:

— Тут сельяне предлагают частенько это добро, — приезжай, говорят, забери, а то ни тебе, ни нам не будет... Взопреет весь... Забрать бы?..

Он вопрошающе смотрит в сторону директора. Петро Петрович длительно всматривается в Савватия, словно не узнает покорного этого человека.

— В тюрьму захотели?... Ну, ну, попробуйте...

Его голос глух и чугунно-опрочен какой-то безусловной уверенностью. Савватий осовело пыхтит, натужась что-то сказать. Но директор глухо и утробно ворчит:

— Декрет читали?.. Навоз покупать у крестьян нельзя. Мы не частно-предпринимательское заведение, чтобы повышать урожай на совхозовских землях за счет крестьянского навоза и в ущерб урожаю на крестьянских полях... Хлебец-то потребен государству и из своих и из крестьянских земель... Это вам не у Балашева, не у Терещенка, не у Бобринского...

Крякнул и сглушил свой голос почти до шопота:

— Я сам миллионы пудов навоза у мужиков для терещенковских экономий покупал... Два пуда на копейку, да еще выбираешь такое время зимы, когда мужику особенно деньги нужны... Чтоб дешевле продал...

Агроном оглушающе каплянул и завершенно высморкался:

— Десять рублей на десятину на навоз выбросишь, а потом, видите ли, двести двадцать берковцев буряка с десятины возьмешь... Да еще восем-

надцать процентиков сахаристости... Вот и расчтете!.. Да-с...

Он шелкнул языком, засопел носом, продувая заросль усов.

— Такова действительность была...

Потом бодро глянул на меня:

— Но ее уже нет...

И перевел взгляд на заведующего фермой:

— Значит и говорить об этом нечего... Собирайте навоз, хоть с горшком стойте у коровы под хвостом, а мне чтоб к весне по двенадцать тонн с головы было навоза...

С безотчетной скорбью развел Савватий руками:

— Ну скажите на милость!.. Да что ж я их касторкой поить буду! Раз больше она не может... Другая дуется-дуется сердечная, аж жалко смотреть на нее, будто даже бессловесная скотина понимает, как бы больше этого самого навоза наложить... А уж больше десяти тонн с головы никак нельзя...

И махнул рукой в сторону Петра Петровича:

— На больше, Петро Петрович, и не надейтесь...

Директор с угрозой взглянул на Савватия:

— Ну-ну... Чтоб вы эти слова забыли... Двенадцать тонн с головы, иначе, ей-ей, заставлю вас со всем вашим штатом дуться вот здесь на этой яме... Мобилизовать профорганизации, внести вопрос на общее собрание рабочих и служащих, переговорю сам с ячейкой, а навоза по двенадцать тонн с головы подай... Иначе... иначе... ножик к горлу...

Он задрал голову вверх и провел рукой по угластому кадыку.

— Поняли?..

Савватий сбледнел, приостановился и вымырил:

— Позвольте... П-позвольте... П-петро Петрович...

Но директор упрямо мотнул головой:

— Ничего я вам не позволю!.. Двенадцать тонн и весь тут сказ...

Савватий в отчаянье задохнулся и очерил зубы:

— Ну что ж, — увидим... Я все нужники повычицаю к весне, все скирды

пообгребаю, но уж если и это не поможет — тогда как знаете... Да-с...

Подходя к рабочему в вывернутом кожухе, агроном сказал:

— Не лей, товарищ, в одно место попустому... Продвинься дальше...

Рабочий чмокнул губами, ударил по крестцу правого вола, и тогда бочка, всколыхнувшись цилиндрическим телом, продвинулась метров на шесть.

Я подошел к рабочему и спросил:

— А почему вы в вывернутой шубе?.. Разве так теплей?..

Добродушно ухмыльнувшись, он шагнул ко мне и мягко сказал:

— Городские есть?.. Давайте... А то из своего заверну...

Мы закурили. Помолчав и сладостно затягиваясь, он приподнял левую руку, омохначенную вывернутым рукавом шубы и взгляделся, щулясь, в шерсть рукава.

— Первое дело — от блохи и от вошвы! — конячий пот первый сорт... Все одно как спирт!.. Ежели мыло на коне выступит, — тогда бери и вкрывай кожухом, который с вошвой али с блохой... Все одинако...

Чъвиркнул слюной сквозь прорезь в верхних зубах и отставил ногу:

— Есть у нас в совхозе жёреб... Ездили на ем куды-то, а мыло на жёребе — в палец толщиной... Конюх Гринько хотел, значит, обтереть, а я ему не дозволил, потому мыло, это — перьвое дело для вошвы...

Зыркнул в меня глазом и надсадно выбросил:

— И за ночь, как одна, все выдохли!..

Велушиваясь в наш разговор, Савватий знающе добавил:

— Вошь и блоха — это верно, а вот гнида — ту только вератрином...

Человек в вывернутой шубе стороной посмотрел на Савватия, неуважительно сморщил губы, сплюнул в навоз и коротко сказал:

— А мы подождем. Нам не к спеху...

Я спросил:

— Чего подождем?..

Затягиваясь, он пояснил:

— Подождем, покада гнида вошвой станет... Пушай подрастет... Нам не жалко... А там и ее задчим таким же манером, на жёребе у поту...

Савватий заморгал глазами, безграничным упреком козырнул рабочему, а директор, взглядываясь в верхний пласт навоза, тихо уронил:

— Ну, не пора ли нам...

Отпрянув ногой от навоза, глянул на меня. Я поглядел на вывернутую шубу, на отчопленную бочку, окинул глазом всю эту навозную прель и шагнул за Петром Петровичем. Мы просглись с рабочими, с Савватием и всползли на высокую бричку. Коня, приседая на задних ногах, рванули, и мы выехали вниз к провалине пруда.

Подбегало к сумеркам. Озими матово отблескивали льдистыми рваными краями, слюдяно прильная к земле. Изрытвенная, оспенно изуродованная ночными приморозками проселочная дорога вытянутой в прорывинах холстиной тянулись промеж озимей. Взлохматившаяся на морозе заросль на обмежках и кюветах придорожных канав заиндевила на полевом ветру, как волосатые стариковские брови. Над замороженными зимней волжбой полями розово-лилово плыл ущербленный сонный месяц.

1930 год.

Бердичевщина

3. ПО СОВЕТСКОЙ КОРЕЕ

Вяч. Лебедев

Вдоль побережья

Движемся к югу с мягкой, ведомой только на море быстротой. Добросовестная вертушка лага скоро отсчитает второй десяток пройденных миль. Сизой дымкой давно уже окутался оставленный позади Владивосток. Тигрова лапа Эгершельдского мыса растаяла в серой утренней пасмурности. Немаленький Русский остров тоже с'ежился, удаляясь на север, как мельком встреченная шаланда.

Исполнилось 70 лет с того момента, когда русский посол в Пекине (в 1860 г.) выхлопотал у китайского императора узкую, как клинок сабли, полосу земли, тянущуюся вдоль побережья Японского моря. Ширина этой сабли не превышает сорока километров, а длина—около двухсот.

Посыетский клинок имел целью изолировать всю Манчжурию от каких бы то ни было иных «влияний», кроме влияния Российской империи. На юге острие сабли уперлось в морской угол старокорейской провинции Хамгендо, в рубеж реки Туманган (Тумен-Ула).

Корея была еще в те времена самостоятельным, замкнутым и довольно сильным государством горцев, сумевших сохранить свою независимость на протяжении многих веков.

Бесчисленные попытки манчжуров, китайцев и японцев раздавить Корею оставались безуспешными.

Российское правительство рассчитывало, что Корея, оставаясь еще долгое время «орешком не по зубам» для захватчиков менее сильных, все же не устоит против русской агрессии.

С точки зрения азбуки империализма замысел был безупречно надежен, именно азбучностью своей, шаблонностью.

Ныне в связи с захватом Кореи японцами (по их мнению, навсегда) и в условиях совершенной незаинтересованности СССР тем, чем интересовались романовские колонизаторы, Посыетский клинок приобрел совсем иное, новое значение.

Полоса эта может и должна быть маяком и прибежищем для всех революционных элементов соседних земель.

Полоса эта должна сыграть здесь такую же роль, как, например, Молдавская АССР и другие приграничные сов. автономии...

...Устав следить за бегом дальнего берега, то напыляющего, то уползающего, порой похожего просто на синий, струйкою дым папирасы, без возражений принимаю зов китайца-стюарта:

— На обед!..

В миниатюрной, уютной кают-компании два привинченных к полу стола дымятся скромными яствами. Дух семейственности витает в пошатываемой кашкою комнате. Этой семейственности не мешает даже то, что пассажиры сидят за одним столом, а судовая администрация—за другим.

...Ржавый скрежет якорной цепи заставляет подняться наверх, не допив чаю...

Зеркало хмурого неба. Зеркало в трещинах. Десятки лодок на глади тишей бухты Японского моря. Кто же в Славянке не рад понедельничной гостье—«Вьюге»?!

Стрела грузочной установки подает за борт недельный дар, торопливо принимаемый на шампуньки.

Кругом по сопкам—бурью, кирпичные корабли царских казарм вперемежку с обмазанными желтой глиной корейскими катками.

Посыетский клин даже при царизме был притягательным для многих корейцев, измученных, обиженных, недовольных жизнью в родном краю.

Первый массовый переход корейских эмигрантов через русскую границу был отмечен в 1869 г.

С тех пор корейцы не перестают просачиваться на русскую территорию, при чем после захвата Кореи японцами и в особенности после советизации Приморья просачивание это весьма усилилось.

В 1920 г. после неудачного восстания корейцев против японского владычества (в Кандо) на нашу сторону через реку Тумен-Ула перешло три тысячи корейцев сразу.

Немало было в свое время у царских генерал-губернаторов Д.-В. края циркулярной всякой возни насчет «желтой опасности»... из Кореи.

Иммиграция корейцев то поощрялась, то запрещалась или ограничивалась, но жизнь все время шла по-своему...

С грузом покончено. Якорь вынырнул четырехглавой чугунной камбалой.

Снова—вдоль побережья.

Тугой песчаник, просоленный прибоем, изгрызен, изъеден, исцарапан, подточен снизу, оголен сверху—там и сям.

«Вьюга» врзается в быстро сгустившийся, хлопковатый туман.

Гавань Посъета еще не скоро.

Буденный и молоко

Километрах в 12 от крохотного порта Посъета, на берегу обширной бухты Экспедиций, раскинулся полугородок Новокиевск, официальный центр района.

Он лепится к подножью довольно высокой Крестовой сопки.

Гораздо более, чем Одесса гордится Бабелем, Новокиевск гордится Семеном Буденным.

Дело в том, что Буденный имел явное несчастье кваситься примерно с 1910 г. по 1914 г. в городке Новокиевске, в Особом Приморском кавалерийском полку в должности унтер-офицера.

Четыре года — немалый срок. Несмотря на юбилеи войск, стоявших в то время в Новокиевске (около 40.000 штукков и сабель), личность унтер-офицера Буденного, не раз бравшего призы на верховых состязаниях тогдашнего гарнизона, не могла не запомниться новокиевским старожилам.

Буденный чрезвычайно популярен в этом полугороде-полусельце на берегу Японского моря. Почти все дворы наперебой уверяют, что он именно у них покупал молоко.

Беседы о Буденном перемежались у меня в Новокиевске с обильными ин-формациями о самом Посъетском районе.

Все время, пока я был в Новокиевске, погода стояла с точки зрения местных жителей вполне нормальная, «правильная»: упорный восточный ветер с моря толкал без конца тяжелые, свинцовые тучи, медленно, надсадно проползавшие над городком, отдававшие ему мимоходом свою мокрую дань и удалявшиеся к недалекой китайской границе.

В рике посъетском сыскать русскую физиономию очень трудно.

Почти все служащие—корейцы, прервосходно знающие русскую грамоту и вдобавок отменные каллиграфы.

Красота почерка придает здесь особую значительность ордеру на нормированное продовольствие, полагающееся гостю из окрестра.

Посъетский район можно рассматривать в любое время года как самый заправский остров, ибо сухопутьем до Новокиевска добраться можно только теоретически.

На деле никто посуху в Новокиевск ездить не решается.

Раз в неделю является «Вьюга» и привозит общерайонный паек сахара, макарон, спичек, мыла, табаку и т. п. Случись «Вьюге» запоздать, — весь район чувствует себя не лучше, чем колонисты на Командорах или на знаменитом острове Врангеля.

Оторванность, отрезанность не мешает биться в Новокиевске советскому пульсу. Вопрос лишь в том, какого «наполнения» этот пульс.

Бытие Новокиевска окрашено резкой борьбой между элементами новыми, советскими, и остатками того колони-заторского, «казацкого» слоя, какой по известной традиции царского империадизма создавался в течение десяти-летий и на этой имперской окраине.

Здесь щедро наделялись землей отслужившие срок ефрейторы, подпрапорщики и даже просто «нижние чины», усердной службой снискавшие доверие по начальству.

Большинство русских жителей Посъетского района (всего их около 5.000 чел.) принадлежит к этой категории.

Земельный передел 1923 г.—после советизации Приморья—крепко ударил по этим людям, ликвидировав открытую арендную практику и передав большие земельные площади прежним исполщикам, третьякам, десятинникам (корейцам) и батракам.

Расстановка сил и идеологий получилась ясная: на одной стороне—русские, привыкшие к ренте и легким заработкам, на другом — крохотливые, как муравьи, трудолюбивые корейцы.

У корейских землеробов — трагедия: культуры, которые ими возделываются, чрезвычайно трудоёмки (рис, пайза, соевый боб), а орудия труда—допотопные (деревянная соха и тр.).

Посьетский район по линии животноводства мог бы соперничать с Датией и Голландией.

Не даром японцы в дни кратковременного владычества над Приморьем в «двадцатилетках» своих так и проектировали:

— Затянуть за пояс в Посьете все достижения датчан и голландцев.

Но сейчас посьетская корова почти контрреволюционна. Она дает молоко каплями, еле двигает ногами и дохнет без всякого стыда.

Лука—в забросе, мокнут, заболачиваются. Нет глаза, нет заботливых рук, нет элементарнейшей агрономической помощи.

Колхоз, возникший в районе Новокиевска, берется наладить и скотоводство. Пора, конечно...

Главная ставка в районе пока что на рыболовецкую и краболовецкую кооперацию.

Эта отрасль способна дать при правильной постановке около 5.000.000 руб. в год.

На втором месте — молочное дело. Уже упоминавшийся колхоз имеет целью создать в районе Новокиевска маслобазу для снабжения всего Приморья.

На третьем месте—переработка соевых бобов, крупные посевы которых имеются в южной части Посьетского клина (весной 1929 г. там было контрактовано около 1.150 тонн сой-боба).

Наконец, серьезные перспективы имеет местное солеварение, сосредото-

ченное сейчас на примитивных промыслах вдоль берега бухты Экспедиций.

Решено взяться за солеварение по настоящему и довести выварку до 500 тонн в сезон вместо 100—115 тонн теперешних.

Убедившись в невозможности поехать на Туманган сухопутным (непосредственно из Новокиевска), отправляюсь, по совету местных доброжелателей, вновь в Посьет, чтобы все от туда, в крайнем случае на шаланде, морем добраться до Цакасими, где Туманган впадает в Японское море.

К японской границе

В Посьете попутных шаланд на Цакасими не оказалось.

По счастью, на берегу, как раз опять ожидавшем с обычной нервозностью прихода «Вьюги», встретился с начальником погранзаставы из Уабона.

Он сообщил, что если я перееду на мыс Чурада (три километра от Посьета), то найду там корейского возчика с двумя белыми лошадьми.

Вечером шампуньчики плыть по Чураде отказались. Пришлось искать ночлега в Посьете.

Хозяева перед сном рассказали мне немало занятного про этот зародыш крупного в будущем порта.

Посьет, оказывается, прочное убежище для многих людей такого типа, которым

— Некуда дальше ехать.

В местной артели грузчиков половина—бывшие дворяне, купчики, есть бывшие офицеры,—все осколки «великого» белогвардейского «исхода» 1922 г.

Во главе артели, как и полагается по сану, стоит бывший миллионер.

Есть немало таких, которые в свое время с превеликой лояльностью служили японцам-интервентам, а сейчас не менее шумно позвякивают ключами у советских пакгаузов и конторок.

Грузооборот порта пока что невелик: триста тонн—с «Вьюги», триста—на «Вьюгу» (еженедельно) да тысяча тонн в месяц, главным образом осенью,—от шаланд и шампунек.

Грузовой «поток» разветвляется в Посьете надвое: одна половина идет

посуху на Новокиевск, другая—морем на Цакасими.

Кроме людей, обслуживающих перевалку, в Посъете живет довольно много профессионалов-рыбаков, в летние месяцы широко расползающихся по промыслам побережья.

Всего жителей в порту Посъете—около 1.000 человек. Естественные условия для гавани (глубина, защищенность) почти идеальны, а потенциальные возможности района и близость Сев. Манчжурии гарантируют развитие порта.

Утром, наскоро собравшись, шырнул в молоко тумана, за ночь осевшее на берег бухты.

Шампуньчики лениво канителились у своих утлых посудин, трогательно украшенных красными флажками на мачтах.

У маяка Черухадо (Чурода) возчик с условно-белыми лошадьми действительно поджидал седоков. Кандидатов на место в телеге (с каждого по пятерке) оказалось целых одиннадцать человек.

Бозянь запороть лошадей (кстати сказать, это была единственная европейская, точнее русская, запряжка во всем южном клине) заставила возчика троим отказать. Но все же восемь седоков (большинство с громадной поклажей) взял возчик на свою колесницу.

Маяк вместе со скалами стал уже еле различимой точкой, а все еще не было видно конца узкой, ровной, прямой, как дамба, восьмикилометровой косе Чурода, отгораживающей бухту Эжпедиций от открытого моря.

Наконец, коса кончилась. Седоки мужского пола, до того шедшие за телегой, на минутку забрались на телегу, чтоб переехать через речонку, а затем до Тампанги опять пешком.

По обе стороны от дороги—бархатисто-коричневые, жирные на вид, богатые распашки корейских землеробов (пайза, бобы).

Внешность, однако ж, обманчива. Чернозем истощен непрерывными сборами. Корейцам неведома даже трехполка. Они уныло, безрадостно переложничают, усиливая клок земли до тех пор, пока он совсем не откажется давать соки.

Распашек, однако, не так уж много. Гораздо больше ржаво-зеленых, неприятного оттенка пустошных вымочек.

Мокроедина пырея властвует на десятках гектаров, не щадя даже склонов сопки. И туда забирается она, верная спутница заболочиванья.

Две-три тусклых дыбульми (дереvuшки) мы проезжаем вдоль постепенно суживающейся Тампанги до Цхызандана (Цхызандан — «первый перевал»). Едем по низинам. От Цхызандана начинается неторопливое повышение.

Какой-то царский чиновник переименовал селение Цхызандан в Заречье.

И корейцам нравится это название. Они употребляют его с большой охотой, чем свое. В Цхызандане—совсем короткий отдых, во время которого я едва успеваю двумя десятками новых слов обогатить подготовляемый для странствования словарь.

Лишний раз убеждаюсь в пристрастии корейцев к чистоте. Мы подехали к первой попавшейся «тхиби», а чистота в ней прямо немецкая.

Километрах в десяти за Цхызанданом дорога прямоком упирается в высокую двугорбую сопку, именуемую у корейцев «Жеребьячьей спиной».

От «Жеребьячьей спины» прелюбопытная десятикилометровая мостовина всхолмления приводит нас, наконец, к Уабону.

Разговор до рассвета

В Уабоне гостеприимству нет границ. Быстро собираются соседи. Начинается разговор.

Разговор естественным образом доходит до семьи, женщины, брака, бытового уклада. Тут мои собеседники тоже очень словоохотливо, подчас красочно и не без юмора обрисовывают целый ряд любопытных сторон корейской жизни.

Взаимоотношения корейцев-мужчин с женщинами, с кореянками, заслуживают специальной характеристики.

Бесплодие женщины считается здесь величайшим несчастьем. Бесплодие мужчины—тоже.

И в первом и во втором случае бесплодие дает право соответствующей стороне идти на любые меры, на любые шаги, чтобы добиться своего.

Когда исчерпана сила молитв, шаманских заклинаний и всей фармакопеей тибетского лекаря (тибетская полумистическая, полутравниковая медицина очень распространена в корейском быту), тогда и жена и муж получают право на все, чтоб под крышей их тххиби появился ребенок.

Если бесплодие оказывается двусторонним или если жена и муж слишком привязаны друг к другу, тогда делается все, чтобы обзавестись приемышем.

В Новокиевске есть больница с отделением для рожениц. Едва по дыбульми (по деревьям) района пройдет слух, что какая-нибудь роженица слишком бедна или вообще не хочет сама воспитывать ребенка, тотчас в Новокиевск стекается толпа корейнок, жаждущих детского писка в своих панги.

Новорожденный младенец поступает на своеобразный аукцион. Мать не только избавляют от бремени забот о ребенке, но еще и платят ей «отступное»..

Галдеж, споры, перечисление выгод,— и вот счастливица с торжеством уносит крошку, улыбаясь, предвкушая радость мужа и всей родни.

Верхом жизненной удачи у корейца в случае бесплодия первой жены считается замена ее вдовой с детьми.

Это, с одной стороны, гарантия дальнейшего увеличения семьи, а главное— цель уже достигнута: дети есть под тоскующей кровлей.

Все сказанное ни в какой мере не должно создать впечатления о свободе нравов.

Супружеская верность свято охраняется и поддерживается традициями.

Смертельную ненависть корейцев «важили» в свое время царские казаки за то, что несколько из них дерзнули изнасиловать корейнок.

В корейских дыбульми не выработалось, правда, таких уродливых форм изоляции для женщин, как, например, у узбеков.

Но дух Востока властен и тут.

У женщин своя половина тххиби.

Там всегда идет пар от огромного котла, вмазанного над устьем кана.

Вечная возня с водой, с едой, с мытьем одежды, с мытьем посуды, цы-

новок... Всегда есть что-нибудь мыть и чистить.

Во Владивостоке мне случалось слышать о корейцах, как о неряшливой нации.

Какой вздор, какое измышление! Приходится повторить, что нигде бытовзвэй «бюджет воды» так не высок, как в корейской хижине.

На моих глазах корейка ртом выдувала пыль из мельчайших пор цыновки, чтобы затем—при мытье—не получилось слипанья грязи.

На моих глазах старый кореец ногтями выколушывал из такой же цыновки микроскопические осколки яичной скорлупы.

Женщины заражают мужчин заботой о безупречной чистоте всех предметов домашнего обихода.

Жизнь корейки нелегка. В быт корейских дыбульми Уабонского клина не вошла еще красная косынка делегатки, советской активистки.

Красный платочек бывает здесь наездом из Новокиевска и сдвигов в семейно-бытовом укладе породить еще не сумел.

В Новокиевске женский актив уже насчитывает не один десяток корейнок.

Дойдет черед и до Уабона!

Пока что корейки Южно-Посыетского района живут и трудятся по всем правилам, завещанным им их матерями и бабушками.

Так же носят на головах колоссальные по объему и по весу грузы, поражая заезжего человека этим совершенно непостижимым искусством.

Мне объясняли, что ношение тяжестей на голове «помогает» корейкам до глубокой старости сохранять прямизну спины и красоту осанки.

Может быть, это верно, но не менее верно и то, что обычай этот делает почти всех корейнок кривоногими, ибо с шести-семи лет корейская девочка уже начинает таскать на голове тюки, чаны, корзины с бельем и т. п.

Чтоб не уронить груз, ногами приходится выделывать невероятные выкрутасы, изгибать их всячески в коленах, в щиколотках. Печальная выучка...

Подытоживая ряд наблюдений, можно сказать о судьбе рядовой корейки так:

— Если только у нее есть дети, то она сама трудится (самозабвенно, а муж ее почитает, как некое божество.

Поэтому у корейнок высоко развито чувство самоуважения, чувство собственного достоинства.

Корейские девушки обладают большой способностью к самостоятельной жизни и тягой к ней.

Во Владивостоке на рабфаке ДВГУ и в совпартшколе много корейских девушек. Хорошо учатся, отлично приспособляются к жизни в городе, вне семьи.

Свадьба в дыбульми—торжественное событие. Закладку новой семьи празднует все население. Наезжает много гостей из соседних поселков.

Одним из важных моментов свадьбы является вручение новобрачной всего полагающегося комплекса домашней утвари, в первую голову посуды.

Корейская посуда оригинальна; она передается из рода в род.

Посуда—двух видов: глиняная, черного обжига с синеватым оттенком, от величины в два обхвата рук до такой, чтоб взять подмышку.

А другая—из особого сплава меди точной, изящной и простой формы: усеченные дыни.

В медной посуде пища подается гостям. Сами хозяева едят из нее по праздникам, которых, к слову сказать, в корейском быту «хватает».

Посуда не ставится на пол, на цыновки. Для различных видов еды и с учетом числа участников в ход идут столики-шестиугольники на коротеньких ножках.

Несложная эта мебель тоже передается из поколения в поколение. Сделанная из ценного дерева, она мало поддается времени.

Так, про столик, за которым мне пришлось ужинать по приезде в Уабон, хозяин сказал, что ему, этому столику, уже более трехсот лет. Об этом, по словам хозяина, свидетельствовал загогулистый иероглиф, тщательно вырезанный на поясе столика.

Женщины гостеприимной семьи давно уже спали, когда окончилась обильная наша беседа и участниками ее с широкими зевками разошлись во-своих.

Тройной рубеж

Утром, после завтрака, состоявшего из трех глубоко экзотических блюд (пайзы, кильгумпе и черной, похожей на смолу сои), мы расстались с Кононом Ханом. Он отправился в Цакасими, куда я намеревался заглянуть позже.

Я же, не теряя времени, чтоб воспользоваться хоть и пасмурной, но недождливой погодой, двинулся на пограничную береговую заставу, чтоб получить доступ к замечательному столбу трех рубежей. Удовольствие не из заурядных: прислониться плечом к тому знаку, который является общей точкой трех величайших государств Азия—СССР, Японии и Китая.

От столба трех рубежей к востоку, вдоль левого берега Тумангана, тянется узеньким острым клинышком кинжал китайской территории, расширяющийся от 3 метров здесь до полутора десятков километров возле бухты Экспедиций (в сорока километрах к северо-западу от Уабона).

Из-за поворота на Тумангану навстречу крылатым джонкам-шаландам ползут вниз лесные плоты.

Издали донесся гул, похожий на артиллерийскую канонаду.

— Что такое?

— А это «они» сопки взрывают динамитом,—отвечает мой провожатый-красноармеец.—Железную дорогу на Хунчун прокладывают, верстов тридцать отседа будет... Вдоль Туман-Улы хотят из Хунчунского уезда двойной тягой груза выкачивать. Дошлый народ, да только надолго ли?

Канонада усиливалась, рождая новые мысли:

— о несоизмеримом различии методов.

Там, за желтоватым, широким и быстрым Туманганом, грохочут зловещные динамитные взрывы, подготавливая прокладку стратегической линии, а здесь—мирные, трудолюбивые корейцы Уабона, Цакасими и Пудунти под надежной защитой красного флага организовали нынешним летом вслед за чокчевцами большой колхоз, тоже примерно на пять тысяч гектаров.

Самый крайний колхоз СССР! И, может быть, поэтому и самый значительный для углубленной оценки того, во что превратилась, чем стала бывшая императорская Россия?

Уабонские шахматы

Что можно нового, казалось бы, сказать о шахматах? Шестьдесят четыре клеточки, ферзи, пешки... Турниры, матчи, первенство мира...

Я, однако же, натолкнулся в Уабоне на шахматную доску не с шестьюдесятью четырьмя, столь привычными глазу нашему, а с семьдесятю двумя клеточками. Десять линий по ординате и девять линий по абсциссе делят шахматную доску корейца на семьдесят две клеточки, при чем клеточки сами по себе роли абсолютно никакой не играют.

«Фигуры» ставятся не на клеточки, а на пересечения линий. Мы взяли слово «фигуры» в кавычках, так как те шахматы, на которых мне пришлось учиться играть в селении Уабон, не имели фигур в обычном понимании этого слова.

Роль фигур выполняют кружочки из тяжелого, похожего на камень дерева, с вырезанными на них очень тщательно с обеих сторон иероглифами.

Цвет кружочков одинаков у обоих противников. Групповая принадлежность их различается только тем, что одна группа имеет так называемые «печатные иероглифы» (один рисунок), а другая группа — письменные (иной рисунок).

Неудержимо захотелось научиться играть в эти странные, действительно овеянные глубочайшей древностью шахматы Восточной Азии.

Пытаюсь выяснить у хозяина, сколько веков примерно насчитывается этой игре у корейцев. Есть основание предполагать, что эта восточно-азиатская система шахматной игры старше индо-европейской системы и что, возможно, наши «нормальные» шахматы являются лишь усовершенствованием. На такую же мысль наводит сверка названий.

Так, есть по паре фигур, именуемых «мари» (по-корейски «мари» — «конь»). Их ходы аналогичны ходам европейско-

го коня. Есть по паре «цха». «Цха» — по-корейски «лодка», и движение ее по шахматной доске уже вполне совпадает с движением европейской ладьи.

Есть по две фигуры (у каждого из противников), именуемые «пхо». «Пхо» — по-корейски «пушка». Два «пхо» как бы заменяют индо-европейского ферзя. Недостатком «пхо» по сравнению с ферзем является то, что «пхо» может действовать только по прямым линиям и непременно должна перескакивать через свою собственную фигуру. Впрочем, это же можно считать и преимуществом корейского «пхо» перед европейским ферзем. «Короли», называемые здесь «кхунами», имеют на шахматном поле своеобразные «крепости»: четыре специальных клеточки, пересеченные парными диагоналями. На скрещении диагоналей и стоят священные «кхуны», не имеющие права выходить за пределы своих крепостей.

«Покой» «кхуна» охраняют четыре пешки, стоящие на углах крепости и имеющие право в отличие от других пешек игры ходить и по диагоналям, лишь бы защитить подвергнувшегося опасности «кхуна».

История шахматной игры, как известно, очень туманна. Не мешало бы поинтересоваться восточно-азиатскими шахматами для наиболее точного установления генеалогии шахмат.

Эта игра — любимое занятие корейского крестьянина в длинные зимние вечера, и, право, как вспомнишь, чем в такие длинные вечера занимаются русские крестьяне, то позавидуешь корейцам.

На какую ступень культурного уровня нужно шагнуть нашему крестьянству, чтобы в каждой деревенской избе могли стать бытовым, обиходным предметом шахматы.

Конечно, культурный уровень корейских крестьян не может сполна характеризоваться их пристрастием к шахматам, но все-таки бесспорно, что увлечение шахматами предохраняет их от многих увлечений иного, более вредного свойства. Например, от хулиганства и пьяных драк.

Лишенцы

...В моей коробке сидели двое гостей, оживленно беседовавшие с хозяином...

Сидевшие в «панг-и» гости были лишенцы.

В этом дичайшем углу, на этом форменном островке тоже есть, оказывается, люди, лишенные избирательных прав. И больше того—тяготящиеся этим лишением, ощущающие тоску по утраченному праву голоса. И вот они—передо мною.

Правда, не слишком много — двое...

Из двадцати лишенцев Уабона только двое пришли ко мне за содействием по восстановлению.

Остальным 90 проц., очевидно, трынтрава. Такое соотношение заставило меня с подчеркнутой внимательностью выслушать все, что поведали «безголосые» гости.

Один из них, Николай Ким, оказавшийся бывшим солдатом царской армии, участником и жертвой кошмарных августовских боев 1914 г., сообщил мне, что его лишили права голоса за то, что он нанял себе работника, так как, разбитый ранениями и ревматизмом, он не мог сам обрабатывать свое поле на 6 нетрудоспособных членов семьи.

— Это был двадцать шестой год, — тяжелым русским языком пояснил Николай Ким, — когда тут лишали. Моя говорил: зачем лишали, а мне комиса по плечу хлоп-хлоп, говорит: «Ничего, не беспокойтесь... мы по инструкца тебе лишил, а ты подай жалобу, и мы тебе восстановим через рик». Моя раз подал, два подал, три подал, — ничего не слышал. Помогите ваша мне мало-мало. Хотя узнать, чего такое дело есть.

Обратите внимание на это «хлоп-хлоп»... Разве не веет от него бытовой правдой?

Спрашиваю, почему из 20 лишенцев пришли только эти двое.

Бывший солдат ответил так:

— Есть такой наш хозяин, котора вовсе не знает, какой такой голос есть и даже, что его голоса лишили. Конечно, он не пойдет. А моя знает — голос есть хорошо. Моя прошу голоса обратно.

Если даже это и лукавство со стороны Николая Кима, то очень тонкое лукавство.

Минут через десяток после беседы с лишенцем меня отвлекло от дел новое событие — корейские похороны.

Нужно кстати отметить, что в Цакасими (6 километров от Чабона) как раз перед моим приездом появились заболевания сыпным тифом, занесенные, по мнению местных работников, из Японии, из-за реки Тумангана.

Дверь в мою «панг-и» с женской половины внезапно открылась, и жена хозяина жестами порекомендовала мне выйти на улицу.

Наспех натянув сапоги (внутри тхжиби в сапогах быть не полагается), выхожу на улицу, и меня ослепляет сверканье самых ярких красок — желтая, красная и зеленая!

По улице быстрым шагом движется толпа корейцев-мужчин. Исключительно мужчины.

В середине толпы — катафалк. Замечательный катафалк с древней резьбой, из надежного векового дерева. По видимому, и сам этот катафалк существует уже на один век, тщательно сохраняемый.

Покойника на катафалке еще нет, но все уже вполне готово к его принятию. Все священные полотнища, красные, желтые, зеленые, аккуратно натянуты, и только «пон-пон-те», особый шест, соответствующий католическому распятию, что носят впереди покойников, не снабжен еще полотном с иероглифами умершего.

Похороны, «как таковые», еще не скоро. Но в тхжиби уже не сидится, и я отправляюсь на гроб «открытого» мною «Кашалота».

Что можно увидеть в бинокль

Там покаживается дозорный погранза ставы с великолепным артиллерийским биноклем. С любезного согласия дозорного я овладеваю его биноклем и мгновенно как бы взлетаю ввысь.

Мир расширился необычайно. Горизонты раздвинулись почти вдвое. Там, где простой глаз упирался в сероватую синеву, теперь ясно видна кайма Японского моря, серебряной лентой оторо-

живающая и советскую и японскую территорию.

«География» местности становится осязательной. Все понстине «как на ладони». Не говоря уже о том, что видно людей на улицах советского Цакасими,—можно уловить копошение их и в корейском Цакасими.

О правобережье Тумангана, лежащем напротив «Кашалота», уже и говорить нечего.

Видно многое такое, что свидетельствует о больших опасениях японцев за «сохранность» их границ.

На сантиметр приподнимаю руку с биноклем, и вот взгляд перехлестнул седловину, с зубчаткой кедровой рощицы, а там — опять море с точечками скалистых, близких к берегу островков.

Так, впрочем, и должно быть: от устья Тумангана (Тумен-Ула) до Юги, берег Японского моря, как бы скошен под румбом «зюйд-вест». И Туманган впадает в море не прямо, не сразу, а через характерный для морских устьев выступ суши, образуемый встречными наносами, двойными отложениями реки и моря.

Стою как раз на таком пункте моего «Кашалота», с которого видно все кругом. И бухту Калевала (к северо-востоку) и всю пойму Тумен-Улы, аккуратно распаханную, но поблескивающую до сих пор еще не сошедшей влагой паводка.

Сильные весенние паводки и тайфунные наводнения июля здесь причиняют большие бедствия, но в то же время, сколь ни странно, увеличивают подчас плодородие пойменной почвы.

Например, наводнение 1914 года, загубив посевы и множество злосчастных скотских душ, вместе с тем настолько улучшило качество почвы, что больше десяти лет после того нынешнюю советскую долину Тумангана корейцы именовали «золотым полем».

Нечто сходное бывает, повидимому, на египетском Ниле и на многих других богатых илом реках...

От прошлогоднего наводнения местные жители тоже ожидают немало благ. Но в ожидании этих благ им придется сейчас туговато.

— Перетерпим—сразу разбогатеем,— такую фразу не раз привелось мне

слышать, пока я был на берегах Тумангана.

Но вот из-под сугроба, из Уабона выползает траурная процессия. Мужчины тесно сбились возле праха, а женщины с воем тянутся поодаль.

Возникает любопытство:

— Как надеются несущие катафалк (хянтун) спуститься с отчаянной крутизны «Кашалота» вниз. Не превратились бы торжественные пан-тэ (похороны) в катанье с горы на собственных ягодицах, и не обогнал бы покойник своих носильщиков. И почему, собственно, нужно нести катафалк так далеко — из-под горы через гору и опять на гору.

Оказывается, катафалк проносят сквозь шервомайскую арку. И своими пышными полочницами («чхеки») катафалк задевает иероглифы трудового Интернационала...

Остальное разъясняет мне дозорный.

У корейцев, как и у китайцев, есть священное правило: чем больше к покойнику уважения, тем подальше провозжать его от родимого очага, подальше его хоронить...

Невероятное проделано. Катафалк благополучно спустился почти с отвесной крутизны. Женщины все остались на «Кашалоте», усевшись наземь. Нарочито усиливаемыми рыданиями и стонами они провожают ушедшего односельчанина.

Похожая на пестрого дракона траурная процессия, яркая, цветистая, освещенная внезапно выглянувшим солнцем, выглядела очень бодро, жизнерадостно. Только вспомнив насчет сыпняка, можно было бы омрачиться, но, по словам красноармейца, в Цакасими пошло на убыль:

— На-нет сходит... Сыпняк солнца страсть как боится...

И впрямь — здесь один солнечный день способен наделать чудес. Еще третьего дня в сырую, серую пасмурь зелень ярко ежилась под моросливым дождем, а сейчас, совсем на глазах, дернина сопки засверкала цветами весны.

Насмотревшись досыта в чудодейственный артиллерийский бинокль, отправляюсь в гости на заставу подышать специфическим воздухом красно-

го уголка, посмотреть в тысячный раз плакаты, лозунги, портреты вождей, — все, чем красен и горд каждый наш красный уголок — от Мурманска до Уабона...

Паксикори — Шантой

В стороне от военного тракта, километрах в двух от китайской границы, в глубокой низине лежит селение Паксикори.

Место настолько низкое, подпочвенные воды так близки к верхней корке, что в Паксикори есть множество участков, где земля буквально трясется у вас под ногами. Встав на такой площадке, вы можете раскачиваться, как на пружинном матрасе.

Паксикори встречает гостя не менее радушно, чем Уабон. Русский человек здесь не меньшая, если даже не большая редкость.

Корейцы очень любят цветы. В «панг-и» той паксикорской хижины, где я стал на ночлег, я нашел целую кучу живых цветов, только что принесенных с привалков грозной Трехзубой сопки, нависшей над этим селением.

Несмотря на поздний час, весть о приезде нового человека привлекла в тхжиби очередную серию любопытствующих визитеров.

А утром первая, неотложная задача — организовать маленькую экспедиционную группу для путешествия на поиски знаменитого, но неизвестно где находящегося Шантоя, предполагаемой крепости какого-то фантастического богатыря.

И еще главнее задача — разыскать площадку корейского телеграфа, которая, по уверениям старожилов, должна находиться на одном из зубцов «Трехзубой».

С погранзаставы прислали экспортера, а проводника пришлось нанять в Паксикори.

Проводник, опасаясь, как бы мы с красноармейцем не промочили ноги, ведет нас путем необыкновенным. Таким путем, который прямехонько заводит нас сначала на китайскую территорию, а затем вьется вдоль ничем не обозначенной в этих местах границы Китая и СССР.

Завидев блеск штыка, испуганными зайчатами удирают из запретной полосы паксикорские корейянки, собирающие здесь дикий лук...

Солнце в это утро уже не экономило своих щедрот, и после бесконечного ныряния с привалков в топи, доходящие до колен, мы, промокшие от макушки (пот) до пяток (вода), добрались, наконец, до очаровательного Шантоя.

Шантой оказался подобием некоей дворины, очертания, близкого к квадрату, при чем вместо глиняных стен тут оказались стены из камней, наваленных друг на друга по принципу папуасской архитектуры. Развалины...

От Шантоя нечеткая линия камней тянулась к северо-востоку, приблизительно совпадая с той воображаемой прямой, которая шла с последней сопки позади нас на крайний восточный зубец «Трехзубой»...

С развалин Шантоя, находящихся на солидной высоте по склону Трехзубой, отчетливо виден Туманган, а за ним опять же японская Корея.

Невозможно удержаться от соблазна. Красноармеец увековечен фотопластинкой на фоне целых двух могущественных держав.

А потом, оставив красноармейца отдыхать, автор отправился на вершину Трехзубой сопки, уже определенно за границу.

Восхождение, поиски площадки и спуск — все это заняло около двух часов.

Площадка оказалась на самом крайнем внутрь Китая зубце, откуда китайская территория была видна мне километров на шестьдесят.

Шипканты. Уважение к батракам

Возвратившись с Трехзубой сопки в Паксикори и немного передохнув, отправляюсь в гости к древне-корейским, паксикорским шипкантам.

Так теперешняя корейская молодежь, советизировавшаяся, приобщившаяся к социалистическому строительству, именует своих дедов и отцов, донны хранящих верность обычаям седой корейской старины.

Сущность «шишканта» в тутом, крепко скрученном узелке волос на макушке, на темени. Свообразная шишка. Отсюда «шишканты».

Шишка эта, по мнению ее носителей, хранителей, является символом человеческого и мужского достоинства.

Не даром, как уже отмечали мы выше, шишка требует «тиары» из целых четырех шляп, вернее, шляпок, а еще вернее «нашлепок», — настолько малы все эти «головные уборы», не исключая даже самого верхнего — четвертого, похожего на цилиндр и держащегося на голове при помощи того стержня, на который этот цилиндр насаживается, и специальной ленты, на случай ветра повязываемой под подбородок.

Ничего страшного, нужно сказать, в «шишкантах» нет. Это — милейшие, гостеприимнейшие «чуинимы» (хозяева), встречающие вас широчайшей во все лицо улыбкой и провожающие в знак особого почета далеко за ограду своего тххиби.

Разговор с шишкантами я веду через маленького переводчика, лет двенадцати, так как в Паксикори только такие малыши и умеют хоть немного балакать по-русски. Ни один «паксикорец» старше 20 лет не знает русского языка.

Делаю попытку сфотографировать старичка-шишканта. Но, сперва согласившись, он вдруг самым предательским образом на экспозиции вдруг струсил и вывернулся из фокуса.

— Почему ты испугался, «кнабай» (дедушка, старик)? Грешно, что ли? — не без досады спросил я.

Ответ чудесен:

— Не знаю. А вдруг — грешно, тогда как?

— В какого же бога ты веруешь?

— У меня не один бог, — вновь с изумительной прелестью отвечает мой «кнабай». — Моя Будда есть бог, моя Исус — мало-мало бог есть. Моя еще драконы есть. Дом стерегут. А еще дракон есть — поля кушает..

Вот вам и религия. Всего помаленьку. Старания царских миссионеров, насаждавших здесь православие, не пропали, как видим, даром. Исус запомнился шишкантам и мирно уживается сейчас в их религиозной памяти бок о бок с драконами и Буддой.

Паксикорийцы более молодых возрастов — атеисты. Они «биты с толку» этим религиозным кавардаком и махнули рукой на всех богов и драконов.

В более старых семьях еще держится шаманство. Шаманство — загадочная область местного фольклора. Мне не под силу было в нее заглянуть. Шаманизм корейцев составляется из многих влияний (от китайского, драконического — с юга и до якутского, фетишистского — с севера).

Может быть, как раз при изучении корейского шаманизма может быть найден самый достоверный ключ к вопросу о происхождении корейского племени.

В Цхызандак иду не один. Рядом шагает паксикорский председельсовета — вполне европеизированный кореец лет двадцати семи. На этом молодом сельском «старосте» владивостокский костюм, полуботинки, прорезиненный плащ.

На подпути до Цхызандака — интересная встреча. Мой спутник вдруг ускоряет шаг, с теплой улыбкой устремляясь к красивой пожилой кореянке, сверкающей белизной национальной своей одежды.

Она идет из Цхызандака с громадным каким-то тюком на гордо, прочно поставленной голове.

Небольшой разговор, и, вернувшись ко мне, европеизированный паксикорский «староста» объясняет, что эта женщина — его родная мать, гостившая несколько дней в Цхызандаке.

Выходит, встретились два поколения, больше того — две различных эпохи, и любовно проводили друг друга заботливыми взорами.

Цхызандак (Заречье) — двойной поселок. Одна половина его вполне старокорейская и по обличку и по бытовому укладу. А другая — за р. Тампангой — красуется группой зданий некорейского образца. Это — школа, кооператив, клуб, сельсовет и домики местных учителей. Тут тоже в далекие времена николаевского империализма стоял небольшой гарнизон. И кирпичные его кордегардии сейчас использованы разумно.

Мы должны ночевать у учителя. Обязательно, непременно. Иначе авторитет

учителя может оказаться скомпрометированным.

Европейское обличие учительского домика — только обличье. Оно обманчиво. Под русской крышей, под стенами с обыкновенными нормальными окнами скрывается традиционный кан, теплый, ласковый, тщательно укрытый чистенькими циновками.

Строй жизни цхызандакского учителя почти таков, как у всех корейцев. От цхызандакских сородичей зареченского учителя отличает владение письменным столиком да парой табуреток.

К священной традиции корейского гостеприимства в домике учителя приносятся некоторые пустяжные коррективы. Вы сами должны купить себе в местном кооперативе соответствующих продуктов, и тогда уже гостеприимные хозяева изготовят вам пышный ужин из неизбежных корейских блюд (пайза, кильгумпе, соя).

Во время ужина квартира учителя заполняется, как и всюду на древних этапах моего странствия, любопытными цхызандакскими старожилками, которых хозяин приветствует стереотипным, но неизменно радушным возгласом:

— Туро (заходи).

После ужина скопом отправляемся на собрание всего советского элемента, какой имеется в Цхызандаке.

Нельзя сказать, чтоб этот актив был многочисленным. В убого освещенном школьном помещении собралось и расселось за партами человек тридцать.

Начало собрания откладывается, оттягивается. Спрашиваю: «В чем дело?»

Организаторы собрания толково разъяснили, что причина задержки — уважение к батракам...

— Мы ожидаем двух батраков, которые живут на том берегу Тампанги. Они приглашены и должны скоро явиться. До их прихода мы собрание не начнем.

Наконец, долгожданные батраки прибыли. Еще ярче и значительнее становится смысл их продолжительного ожидания.

Батраки эти вполне реальны. Они взлохмачены, грязны, оборваны. На их лицах большая усталость длинного трудового дня. Несмотря на усталость, они

все же пришли на собрание более чем за километр, из старокорейского Цхызандака, где трудно даже, надо думать, не пользуется особым почетом и популярностью.

Собрания, вообще говоря, есть смысл описывать только тогда, когда они необычны, когда они хоть чем-нибудь отличаются от трафарета.

Какие же элементы необычности нам запомнились в этом ночном собрании в семи километрах от китайской границы и в двенадцати километрах от границы с Японией (Кореей)?

А вот: докладчик, говорящий по-русски, и слушатели, совершенно его не понимающие.

И еще: необыкновенно добросовестный переводчик. Его перевод получился вдвое больше, чем сам доклад. Это нетрудно понять, если вспомнить, что язык корейский беднее русского.

Именно поэтому такая, например, простая фраза, как: «Батраки должны делаться селькорами...» — приняла у переводчика размеры целой передовицы. А фраза: «Привет трудящимся Цхызандака» — прозвучала по-корейски дословно так: «Тогмутыль чокы-сын-мун хясам хен хьясаэсэ цхызандак гуэк шорек-кун-дюныр хьяненн хачивыхае дээр-ыр боняе сымнида».

Но громоздкость эта не пугает слушателей, и по окончании своей нелегкой работы переводчик получает вполне заслуженные аплодисменты.

Поэзия корейской луны

При отправлении из Цхызандака мне приходит в голову — обеспечить моему чемодану более удобный способ передвижения, нежели на моих собственных плечах.

С большим трудом удается соблазнить хорошей платой старенького корейца, обладающего коровой, тоже довольно пожилой.

И вот корова, запряженная в арбу (называемую «чха»), смиренно пошлепывая своими старческими губами, ждет чемодана.

Возчик предлагает садиться на арбу и мне.

Сознательность не позволяет мне ехать на этом бедном создании женского пола, на этой грустной корове,

впряженной в поскрипывающую «чха».

Торжественно шествую за курьезной колесницей, сердечно радуясь на ухабах и рытвинах и за корову и за себя. Непрудно ведь догадаться, что если здесь можно на ухабе поломать зубы, когда едешь на нормальной четырехколесной телеге, так чего ждать от арбы?..

Снова по сторонам — мягкая синева дальних сопок и явственное звучание каменистых ближних вершин о голубой фарфор китайского неба.

Так же, как вчера, черный бархат свежее распаханых корейских клиньев уплзает и рассасывается в буровато-зеленых неовозделанных залежах.

Арба движется вдоль Тампанги, которая с поразительной быстротой все расширяется и расширяется с тем, чтобы при впадении в бухту Экспедиций достигнуть почти волжской ширины.

Путь наш лежит к береговому поселку Тыгырты, где есть надежда найти шампуньку для переезда через двадцатикилометровую гладь бухты в сектор Ханци-Новокиевск.

По правую сторону дороги там и сям покрикивают на волов корейские землеробы, расправляющиеся своими деревянными сохами с глубоко пропаренной дождями землей.

Солнца много, много... Ландшафт начинает казаться тончайшей ажурелью какого-нибудь прославленного солнцелюба-художника.

Мой спутник, разомлев от тепла и света, затягивает прелюбопытную песню. Но поет он не о солнце, а о луне.

Мелодия песни этой странно знакома. Точь в точь такие напевы слышал я в диких долинах Восточного Туркестана, в аулах горных киргизов и в степи между Алма-Атой и Ташкентом.

Слова песни по-корейски звучат так:

Пху-рын ха-анар ынхасу
Хайон тчек пегү
Кесу нааму ханнаму
Тхоки хан марү
Тоттедо ани тальгö
Сасседо обсү
Кугидо сальдо кандчя
Шецон нарарö.
Ынхасурыр зиннасё
Гурым нарарö
Гурым нара зиннасё
Эдаро чанä.

За меллисе пәнцяг-пәнцяг
Птичыо иснан годё
Ся пер—и дындарандä.
Гирыл Цхарера.

Эта песня — одна из любимейших у корейских крестьян. Несколько раз прошу певца «бисировать» и тщательно записываю корейский текст в дорожный блок-нот.

После, улучив свободную минуту, я сделал попытку перевести ее с максимальным сохранением размера, ритма и содержания на русский лад.

Вот он, этот перевод.

ПАНДАЛЬГА (Песня о луне)

Млечный путь в зеленом небе,
Белый ковш луны
И на бледном этом небе
Странные для сердца сны.
Все, что видим, — необычно,
Хоть знакомый вид:
Там, под деревом гвоздичным,
Лунный заяц спит.
А потом внезапно станет
Кораблем луна,
И в таинственные страны
Поплывет она.
Нет ни паруса, ни мачты,
Весел тоже нет,
Но не даром друг мой плачет
И спешит вослед.
Там, вдали, блещут и светят
Странные места.
Маяком дорогу метит
Тонкая звезда.
Там, где все еще чудесней
Можно отдохнуть...
О этой лунной тихой песней
Собирайся в путь.

Кроме «Пандальги», я слышал еще немало корейских песен, но она мне показалась наиболее характерной для корейской поэзии.

Сейчас молодое поколение советской Кореи с увлечением переводит революционные песни с русского языка и распевает их по холмам и долинам вдоль Тумангана.

Не мешало бы поощрять, облегчать это просачивание новой песни, новой поэзии через туманганскую «воронку» советской Кореи в Корею внутреннюю.

Туманган — песню не удержит. Она перелетит через заставы японские, береговые...

* * *

Тыгырты, собственно, даже и не поселок, а просто кучка рыбацких землянок у впадения серебристой Там-

панги в ярко-синию бухту Экспедиций.

Издали виден маленький красный флажок над желтым вздутием берега. Это обозначает, что в Тыгырты мы захватим шампуньку.

Так и есть. Утихомиривая загалдевших собак, из третьей с краю землянки вылез маленький кореец.

Он перекинулся несколькими словами с моим спутником и, вновь слажив в свою штору, повел к шампуньке.

Подмышкой он нес конторского типа книгу с курьезнейшей надписью на обложке:

— Шкиперский журнал...

Через щель между двумя землянками мы вышли к воде. Тут покачивался «корабль» на четверть тонны грузоподъемности.

Шкипер закатал штаны повыше колен и жестом предложил садиться ему на закукоры (как катают взрослых детишек).

Пришлось подчиниться... Через секунду я оказался на борту судна. За мной последовал мой багаж, и еще через несколько секунд наш «бриг» несся уже по восхитительной солнечной глади залива, держа курс на Ханци...

Пел ветер в немудром такелаже, горизонт развернулся, шампунька шла превосходно.

До Ханци—два часа с лишним.

Грешно было бы не выспаться за это время, под убавкивание моря, ветра и солнца. Солнце тоже участвует: оно гладит щеку засыпающего своей теплой с золотистой шерстью лапкой.

В Ханци шкипер разбудит...

Соль прибрежной земли

Недалеке от Ханци, на берегу бухты Экспедиций, вы увидите первобытное добывание соли.

Теплые, солнечные предзимние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь)—лучшее время для добывания соли. Именно тем самым способом, каким она добывалась китайскими праотцами на берегах Тихого океана в далекую, неясную эру Конфуция.

Трудолюбивые муравьи-китайцы с незапамятных времен занимаются здесь

этим промыслом. С утра до вечера они накладывают на специально отчерченные площадки пышную прибрежную грязь, насквозь пропитанную солью моря, и еще добавочно щедро поливают ее морской водой. Под нагревом богатого солнца грязь сохнет, выделяя из себя слой за слоем беловатую корку кристаллов соли.

Корка эта тщательно снимается со всех площадок и идет в специальные просушительные приспособления, представляющие нечто в роде больших сит, на которых вновь осаживается просушенная соль.

Затем то, что добыто, своеобразный этот «полуфабрикат», идет на окончательную очистку в солеварные котлы, находящиеся тут же, на берегу.

Шутить с ханцуйской солью не следует.

При затрате 3.000 руб. на некоторое усовершенствование техники берегового солеварения эти первобытные солеварки смогли бы дать до конца года более 328 тонн специфической серой соли, имеющей громадный спрос на хунчунском китайском рынке (речь идет о семи месяцах 1929 г.—Авт.).

Еще большей популярностью в Манчжурии пользуется так называемый «слив», интересный побочный продукт, получающийся при выварке морской соли. Слив в Хунчуне ценится по 70 руб. за 16 кг. (Хунчун — уездный город, находящийся на расстоянии 10 км от советской границы и в 34 километрах от Ханцуйской пристани). Слив — это то, что на подобие накипи залекается при варке на стенах варочного котла.

Хунчун — центр крупнейшего бобового района. Бобовая продукция Хунчунского уезда выражается миллионами тонн.

Проблема торговой связи с Хунчуном при нормальном межгосударственном положении очень важна для советской Кореи. Можно прямо сказать, что если торговля с Хунчуном наладится, то малолюдный, заброшенный южно-посетский угол СССР полностью преобразится, неслыханно расцветет по тем искусственным «военным цветам»,

каким цвел когда-то, а цветом действенным, живым, плодоносным.

Нетрудно это понять. Пять тысяч тонн бобов, устремившись к причалу Ханци, по пути роняли бы кое-что от себя на каждом километре.

Золотые бобы валюты, буйный темп жизни транзитного участка, глубокое влияние транзитной линии — в стороны и до Чикасами и до Славянки.

В ближайшее время речь должна идти хотя бы о минимальном улучшении Хунчунно-Ханцийского участка древней Гириной грунтовой магистрали.

Затраты на такой ремонт не превысят 10.000 руб., и этот пустынный по существу вклад, подкрепленный пуском по тракту десятка грузовиков, был бы с избытком восстановлен в пару месяцев.

Сейчас стоимость транспортирования грузов из Ханци до Хунчуна выражается цифрой — 1 копейка с пудоверсты.

Самое элементарное улучшение дороги удешевило бы транзит до полукопейки с пудоверсты и сразу произвело бы переворот в торгово-хозяйственной конъюнктуре Хунчунно-Посыетского сектора.

Соотношение цен, клонящееся сейчас в сторону японцев и позволяющее им пользоваться джонками Тумангана (Туман-Улы), тогда перевернулось бы, подобно лестнице.

Вылазка на север

Основная к югу от бухты Экспедиций часть советской Кореи исхожена вдоль и поперек.

Но успокоиться на этом не годится.

Надо обязательно посмотреть, каков быт, каковы нравы к северу от Новокиевска.

Карта района в этом направлении еще более бедна кружочками сел и деревень, чем в южной части.

Но зато и поселки здесь крупнее. Например, селение, именуемое Янчиха (до советской власти по имени этого селения называлась громадная волость от Тумангана почти до Раздольного), начинаясь примерно километрах в 6 к северу от Новокиевска, вольной рос-

сыпью «тжихби» тянется на 18 километров, вплотную упираясь возле величественных Черных гор в границу Китая.

Как и полагалось бывшему волостному селу, Янчиха «украшена» православной церковью, полукаменным зданием невеселой сине-зеленой окраски. Сейчас храм этот, конечно, не функционирует, но церковники не потеряли еще всех надежд.

В прошлом году наезжал в эти места загадочный некий епископ, который в ряде церквей Посыетского района служил молебны на превосходном корейском языке.

Да, к северу от Новокиевска, в направлении Гродекова, Никольска, Владивостока, — казалось бы, ближе к очагам, маякам революционной культуры, — быт корейских поселков темнее, глуше, душнее, даже по сравнению с Цхызандаком.

Здесь и «шишкантов» гораздо больше, чем в Цхызандаке, чем в Уабоне, в Чакасими... Здесь и религиозные рудименты более стойки, более упорны.

Здесь по дымным поселкам — уйма людей, больных проказой, доживающих, под общим кровом своих семей почти до полного органического разложения.

Дороги здесь еще ужаснее, чем в южной части Посыетрайона.

Именно здесь малочисленные по составу парт'ячейки корейских сел прогремели и на округ и даже на весь Д.-В. край полным забвением о том, что такое партия, что такое ленинизм и строительство социализма.

Именно здесь, в этих селениях, члены партии чуть ли не шаманили на кулацких харчах.

Суровость партийной чистки была тут особенно резкой, острой.

Но даже и эти поселки, эти раскидистые «кочарники» корейских хаток, уже дали поросль свежих, новых людей.

Дети, внуки «шишкантов» из Тезинха, Янчихи, с хуторов уже добрались до владивостокской девятилетки, до совпартшколы, кое-кто даже уже перешагнул или перешагивает порог университета.

Скоро они вернутся переделывать дедовский быт, превращать диковатую, бездорожную пустошь своей родной стороны в ту советскую Данию, какой непременно должен сделаться весь Посьетский район.

Культура все же неуклонно, победоносно надвигается на корейские «дыбульми» этой части района.

Нет, нет — да и увидишь в воловьей упряжке не древнюю деревянную соху, а железный плуг «Дальсельмаша».

Началось землеустройство. Пока что оно намечено с Янхихи. Там работает молодой энергичный советский землеустроитель, насквозь пропитанный духом социалистического строительства и бесконечно чуждым навыкам и психике старых царских межевиков.

Советское землеустройство в этих местах еще не проводилось. Теодолит тов. Силаева принимается руками корейских землеробов наверняка с большим почтением и трепетом, чем, бывало, дарохранильница миссионера или шаманский талисман.

После, при встрече во Владивостоке, Силаев подробно рассказывал о своей работе среди корейцев. Ведь это именно ему пришлось очерчивать границу тех тигягатов-колхозов, которые возникли в советской Корее летом 1929 г.

— Нигде я не видал, — говорит он, — такой дружелюбности, такого благожелательного отношения к землеустройству. Корейцы с удивительной быстротой уяснили задачи и сущность колхозного строительства и все выгоды, какие должны им дать колхозы.

Корейцы к северу от Новокиевска живут гораздо беднее, чем их сородичи Уабонского клина.

Причин много. И основная из них, конечно, та, что здесь корейцы в царские времена гораздо больше ощущали гнет, произвол административного сапога, чем уабонцы.

Затем, тут большинство корейского населения было до революции своего рода крепостными, полурабами у местных «лендлордов» — европейцев, если только можно было бы назвать «европейцами» тех фельдфебелей, подпрапорщиков-сверхсрочников, которые наделались здесь щедро землей.

Тут и поповщина кормилась в свое время достаточно сытно.

«Захребетников» хватало у корейского землероба.

Но тяжесть жизни не могла убить в корейце страсти к многодетности, а следовательно, к еще большему понижению материального уровня.

Советскому строю досталось тут в наследство от романовского режима очень много бедноты...

Возвращение

Наконец, пришел день и для моего отъезда на бойкой «Вьюге» из пределов Советской Кореи на север.

На дальний север, — представилось мне, — ибо за время моих блужданий по посьетским стезям и весям Владивосток стал каким-то невероятно далеким.

Настолько уклад Посьетского клина самобытен, отличен от всего, что можно видеть в районе Владивостока и уж, конечно, во всем остальном необъятном СССР.

Вновь я на улочках порта-эмбриона, озаренных красноватыми, боковыми лучами близящегося к закату тихоокеанского солнца.

Начальник «порта» затаскивает к себе пить чай.

Удивительна стойкость традиций; начальник — владимирец или ярославец, и сюда, на крайний советский берег Тихого океана, он в полной целостности и сохранности притащил за собой весь строй самоварной владимирской жизни.

Вплоть до вязаного гарусного пептушка на лузатеньком чайнике!

Тикают часы на оклеенной веселенькими обоями стенке; мурлычет кот; мурлычет самовар; пышно возносится в углу фамильный фикус; в пестрой стеклянной вазочке поблескивает варенье.

Чай пьют из блюдцев.

Можно прямо забыть, что за окном шевелится ширь Японского моря, и то, что, когда в Посьете утро, то в Ярославле — всего лишь вечер.

Беседа тоже похожа на мурлыканье, пока резкий гудок из морских сумерек

не заставляет выскочить и скатиться к причальной стойке.

В потемках высадка с «Вьюги» ничуть не менее оживленна, чем всегда.

В этот раз, кроме всех обычных пассажиров, на «Вьюге» приехало с полдесятка «шишкантов».

Их курьезные, игрушечные цилиндрики прочно подвязаны лентами под козлиными бородами, а белые «кхонне» (халаты) даже в темноте могут ослепить своей безупречной белизной.

Спрашиваю у кого-то, почему их так много.

— Наверно, на свадьбу ездили или на похороны к какому-нибудь родственнику в Славянку, — вот и возвращаются.

Древняя «шишка» — верность обычаям прадедов — не мешает, стало быть, корейским старикам оценивать преимущество пароходного сообщения перед пешеходным.

«Вьюга» ночь отдыхает у Посыетского берега с тем, чтобы утром, часов в семь, бодро двинуться в обратный рейс.

Утро — опять солнечное, голубое, ветер с севера встречный.

При отходе — забавное, но вместе и немного грустное происшествие.

На борт «Вьюги» капитан принял штук шесть живых коров, не то для владивостокской бойни, не то просто в порядке переселения.

Когда пароход отделился от плашкоута и коровы почувствовали, что они навсегда расстаются с родимым берегом, они подняли отчаянное мычание, а одна, очевидно, наиболее экспансивная, взяла прямо да и прыгнула с корабля в воду.

Пароход остановили. К корове подехали на лодках, обмотали ее веревками и, как живую некую колоду, не разбираясь, удобно ей или неудобно, задержали на пароход.

Вот словно качнулся прощально маяк Чурада, и «Вьюга» пошла в упор, на ветер, четко рубя надвое форштевнем набегающие гребешки.

Посыет—Владивосток.
1929 г.

4. Б У Р А К И

П. Болохин

Дивизия вернулась с похода. Лес, в котором она жила, встретил ее суетливо и шумно. Вечером было кино, красноармейцы аплодировали Бестеру Китону, а в комсоставовской столовке за сдвинутыми столами подготавливались политруки к завтрашним занятиям.

Четыре трубы заиграли отбой, политруки разошлись, в лесу стало торжественно темно, и только огромными ночниками горели караульные палатки и штабы.

Так до утра.

Утром у самой воды мы прорабатывали книжку «16-я партконференция». К концу пятилетки 25 проц. всех крестьянских хозяйств будет коллективизировано.

Я спросил Осиповича:

— Как ты думаешь, — мало?

— Определенно мало.

Я смотрел перед собой. Деревья входили в реку неторопливо и важно, на-

против было село, было синее замороженное небо. Истощенный голос Слыши говорил уже об электрификации и металлургии, на передней линейке трубили, и мне казалось, что я вижу бег солнца по небу и пятилетку, обгоняющую его.

А между тем трубили:

— Старшие палаток, за хлебом!

— Партийцы и комсомольцы, на собрание!

— Дежурные, в клуб!

Неужели опять поход? Я осматриваю скатку, смазываю винтовку 22.843, кладу в мешок карандаши и бумагу, складную Ильичевку. Всё.

8 часов.

В 8½ дивизия выходит из леса. На опушке у подива ее останавливает шупленький человечек.

— Товарищи, сахар — это золотой фонд нашей страны, сахар — это тот углевод, без которого организм чело-

века существовать не может. Сахар... Но для того, чтобы был сахар, нужна свекла... бураки. На них ополчился злейший вредитель — «летучий метелик»¹⁾. Мы не можем не прийти на помощь крестьянству. Дивизия, которая называется железной, которая имеет за собой 5.000 верст переходов с боями... Дивизия...

Заиграл оркестр, сзади выстроился обоз с лопатами и кирками.

— Шагом марш! — По дороге будут занятия (дивизия в полосе действия крупных авиосил противника). Белой пеной вспыхивают штывки, и катится желтая зыбь скаток на Калиновку, на Сиваковцы, на Кураву, на село Медвежье Ушко, и еще много на Украинне деревень, где есть бураки и сахарные заводы. Мы проходим 40 километров. Нас покидает солнце, нас покинули другие батальоны, встреченные музыкой и знаменами. Нам дальше!

В сумерки входим в село.

У редколлегии отдельная клуныя. Хозяин оборван и неприветлив.

Я прошу воды.

— Мыла нет!

— Спасибо, мне только воды. Слыша, принеси мыла!

Но и Слыши нет.

Я заглядываю в клуныю, в хату, наконец, в конюшню.

Пять чертей жуют сено, фыркают и роют копытами землю! Навзничь лежит в углу молотилка.

— Где мы?

По двору проходит луна, за ней гонится хозяин, спотыкается, останавливается у винтовок, свистит.

— Чего, дядя, свистишь?

— Гляжу, а не свищу. Хорошие штуки. В хозяйство бы.

— На кой чорт?

— Да так... Надолго, солдаты, в гости? Метеликов будете расстреливать или лекции читать?

— Село у нас бедное, смотрите, огорды не потоптайте, намнут мужики бока.

Меня зовут. Слыша страшен. Он обещал с Осиповичем полсела, и теперь улочки, по которым они ходили, вер-

стаются в его глазах, как газетные столбцы.

— Плохо, ребята. Кулачеством пахнет. Комнезама нет, партийцев нет. Бурак законтрактован, и никто пальцем о палец не хочет ударить. Все равно, говорят, ни копыя не дадут больше. Кредит — темное дело. Пользуйся случаем. Бедствие — значит, не виноваты!

Ночью мы стучим в дверь сельсовета.

Нам надо знать, Красной армии надо знать — есть ли в селе комсомольцы? Сколько?

Селькоры? Сколько?

Пускай пишут в нашу газету. Выпускаем две газеты в день. От бумаги блеск, от свечей дым. Мы сидим и толкуем. Агроном говорит:

— Канавки. Одна стенка отвесная, другая наклонная. Глубина $\frac{1}{2}$ метра. Летучий метелик пока еще не летит. (Лови момент!) Теперь он только черная жалкая гусеница, которая поедает все на свете. Канавка, в которую он упадет и выбраться не сможет, — вот его могила.

Но это не все. Нужно снести сорную траву, нужно перекопать особенно зараженные участки, нужно сделать очень много, а батальона для этого мало!

— Товарищ председатель, нельзя ли мобилизовать все население?

— Что вы, дяденька, завтра троиха. Один в город едет, другой пьян, а третий вовсе бурака не сеял. Да и вообще, село наше — с историей, бандитское.

— Утро вечера мудренее! Топаем!

Млечный путь течет над дорогой, звезды шествуют над селом. Созвездие Пса. Созвездие Волка. Медведица.

Наша изба под Большой Медведицей.

— Батя, солдаты вернулись.

— Солдаты? Кругом марш скажи им. Выбрались ихние.

— Кто... выбрались?

— Редколлегия. У кулаков, говорит, не живу, под одной крышей не сплю. А мы ее горбом наживали. Полушки копили. Еще от деда покойного, жарствие ему небесное.

Млечный путь течет над дорогой. Изба под Малой Медведицей.

¹⁾ Вид саранчи.

— Осипович здесь?

— Здесь.

— А винтовки?

— Здесь.

— Спать.

Бурак повсеместен. Для этих плантаций, запрудивших поля, подпирающих небосвод, нас, действительно, мало.

Утром хозяйка приносит сыр и огурцы.

— Кушайте, хлопцы, у самой в Прокурове сын сверхсрочный.

— Кавалерист?

— Кавалерист.

Она не отходит, пока мы едим, и смотрит влажным и долгим взглядом.

Я жую кислый сыр и больше всего приличия ради спрашиваю:

— Как живется?

— Копаемся. У кого огород, у кого куры, свиньи, хлеба немного. Бурак — что бурак? Только первый год возмися с ним, а хлопот-то сколько. В Калининке они завсегда с буражом живут, им он дорог, зубами в'елись, — а нам что? Покопались, покопались каждый у себя и бросили. Лучше хлеб спасать. Старые богатые хозяева говорят.

Гремит сигнал.

Крестьяне выходят за калитку.

— Они с нами?

— Ни... они так, посмотреть! Троица ведь... Может, комсомольцы — те безбожники...

Летучий метелик... Он не с'едает, а сжигает все на своем пути. Бурый след его победоносного шествия стелется по полям.

Третья рота говорит: «Триста метров в час».

Мы отвечаем: «Пятьсот!»

Бежит по земле канавка, гремят лопаты:

— Вперед, коли! Назад — отбейсь!

Лопаты накалены — так быстра, так горяча работа.

Взвод военизирующихся вузовцев работает рядом с нами, но ему за нами никак не угнаться. Вспотели пенсне, а вырыто еще очень мало.

Дивчата смеются:

— Четырехглазые!

Дивчата носят по три-четыре юбки, высокие до колен сапожки и ма-

ленькие лифы. Сегодня праздник вдвойне, можно лузкать семечки и волноваться нашим загаром.

— Четырехглазые! Зачем вы их привели сюда?

— Кишь, проклятые. Вы за четырехглазыми не угонитесь.

— Да мы и вас перекопаем!

— Руки короткие!

— Короткие да цепкие!

— Это ночью, а теперь, слава тебе господи, день!

— Мы и днем горячие!

Девушки снимают сапожки.

— Дадите лопаты?

— Зачем?

— Перекопаем!

Несколько минут они копают молча, потом бросают:

— Ну, вот, видите?!

— Полтора вершка откопали и дают теку. Кишь, бабы!

— Сам баба! Растолстел на казенных харчах — посмотрим, каким будешь на войне.

— Выпущу пулю и убегу. Копай, хлопцы!

— Копай, бабы!

Длинные юбки, как знамена, развеваются вокруг ног. Путаются сапоги и голые икры. Через час — обед. Высок и просторен звук трубы.

— Красноармейцы баб сагитнули.

Мы выпустили три стенгазеты. О сельхозналоге. О контрактации. О кулаке. Порядок выпуска такой:

Я и Осипович копаем, слыша бежит за матерьялом. Потом копают Осипович и Слыша. Я лежу ничком на лотке лопаты, правлю заметки и списываю их на ватманскую бумагу, потом — Осипович. Он богат. У него дюжина цветных карандашей и веселый глаз. Значит — и карикатуры.

Вечером на улице «Гала-концерт-кабаре». Осипович рассказывает Зоценко и играет вальс «Забывшие ласки». Публика сосредоточена и молчалива.

Молодежи, за исключением комсомольцев, нет. Зреет луна. На стене сельсовета надпись: «А какая баба пойдет с красноармейцем, тую подколем».

У второй роты — танцы. Красноармейцы вертятся одни, грустно и важ-

но обняв друг друга у поясов, шипит гармонь и молчат крестьяне.

— Плохо, — говорит Слыша, — плохо!

Шурка, красный борец и лекарь города Нахичевани, подходит ко мне:

— Так нельзя! Надо что-нибудь сделать!

— Надо.

— Покажу чудеса науки и техники. Буду забивать кулаком гвозди и выжимать пятапудовки — а когда все, конечно, развеселятся, — голосуйте за коллективизацию!

Мы в селе, за нами перекопанное и огражденное от метелика поле, за нами другие поля, залитые кровью и гноем, — ночь коротка, завтра много работы, — береги свои силы, Шурка! Политрук приносит папиросы и почтовую бумагу! Аплодисменты. Я очень устал. Слыша и Шура уходят, я ложусь на траву и слушаю.

— Политлотерея.

— Расступитесь, товарищи. Красноармейцы, в кружок!

Ночь близится и близится. Рядом дивно поют студенты, потом один из них рассказывает об омоложении. Я очень устал, и слова меня не настаивают, а только ложатся, как тени:

— Омоложение... омоложение... — и голос политрука:

— Как относится партия к середняку?..

— ...Еще давно великий ученый Дарвин нашел, что человекоподобная обезьяна...

— ...кулак!..

Я поднимаюсь. Мне тоже хочется участвовать в лотерее.

— Что такое «Чемберлен»?

— Министр...

— Кто ответил?

— Я.

Рыжий мужик сконфуженно оглядывается и трет шею.

— Получите за хороший ответ папиросы «Сальве».

— Кто отдал крестьянам землю?

— Большевики...

— Что такое контрактация?..

Ночь. Она обворовывает людей и землю, приносит звезды и ветер и пенье: «Никто пути пройденного у нас не отберет» — и отбой.

— Слыша, — кричу я. — тронулось. Ты увидишь, они завтра выйдут!

— Серьезно? Ну, увижу.

На другой день работающих крестьян мало. Крестьяне ходят по полю, советуют: — С того бока легче... — Курят табак и судачат.

Они очень рады, что бурак спасен, знают, что заработают, но сами работать не хотят.

— Пусть другой поработает. Предлог — Троица.

Девушек нет, дует нехороший ветер (дождь будет), и страшную обиду за наш труд, за юное сердце, за землю, которую копаем и любим, мы передаем рукам и лопатам.

Днем, как и вчера, приезжает агроном. Лысый и круглый.

— Ну, как идет?

— Едет!

А в Калиновке мчится. Началось с бураков и кончилось коллективизацией.

Он сползает с коня и идет по полю, оборачиваясь и пригибаясь.

— Нет! Я так и знал. Нет!

— Чего нет?

— Метеликов нет! Чорт побери, метеликов нет! Вы понимаете, что это значит?

Он трясет кулаками, бежит дальше, подбрасывая фуражку и лоя ее до тех пор, пока не превращается в блестящий голый шарик. Шарик — далеко, далеко. Прыгает между игрушечными домами, летит кому-то под ноги, катится обратно.

Он катится до середины поля, спотыкается и опять поворот.

— Ай, ай — говорит — ай, ай!

Тогда крестьяне, которым мы накурили, смеются и идут за ним:

— Сдурел агроном!

Я копаю несколько минут, но не могу сосредоточиться.

— Сдурел лысый!

Мне стыдно за свое любопытство, за ложь, которую произнесу, и я говорю с отращением:

— Пойду напиться!

Агроном — типичный интеллигент. Вот уже полчаса, как он хочет убедить этого худенького и злого мальчишка, что огород его надо перекопать — и немедленно, что сорвать огурцы нель-

зя, — они разнесут заразу, — что метелик не сегодня-завтра полетит...

— Это страшно! Вы не захотите, чтобы я применил к вам силу?

Мальчик смотрит мертвыми глазами и не отвечает.

— Из-за вашего огорода погибнет бурак, погибнет хлеб, погибнут все огороды, и как это вы вообще ухитрились расплодить посреди села метелика. Не понимаю!

Мальчик поднимает камень и удивленно его разглядывает.

— Уходите... голову проломаю.

Он бросает камень в сторону и визжит:

— Мы не пустим разорять свои огороды!

— Петя, — раздается из толпы, — Петя, это не по-человечески!

— Какой он человек — кулак!

— Отец боится, так сынка выставил — несовершеннолетний!

Толпа шумит, побежали за сохой и за лопатами.

— Товарищ агроном, зови красноармейцев!

— Зачем красноармейцев? Красноармейцы заняты, сами перекопаем.

— Троица, батюшка...

— Была Троица — вышла!

К огороду бегут красноармейцы, растрепанная старуха волочит грабли и сапу:

— Помогите, родимые, ей богу, не кулачка!..

Мальчик не сходит с земли и, когда лопаты крошат огород, когда крестьяне роят с восторгом и остервенением, — кричит:

— Сагитнули вас черти! Ничего... Еще Махно вернется! Махно!

На другой день работают все. На третий — дивизия возвращается в лагери. Она стекается по дорогам и тропинкам, прячется в лес от аэропланов, переходит реку в брод, надевает противогазы.

Над лагерями, над тучами оползни вечернего солнца, у клуба репетирует оркестр и гуляют прибывшие из Киева физкультурники.

— По палаткам.

— Ура!!!

За рубежом

ОСЕНЬ В ИСПАНИИ

Л. Никулин

«В Северной и Южной Америке живут не семьдесят миллионов мексиканцев, аргентинцев, бразильцев, чилийцев, а семьдесят миллионов испанцев, детей нашей матери Испании. Семьдесят и 24 миллиона живущих в Европе составляют великую нацию».

Надпись при входе в павильон Мексики на Севильской выставке.

«В одно тихое ясное утро», как любил начинать рассказы прозаики прошлого столетия, шестиколесный автокар «Бюсинг», описав круг на плаце Эспана, оставил город Барселону и отбыл по направлению Сарагосса—Мадрид.

Автокар «Бюсинг» — люкс-автокар Иберийской компании транспорта и туризма. «Люкс» — роскошь — этого автокара заключалась в мягком, кожаном, вращающемся кресле, для каждого пассажира, в выдвижном дорожном столике и электрической зажигалке над ним. В автокаре тридцать восемь мест, он немного меньше железнодорожного вагона и развивает скорость до восьмидесяти километров в час. В четырнадцать дней он должен был описать восьмерку протяжением в четыре тысячи километров, с остановками в Сарагоссе, Мадриде, Толедо, Трухильо, Мериде, Севилье, Кордове, Гренаде. Затем через Мадрид, Сарагоссу и Тарагон вернуться в Барселону. Весь рейс предполагалось совершить в четырнадцать дней, но, так как это был первый тур только-что организованной Иберийской компании и так как трудно было по-

верить в организационные способности испанцев, пассажиры автокара приготовились к сюрпризам и случайностям. Может быть, поэтому из тридцати восьми мест в автокаре было занято всего одиннадцать. Большую половину этих одиннадцати занимали служащие Иберийской компании и их добрые знакомые. Туристов, то-есть тех, на кого, собственно, рассчитывала компания, было всего четыре человека. Двадцати-четырёхлетний доктор философии Ганс Гейнце из Бадена, мадемуазель Марта, его кузина, и кузен Фриц. Последний иностранец был пишущий эти строки. Остальные, кроме шофера и его помощника, были администратор поездки, он же гид, всегда сонный и любящий поесть мужчина в баках, затем — полная противоположность ему — назойливый молодой человек дон Хозе Рикар, служащий бюро путешествий в Барселоне, и сам директор-распорядитель Иберийской компании — деловитый и подвижной каталонец. Он появлялся спорадически: за обедами, завтраками и во время дорожных инцидентов. Остальное время он описывал круги вокруг автокара по смежным дорогам на

форде. Он появлялся внезапно, впереди или позади автокара и, помахав шляпой пассажирам, исчезал в неизвестном направлении.

Вокруг этого персонала, обслуживающего четырех платных пассажиров, устроились добрые приятели и знакомые служащих Иберийской компании: господин с двумя щебечущими дочками — представитель шин Данлоп и автомобильей Студебекер в Барселоне, неизвестный молчаливый венецуэлец и его знакомый, учитель барселонского лицея, — угрюмый человек с биноклем. Еще — очень добродушный человек в пенсне — профессор, национальность которого трудно было определить, потому что он одинаково хорошо говорил на шести языках, включая испанский. Все.

В дороге возникали и пропадали прекрасные незнакомцы и незнакомки, которых великодушно катал от города до города обслуживающий нас персонал.

Я познакомился с доктором Гейнце в момент, когда ему только что подсчитали сумму, которую он должен был уплатить за три места в автокаре. «Мы же в Испании!» — сказал он по-немецки и предложил половину цены. Директор компании всплеснул руками и скорбно улыбнулся. Но мы действительно были в Испании, и потому доктору Гейнце, а заодно и мне, легко скинули двадцать процентов с цены билета. И мы ушли из бюро путешествий, благославляя добрую, толстую книгу в синем переплете, «синий гид», предусмотрительно советующий торговаться во всех случаях, пока вы находитесь в Испании. Доктор Гейнце оказался благодушным и сытым молодым человеком. Он удачно родился в 1906 году и таким образом, — что еще удачнее, — избежал участия в мировой войне. У родителей доктора Гейнце был универсальный магазин в провинциальном германском городе. Дела магазина, повидимому, шли хорошо, и потому доктор Гейнце не говорил ни о политике, ни о Германии вообще. Он путешествовал и добросовестно интересовался страной, в которой без особого труда меняли его немецкие марки на пезеты. Его кузина и кузен Фриц были влюблены друг в

друга и интересовались окружающим постольку, поскольку оно соответствовало их чувствам и переживаниям в данную минуту. Когда было темно, они целовались, когда было светло, — держали друг друга за руки, смотрели в глаза и ждали темноты. Одиноким доктор Гейнце изучал путеводитель и для практики оживленно беседовал по-французски со мной. У меня был еще



Новый Мадрид. Небоскребы.

один собеседник — шофер Карлос, смуглый и темпераментный атлет, — на первый взгляд законченный тип кастильца. Он оказался жителем Вюртемберга, благоразумно оставшимся в нейтральной Испании с самого начала войны и затем натурализовавшимся в этой стране. Это был любопытный образец немца, на протяжении двадцати лет до конца переработанного в испанца. Он женат на испанке. Дети его, конечно, не знают ни звука по-немецки, и он сам, мне показалось, с некоторым трудом и значительной примесью испанских слов говорит по-немецки. Больше всего удивляло в нем доктора

Гейнце то обстоятельство, что этот экс-немец изменил пиву для традиционного каталонского вина «priorato». Доктора, впрочем, нисколько не шокировало то обстоятельство, что Карлос — дезертир. Новое поколение буржуазии научилось ценить жизнь и не очень склонно драться, пока не трогают непосредственно папашин магазин или сейф в папашинем банке.

Наши места были позади мест шофера и его помощника. Мы имели возможность наблюдать за тем, как немецкая выдержка и аккуратное спокойствие за рулем сменялись азартом и стремительностью — всеми чертами испанского характера, приобретенного дон Карлосом, бывшим Карлом. Мы поняли, что происходит, когда немецкий, вюртембергский характер нейтрализуется чертами, приобретенными в Испании. Испанский шофер совершенно не похож на центрально-европейского уже хотя бы потому, что европейский развизает скорость в зависимости от обстоятельств места, например, он дает скорость шестьдесят-восемьдесят километров и больше по пустынной дороге, а, въезжая в селение или пригороды, снижает ее до двадцати километров. Испанский шофер на дороге едет сравнительно тихо, но, как только на горизонте покажутся первые признаки жилья, он удваивает быстроту, и шик, мастерство заключается в том, чтобы влететь в деревню с сумасшедшей скоростью, наполняя глухие средневековые улочки и площади диким ревом сирены; чтобы из-под колес с кудяхтанием взлетали куры, с визгом удирали четвероногие, а двуногое население стояло, окаменев, на пороге домов и в отчаянии утаскивало в дома за вихры мальчишек. Честное слово, это — не преувеличение. Наоборот, эффект сильнее преуменьшен, если принять во внимание то обстоятельство, что автокар, величиной с четырехосный вагон, имеет шесть колес, среднюю скорость в шестьдесят километров и сирену, радиус действия которой — минимум два километра. Такой способ передвижения допускается только в Испании, только в стране, где автомобилист — привилегированная личность, где не-

давно провели сносные гудронированные дороги, где председателем автомобильного клуба состоит король, а председателем транспортно-автомобильной компании состоял диктатор, генерал Примо де Ривера. Такого рода спорт может процветать в стране, где любое животное, находящееся без присмотра на дороге, по закону можно безнаказанно давить, все равно — будь это курица или тихий, умный и трудолюбивый испанский ослик. Прошло несколько часов, пока мы оценили шоферские таланты испанского немца и успокоились за свою судьбу и судьбу встречных людей и животных. Мы пересекали розовато-оранжевые Каталонские Пиренеи.

Дальний горный хребет походил на брошенную у горизонта, между двумя странами — Испанией и Францией, чепуху, на вымытые дождем и обветренные клыки гигантского хищника. Гладкая и превосходно разработанная дорога снижалась, поднималась, делала спирали и петли; «Бюсинг» с удивительной для такой большой и тяжелой машины легкостью преодолевал подъемы и спуски, разворачиваясь на закруглениях таким образом, что пассажиры в заднем отделении автокара буквально висели над пропастью. Но они принимали это как развлечение, они пели, орали и хохотали, пока автокар непонятным образом проходил между отвесной скалой и пятью запряженными гуськом мулами, отважно тащившими в гору телегу. Возница встречной телеги мирно спал под брезентовым балдахином, пять мулов и телега удалялись в пространство, в облаке розовой пыли, попрежнему балагурируя над пропастью на расстоянии $\frac{1}{4}$ метра от ее края. Ослы были более уступчивы, они останавливались, услышав сигнал сирены, и мудро сворачивали в сторону, прижимаясь вплотную к скале, пока их хозяин разглядывал шестиколесное ревущее чудовище.

Пейзаж менялся на наших глазах, розово-оранжевые отвесные скалы и горные клыкастые хребты по странной причине изменяли форму. Теперь скалы и горные вершины были похожи на индийские пагоды, на пагоды, сложен-

ные из пухлых, с утолщениями посредине, низких колонн. А впрочем, они были похожи и на связки бананов и на сжатые в кулак пальцы, одним словом на все, что угодно, кроме скал. Это был не обычный, земной, а скорее астрономический лунный пейзаж,—вообще такого пейзажа я еще не видел ни в Европе, ни в Азии. Было ли это действие ветров, веками точивших скалы, или следствие вулканического происхождения, — на этот вопрос мне не ответил ни живой гид, ни гид в синем коленчовом переплете. Скалы—густого темно-красного цвета, — повидимому, от присутствия окиси железа,—напоминали об утверждении геологов, что верхний слой почвы во всей Испании — только тонкий покров железной, свинцовой и медной руды. Темно-красный цвет переходил в розовато-серый; дичь, глушь и очарование этого пейзажа захватывали даже неутомимого болтуна доña Хозе из бюро путешествий. И вдруг среди морщинистых, хаотически разбросанных скал на узкой террасе открылся упоминаемый во всех книгах об Испании монастырь «Монте-серат» (Monteserat—по-испански гора-пила). Мы увидели его издали, через три минуты он скрылся из виду, и в эти три минуты мы поняли, почему Филипп Второй, отшельник и инквизитор на троне, восстановил разрушенный маврами и временем монастырь. Среди этого каменного хаоса и горного безмолвия —тысяча двести двадцать пять метров над уровнем моря—монашеская добродетель была в безопасности от искушений, — кельи в роде могил для живых и могилы в роде келий для мертвых.

II

Поговорим о Филиппе.

Невыскательные историки живописно изображали гибель и разрушение, увядание и закат великих империй от времени Вавилона до эпохи Николая Второго. Изображалось это приблизительно так: предшественники монарха-неудачника были гениальные полководцы, замечательные администраторы, а их наследник был неспособным, слабым и неумным правителем, и именно вследствие этого разрушилась

и «впала в ничтожество» великая империя. К Филиппу Второму такая несложная схема никак не подходит, даже в том случае, если мы на мгновение допустим, что личность играет некоторую роль в истории. Административные и организационные способности Филиппа Второго не уступают способностям его отца—Карла Пятого. Между тем при Карле Пятом Испания распространилась на половину земного шара, а при Филиппе Втором потеряла колонии в Америке, Нидерландах и оказалась в ранге третьестепенных держав. Филипп Второй «не знал сомнений и беспокойства». Он был «рассудитель-



Автокар.

нейшим королем», как говорили о нем современники. Эти же современники говорят о нем: «Алчный, самолюбивый, жестокий, садист, убийца и отравитель». Каким образом эти черты характера совмещались с «рассудительностью», «благородством и мужеством», о которых говорят другие современники Филиппа, — это до сих пор загадка для историков. Это он приказал задушить в Саламанке представителя Нидерландов Монтинья, это его обвиняют в отравлении медленным ядом своего сына Карлоса, кстати сказать, дегенерата и кретина. Здесь можно провести любопытную аналогию с русскими сыноубийцами—Иоанном Грозным и Петром Первым. Его же, Филиппа Второго, обвиняют в тайном убийстве своей второй жены Елизаветы Валуа и зятя Дон-Жуана Австрийского. До сих пор неясен для историков эпизод с секретарем короля, Антонио Перез, который был осужден за преступления самого Филиппа. На этом короле кровь народов,

кровь сотен тысяч людей—трудолюбивых морисков и нидерландцев, мараонов, евреев и арагонцев и всех тех, которых он отдал во власть инквизиции. И в этом случае, как, впрочем, во всех случаях, когда мы подвергаем клиническому изучению выдающегося уголовного преступника, аскета, убийцу и маниака на религиозной почве, мы видим и совершенно противоположные черты в характере Филиппа Второго, короля Испании. У него был несомненный вкус и тонкое понимание итальянской живописи, он был другом Тициана, он умел подбирать архитекторов и выдающихся мастеров, когда осуществлял постройку Эскориала. Он сам был неплохим архитектором. Называют один замечательный собор, выстроенный по проекту Филиппа. Наконец, его письма к детям просто потрясают нас, когда мы подумаем, кто пишет эти строки: «Я вам посылаю розы и флерд'оранж, чтобы вы увидели, что мы уже имеем здесь...» «Садовник каждый день мне приносит цветы. Уже давно здесь цветут фиалки». В другом письме, тоже из Лиссабона, он пишет о своей дочери: «Мадлена любит землянику, а я люблю слушать соловьев, и иногда в окно я слышу их пение». Этот любитель соловьев за четверть века до своей смерти приступил к постройке Эскориала—одного из самых грандиозных и самых бесполезных сооружений в мире. Постройку Эскориала можно сравнить с сооружением пирамиды, усыпальницы испанского фараона, которым в сущности был Филипп Второй. Как и пирамиды, Эскориал имеет упрощенную геометрическую форму,— это серый параллелограмм. Монастырь Сан-Лоренцо или Эскориал, каменный иероглиф, казарма, тюрьма, как его правильно можно определить, есть по существу реакция на жизнерадостный и праздничный мавританский стиль. Эскориал—это монумент воинствующего католицизма, настоящая крепость реакции, крепость, комендантом которой был Филипп, а гарнизоном — монахи, убившие в себе все человеческие страсти в аскетическом одиночестве в этой гигантской тюрьме. Эскориал выстроен

в семидесяти километрах от Мадрида, среди безрадостного и сурового пейзажа, в горах, вдали от больших дорог, но тень Эскориала, тень твердыни католической реакции до сих пор падает на всю страну. Как строили, что происходило в эти двадцать три года от закладки первого камня до конца постройки, стоит рассказать при случае несколько подробнее. В наш век мы можем утешать себя тем, что Эскориал есть по существу монумент, надгробный камень той мировой империи, твердыне деспотизма и тирании, которой была старая Испания.

III

Мы уже давно потеряли из виду монастырь Монтесерат.

В горах было прохладно, и после барселонской жары испанцы окончательно развеселились, но затем явно потянуло холодом тающих снегов,— смех, шуточки и пение как обрезало. Жестокое и мгновенно действует на южанах холод. Андалузцы, приезжающие зимой в Мадрид, ходят с окоченевшими конечностями и синими носами. Мне рассказывал немец, бродячий кинооператор: однажды в Центральной Африке в дождливый период температура упала до двух градусов ниже нуля, и с неба полетело подобие мокрого снега. Негры-носильщики безмолвно сложили багаж на землю и безмолвно легли ничком умирать. Они рассматривали два градуса ниже нуля, как стихийное бедствие, как конец света, и решили умереть безропотно и покорно. Невозможно было заставить их встать и заняться земными делами.

Мы одолели перевал и стали спускаться к городу Лериде. Испанцы опять оживились, и к моменту, когда мы испытали на себе организационные таланты туристской компании, все было настроено весело и благодушно. Дело в общем было в одном непредусмотренном пустяке,— в большом камне, который торчал на перекрестке маленького городка по пути в Лериду. Ни повернуть, ни проехать вперед по единственной дороге автокар вследствие своих размеров не мог. Таким образом, простой и глупый камень мог

сорвать соблазнительный план тура в автокаре по Испании. В течение сорока минут при подбадривающих криках окрестного населения шофер Карлос пытался выйти из этого положения. Сорок минут автокар топтался на месте, грохотал, кипел и исходил дрожью, пока, наконец, под восторженные овации пассажиров и населения, едва заметно помяв бок, обогнул камень. Из-за этой небольшой заминки мы опоздали в Лериду, а затем и в Сарагоссу. Общительный доктор Гейнце поделился со мной мыслью, что в Испании нельзя прочно полагаться на расписания, на часы отбытия и прибытия, и вообще лучше всего надеяться на счастливую случайность, — иначе говоря, выплыл старый расейский «авось», который легко перевести и на немецкий и на испанский языки.

Учитель, спутник молчаливого венесуэльца, преподавал французский и английский языки в барселонском лицее и говорил по-французски, как парижанин. Вышло так, что мы оказались в углу довольно далеко от остальных пассажиров. Мы заговорили о всемирной выставке в Барселоне, и я почувствовал угнетенному национальному меньшинству, то-есть каталонцам. Я не удержался от соблазна показать некоторую осведомленность в каталонских делах. Араговец из коричневого стал серым, затем позеленел; голос его перешел в свистящий попот. «Каталонские сказки... Это, конечно, вам наговорили каталонцы». Зрочки его скосились под невероятным углом, и он мигнул в сторону других пассажиров: «Я вам скажу только одно: вы видели Барселону и кусок Каталонии. Богатая страна. Несмотря ни на что, богатая и, я бы сказал, сытая страна. Уверю вас, если мы им дадим автономию, или если они вообще отделятся от Испании, они будут нищими. Факт! — почти закричал он. — Они держатся нашими защитительными пошлинами. Они сбывают в Испании всю дрянь, которую производят. Каталонский автономизм и шовинизм полетят к чорту, когда им придется иметь дело с такими конкурентами, как англичане, французы или даже итальянцы. А для нас,

для испанцев, все сойдет. О, я их знаю, я их слишком хорошо знаю. Я тридцать лет живу в Барселоне, я вам больше скажу: моя жена и все ее родные — каталонцы. Я сам почти каталонец...» «В таком случае, почему же именно вы...» «Потому что я-то их знаю, чорт их возьми!»

На этом оборвался наш разговор, — мы приехали в Лериду. Это был первый провинциальный, губернский го-



Улица в Лериде.

род Испании, который я увидел. Все остальные города в общем походили на Лериду и в то же время были совсем не похожи, потому что каждая провинция — Каталония, Арагон, Новая Кастилия, Эстремадура, Андалузия — живет по-своему. Но то общее, что было у всех этих провинций, как я понял позже, исходило от Мадрида, от испанской бюрократической системы и католически-полицейского режима. В Лериде, как в каждом испанском городе, был примечательный в отношении архитектурном собор, история города восходила ко временам Рима цезарей, и затем последовательно все завоеватели Испании и эпохи оставили здесь

более или менее сохранившиеся исторические памятники: римляне, готы и мавры. Интереснее всего казались остатки старых улиц, аркады, арки и все, что относится к эпохе независимой Каталонии. Затем здесь была «пассео Альфонсо» (пассео—это бульвар, или вернее, «променад») и плаца Майор, — то-есть большая площадь, она же плаца де-ла-Конституцион. Эти три названия — плаца Конституцион, кале Майор, пассео принчипе Альфонсо — повторяются по всей Испании. Я бы не сказал, чтобы испанские правители всех эпох особенно почитали испанскую конституцию, но «плаца Конституцион» есть всюду: этого, по справедливости, нельзя не отметить.

Была жара приблизительно такая, как в летнюю пору в Ташкенте или Самарканде. Было около двух часов дня, и потому прибытие «Золотого луча» — так назывался наш автокар — не было сенсацией. Под аркадами старого, массивного дома за столиками сидела группа местных негодяев, только-что окончивших завтрак в ресторане. На солнечной стороне улицы стоял светло-серенький, почти белый осел и с философской задумчивостью глядел в пространство. Хозяин оставил его на солнце и сам лег в тени под аркой. Я погладил осла по загривку и сразу отдернул руку. Шерсть была накалена солнцем и обжигала, как радиатор центрального отопления. Большие разноцветные мухи кружились над неподвижным и унылым ослом. У осла был осмысленно-угрюмый, безнадежно-печальный вид. Доктор Гейнце тоже погладил осла, отдернул руку и вслух ответил на свои мысли: «Что же вы хотите? Испания». Мы обогнули угол и за аркой увидели площадь и мост через реку. Мост и площадь были совершенно пустынные. В центре площади неподвижно, расставив ноги, как монумент, стоял полицейский с жезлом, похожим на копченую колбасу, в галифе, тропическом шлеме. Повторяю, площадь была пустынна, был второй час дня, отдых по случаю жары, «съеста», как говорят в Италии. Ни одного человека, ни одного животного, ни одного автомобиля. Один тор-

жествующий принцип власти в тропическом племе и галифе под яростным испанским солнцем. Шестьсот двадцать лет назад в этом городе соединились королевство Арагон и управляемая владетельными князьями Каталония. В том случае если бы этого не произошло, на площади стоял бы, очевидно, каталонский, а не общеспанский полицейский. Не знаю, как бы в этом случае изменилась судьба печального, умного и незаслуженно обижаемого остряками животного, о котором говорилось выше. Не знаю, как бы изменилась и судьба его хозяина, которому живется не намного лучше, чем бедному, печальному ослу.

Мы завтракали все за общим столом. Представители транспортно-туристской компании сразу обнаружили замашки явных растратчиков. Они потребовали вина и настойчиво угощали всех пассажиров. Опять обнаружилось, что персонал компании рассматривал эту поездку, как развлекательную прогулку, в первую очередь для себя и своих приятелей, а затем вообще для пассажиров. Против этого нечего было возражать, было бы странно, если бы испанцы походили на алчно-деловитых французов и расчетливых немцев. Мы уехали в четыре часа дня. Полицейский на площади восторженно продирижировал жезлом древнему форду и двум мулам, пропуская нас на мост. Учитель-араговец сел рядом со мной с явной целью окончательно разоблачить каталонцев и уничтожить их влияние на иностранца. «Вы русский? — внезапно удивился он. — Живете в Москве? А... Значит, настоящий русский». Я не успел спросить его о том, что он понимает под ненастоящим русским, — он сразу перебил меня следующей сентенцией: «Странно, что в Испании совершенно нет русских! А вот китайцев сколько угодно!» — и затем, не задумываясь над этой проблемой, вдруг указал мне в окно на железные конструкции токов высокого напряжения: «Каталонцы — просто воры. Смотрите, они украли у Арагона воду, все гидростанции работают для каталонской промышленности, хоть бы ручеек оставили для Арагона». Почва желте-

ла и коричневела и высыхала под нами, и страна действительно менялась и беднела в глазах. В городке Алама д'Арагон нам почему-то показали водолечебницу и в саду при ней маленькую часовню с танцевальным залом для свадеб и балов. Сад был действительно очарователен. Необыкновенно свежая, нежная листва, плющ и шиповник и горная речка, смутно журчащая внизу, в просветах плюща и шиповника. Трогательная пара, Фриц и Марта, декоративно обнимались у мраморной балюстрады над речкой. Внезапно над всем этим арагонским раем по железнодорожному мосту загрохотал товарный поезд и заревела сирена дон Карлоса.

Но мы не расстались с романтикой в этот день. Мы все же были в Испании: толстый гид с баками решил сделать петлю в пятьдесят километров только для того, чтобы увидели настоящий арагонский рай — парк-заповедник монастыря Сан-Педро. Среди голого и выжженного плоскогорья внезапно открылась глубокая и большая ложбина, поросшая лесом, вся изрытая каскадами, водопадами и ручьями. Мы спустились и увидели здание, похожее на иллюстрацию к юношеским южноамериканским романам: кубические башни, галереи и аркады двухэтажного здания, которое когда-то было монастырем Сан-Педро. В 1834 году испанские революционеры, в согласии с хорошими традициями Великой Французской Революции, уничтожили монахов и монастырь. Сейчас кельи превратились в прозаические «номера» гостиницы с пансионом. Гостиница и парк-заповедник принадлежат частному лицу, которое взывает две пезеты с туристов, посещающих парк. Весь парк наполнен пением птиц, шелестом листьев и журчанием воды. Освежающий резервуар прохлады среди выжженного, обветренного плоскогорья... Гроты называются Ирис, Диана, Каприз и, чтобы не было обидно почившим монахам, Непорочная Дева, Святая-Троица и еще как-то в этом роде. Лабиринт тропинок, легкие мостики над пропастями, спирали ступенек неожиданно привели нас к рыбным садкам, где искусственно разводят форелей. Из запруды в за-

пруду — от икринки до рыбы величиной около метра — форель проходит все стадии развития для того, чтобы в конце концов быть поданной к завтраку или обеду в ресторанах Сарагоссы и Мадрида. Затем опять был лабиринт прохладных тоннелей и гротов, водяные, отсвечивающие радугой завесы и вдруг sklep в виде ниши с надгробным памятником, который мог бы растрогать чуткую



Крестьянин Новой Кастилии.

душу путешественника из любой страны. На мраморном ложе полулежало лицо духовного звания с мраморной книгой в руке. У изваяния были очень тонкие в вдумчивые черты лица. Тонкий мраморный нос с горбинкой касался мраморной розы, которую держала правая рука, и в позе, выражении лица и полузакрытых глазах была лирическая мечтательность, наслаждение хрустальной тишиной, лепетом каскадов и вечным покоем. Мы перевели латинскую надпись надгробия:

«Дон-Педро дель Корро и Бегамо. Принял орден в 1680 г, Скончался в 1701.

Кавалер креста Калатравы.

Инквизитор Валенсии».

В трапезной монастыря доктор Гейнце обнаружил хорошо устроенный бар со всеми специями для коктейлей и пивом, но еще двусмысленнее выглядели двуспальные кровати в бывших монашеских кельях.

К вечеру мы выехали в Сарагоссу.

В пути я сидел опять рядом с доктором Гейнце. Он снял роговые очки и, не мигая, долго смотрел в спину шоферу Карлосу. «О чем вы думаете?» — спросил я его, когда надоело молчать. «Я думаю об инквизиторе Валенсии» — зевая, ответил он и опять замолчал. Потом он громко засвистал. Мотив, который он насвистывал, назывался «Валенсия». В песенке говорилось об апельсиновых садах, гранатовых деревьях и девушках, танцующих «валенсиану».

IV

«Мы, которые имеем такую же цену, как и вы, и которые можем больше, чем вы, выбираем вас королем с тем условием, чтобы вы уважали наши вольности и привилегии и чтобы между нами и вами был некто, который может больше, чем вы; если же нет — нет».

Вот дословный перевод текста старинной присяги Арагона избираемому королю. С 734 по 1336 г. пятнадцать поколений королей Арагона принимали эту своеобразную присягу населения. В кодексе законов Арагона была еще такая статья: «Если однажды король нарушит их «fueros» (фуэрос — привилегии и вольности), они имеют право избирать другого короля».

Некто, который был между королем и народом и стоял выше короля, это — закон, — юстиция, — свод законов Арагона, олицетворяемый несменяемым верховным судьей. Так народ Арагона старался охранить «fueros», свои вековые вольности. И Каталония, когда соединилась с Арагоном, тоже благо-разумно выговорила себе самую широкую автономию. Затем Арагон и Каталония присоединились к Кастилии. Все было добровольно: свободные госу-дарства Арагон и Каталония в лице

короля Фердинанда и Кастильское ко-ролевство в лице Изабеллы Кастиль-ской соединились в 1409 году под од-ним скипетром. Их соединил не меч, но венчальные кольца. Дальше Филипп Второй, король единой Испании, в 1591 году казнил верховного судью провинции Арагон, судью по имени Жуан де-Лануца, который мужествен-но охранял арагонские «fueros». Окон-чательно разделились с арагонскими и каталонскими вольностями короли из династии Бурбонов. Вот и все. На пла-ца Арагон в Сарагоссе, на высокой пи-рамиде стоит арагонский правосаступ-ник, последний верховный судья Жуан де-Лануца. А вокруг него обыкновен-ный, провинциальный, пыльный город Сарагосса, прежняя столица независи-мого Арагона.

«...и будет между нами некто, кото-рый может больше, чем вы...»

«...если король однажды нарушит «fueros»...

Короли нарушили. и не однажды, и в конце концов казнили того, «который может больше», чем они. И Шиллер не написал трагедии о гибели вольностей Арагона, и среди нескольких сот пьес Лопе де-Вега нет трагедии о гибели арагонской независимости.

Сарагосса при маврах соперничала с Толедо и Кордовским халифатом. Осада Сарагоссы в эпоху наполеонов-ских войн—пример героической борь-бы за независимость. А теперь это, как я уже сказал, пыльный провинциаль-ный город с кинематографами, трам-ваем, плаца де-ла-Конституцион и ма-газинами, в которых продают откры-тые письма с видами, статуетки ма-донны, которая по-испански называется «ностра сеньора». И все же это — город, который нельзя забыть и не за-будешь нигде — ни в парижском аду, ни в сугробах Старой Башиловки в Мо-скве.

Еще до сумерек, на закате солнца, мы были на мосту де-Пиетро. Мост над рекой Эбро, старый мост пятнад-цатого века, на семи арках, соединяет Сарагоссу с предместьем, название ко-торого трудно выговорить: «Арабал д'Алтабас», — арагонский средневеко-вый военный городок, где еще сохра-

нились дома, похожие на маленькие крепости. Наш белый, самодвижущийся вагон на ветхом мосту представлял, должно быть, необыкновенное зрелище для пешеходов. Они смотрели на нас, а мы — на другой берег Эбро. Там в синих и золотых сумерках открылась средневековая «лонжа», то-есть биржа, и против нее — католическая семинария и соборы «ла Сео» и «Поэстра сеньера дель Пилар».

В музее Прадо в Мадриде есть вид Сарагоссы работы ученика Веласкеза дель Мазо. Вид, этот относится к 1674 году, и замечателен он тем, что фигуры и пешеходов и всадников на первом плане сделал сам Веласкез. Ничто не изменилось на этом берегу Эбро со времени 1647 года. Только пешеходы одеты в лиджаки и длинные брюки. Только женщины одеты в короткие платья. И по мосту едет волшебный, самодвижущийся экипаж, а на набережной трещит мотоциклетка. Мы не совсем правильно думаем, что наше время и его масштабы монументальны, огромны по сравнению с минувшими веками. Мы привыкли так думать, сравнивая наши вокзалы и заводы и почтамты с боярским теремом или домом средневекового горожанина. Но здесь, в Испании, вы вдруг чувствуете ошутительный укол самолюбия и гордости современного человека. В каком-нибудь маленьком провинциальном городе вы открываете дворец, вернее замок, называемый на языке мавров Алькасар, и он грандиозен, величествен и по масштабам не меньше знаменитых современных зданий. Но невозможно понять, зачем нужно было строить в маленьком городе такое грандиозное архитектурное сооружение. Пусть Сарагосса была столицей Арагона, но каким напряжением, какой ценой были воздвигнуты эти гигантские здания. Вы ощущаете тщетность затраченных усилий именно теперь, когда в двухстах метрах от этого сохранившегося островка гигантов начинается обыкновенный губернский город, четырехэтажные дома, крытые черепицей желтые крыши, серенькие улицы, не очень щедро освещенные электричеством.

Это вызывает сложное и любопытное ощущение. Представим себе, что вы бродите ночью на берегу океана по дюнам среди кустарника, низеньких елей, купальных домиков и киосков с мороженым, вы бродите по низкому и серому отлогому берегу — и вдруг за песчаным холмиком вам открывается громада, чудовище, спящий бронтозавр, царствующий над берегом, над океаном, над киосками, домами и кустиками. Приблизительно такое же впечатление производят соборы Сарагоссы, когда их открываешь ночью, на набережной Эбро, над старыми платанами, которые кажутся кустарником рядом с этими созданными рукой человека громадами.

История, памятники прошлого давят и угнетают вас в этой замечательной стране.

Испания 1929 года. Что это — рудники Рио-Тинто, пробка, серебро, медь, свинец, нефть, проступающая сквозь коричневые пласты, или это музеи, монастыри и соборы или это севильский Алькасар, Альгамбра в Гренаде и Эскориал вблизи Мадрида? Бывают мгновения, когда мраморные и гранитные громады, когда дворцы и соборы закрывают горизонт, отгесняют нефтяные вышки и доменные печи англо-американских концессий, и тень старой Испании, тень Эскориала лежит на всей стране от Атлантического океана до Средиземного моря.

Я должен вернуться к Эскориалу, монастырю, семинарии, библиотеке, музею, дворцу и могильному склепу испанских королей и старой Испании. Монастырь Сан-Лоренцо эль Реаль — так официально именуется Эскориал. Это — параллелограм, имеющий двести восемь метров с севера на юг и сто шестьдесят метров с востока на запад. Он построен из серо-синего гранита горного хребта Гвадарамы. Он имеет шестнадцать внутренних дворов, тысячу сто десять наружных и тысячу шестьсот внутренних окон, тысячу двести дверей и восемьдесят шесть лестниц. Он построен знаменитым для своего времени архитектором Жуаном Батиста де-Толедо, и десятками тысяч безвестных рабочих-басков, горцев Гва-

дарамы, кастильцев, арагонцев и каталонцев. Его строили двадцать три года, и работы велись «а toda furia» — в бешеном темпе. Сохранился замечательный архив, документы, относящиеся к эпохе постройки Эскориала с 1563 по 1584 год. Здесь есть подробные регламенты, инвентари, сметы и приказы по цехам. Перед вашими глазами — быт и труд рабочего-строителя шестнадцатого века. Заработная плата, награды и наказания, развлечения и, главное, заботы о духе рабочих, о настроении и воспитании в духе католических догм. Не менее, впрочем, заботятся о животных: особые приказы и распоряжения предписывают уход за животными, живым инвентарем строителей. Дневник постройки скупов говорит даже о забастовках, происходивших более двухсот лет назад. Архивные документы рассказывают о том, как однажды рабочие-баски взбунтовались и отравились в Эскориал, чтобы освободить арестованных товарищей и убить алькада. Но соглашатели шестнадцатого века успокоили рабочих.

В 1584 году Эскориал был вчерне закончен. Его называли восьмым чудом света. Теперь в этой пустынной и мертвой громаде живет несколько десятков монахов и сторожей. И несколько туристов бродят, затерявшись в гранитном лабиринте.

Вернемся же к соборам Сарагоссы. Возможно, и их называли «восьмым чудом света».

Восемь маленьких куполов, один большой, главный и две колокольни собора «Ностра сеньора дель Пилар» кажутся целым городом. Город этот нагроможден для того, чтобы в его недрах, — в громадном сумраке купола, над тысячами мигающих восковых свечей, — в золоте и сиянии драгоценных камней смотрела мертвыми глазами деревянная раскрашенная статуя «Вирхен дель Пилар» — непорочная дева дель Пилар. Двадцать поколений слепо верующих людей в последнем отчаянии и с последней надеждой приходили к этой кукле в золотом футляре. Минутами это действует на воображение. Дымно-золотое мерцание свечей, темный провал под сводами, вме-

щающий пятнадцать тысяч паломников, поколения верующих создали длительный массовый психоз, с которым еще долго придется бороться новому, более реальному поколению. Гениальные живописцы-архитекторы и гениальные музыканты помогали католицизму столетиями держать Италию в состоянии истерии и массового помешательства на религиозной почве, и то, что этот массовый психоз не слишком ослабел, что гипноз еще действует, можно проверить в день непорочной девы «La fiestas del Pilar». Если бы двенадцатое октября каждого года было обыкновенным церковным праздником и не имело бы характера арагонского национального торжества, о нем не стоило бы говорить. Католический клир имеет великолепных режиссеров для торжественных месс и религиозных процессий, но и они при всем их мастерстве и вкусе не могли бы искусственно организовать этот народный праздник. Я думаю, что не ради торжественной мессы в соборе и не ради того, чтобы увидеть осколок мрамора, колонну «Pilar», которую, по преданию, установил святой Иаков, идут в Сарагосу через пустыни и скалистые плоскогорья тысячи испанских крестьян. Собор всегда один и тот же, лишние десять тысяч восковых свечей, лишняя сотня прелатов и кардинал не делают праздника. Весь праздник за стенами собора, на улицах, под таким октябрьским солнцем, которого у нас не знают и в июле. Балконы и окна в лентах национальных цветов, тысячи крестьян одеты так, как одевались три, четыре века назад. Волосы стянуты тугим платком, красный берет, черная куртка, панталоны в складках и белые горные сандалии — эспадрильи. Крестьянки в знаменитых испанских шляхах, расцветка которых смелее и пестрее наших ситцев и наших кустарных платков. Эти шали вынуты из старых, тяжелых сундуков, их вынимают однажды в год, и они переходят из поколения в поколение. Города в шляпах и сюртуках тонут в этой крестьянской толпе. Раз в год, именно в этот день, люди забывают свою благодарную и скупую землю и изнуряющий труд

земледельца, раз в год они чувствуют себя равными господами в сюртуках и мундирах. Женоподобные моряки рассматривают эту толпу в монокль, кавалеристы, артиллеристы и карабинеры в треуголках, касках, алых и голубых мундирах гарцуют и позируют так, как может гарцевать и красоваться только испанский офицер в парадной форме. Эти офицеры годны лишь для внутреннего употребления, они незаменимы только здесь, в перьях, в лентах, в золоте, в алом, в голубом, шпалерами окаймляющие толпу.

В ночь на субботу, в четыре часа утра, у алтаря девы дель Пиляр начинается «месса инфантов». Архиепископ, клир, генералитет, нотабли города, профессора университета в костюмах шестнадцатого века слушают мессу в самом соборе. Знамена южно-американских республик никнут под куполом над уважаемыми гражданами Сарагоссы и напоминают им о былой славе Испании, о семидесяти миллионах латинян и метисов, говорящих на испанском языке. Бывшие колонии теперь богаче метрополии, у бывших колоний есть влиятельный американский дядя Сам, но они все-таки латиняне, а не выродки англо-саксов, они все-таки говорят на языке Сервантеса, и некоторые верят в непорочную деву. Фрески Гойя в одном из куполов—это тоже слава Испании, и ради этой славы уважаемые сограждане Жуана де Лануца, жители Сарагоссы, могут забыть герб и знамя независимого Арагона и «фуэрос» — вольности, узурпированные королями династии Бурбонов. А на улицах и площадях Сарагоссы поет и танцует народ, который не помнит или, вернее, не знает ничего, о «фуэрос» и Франциско Гойя и иберо-американском единении. Руки, привыкшие к серпам, пальцы, израненные и искривленные работой, держат грифы гитар. Грубые ладони нежно, чуть слышно отсчитывают такт на тамбуринах, пока гитары не заглушат рокот тамбуринов длинной и страстной прелюдией. Затем высокий чистый женский голос в полной и необыкновенной тишине начинает мелодию. Он взвывается, летит в высоту, и чистые моду-

ляции и фиоритуры, кажется, можно изобразить графически в виде тончайшего, запутанного, устремляющегося ввысь рисунка. Когда эта сложная и очаровательная музыкальная фраза закончена, вступает мужской голос. Это — одна и та же ария, одна и та же печальная песнь, взлетающая к звездам, летящая в наступающую ночь, но каждый певец дает ей свои собственные модуляции, каждый певец вступает в состязание с умолкшим, и только гитары продолжают прежний, объясняющий, то бурный, то робкий аккомпанемент. Настойчивым и печальным напоминанием отмечают ритм тамбурины. А кругом народ, молчаливые тысячи людей, свидетели чудесного состязания, ни звуком, ни ободрающим криком не нарушающие трогательное состязание певцов, национальную песнь, в которой отчаянье и вековая печаль тружеников и слабая улетающая надежда. Эта национальная песнь называется арагонская хота.

V

В некоторых испанских ресторанах много и долго едят. Начинают с яиц, потом едят суп, рыбу и два основных блюда — мясо, приготовленное в остром соусе, и затем жареное мясо, дальше — зелень, традиционное мороженое, фрукты, сыр и кофе. Все это при педантизме и медлительности «камаре-ро» — испанских официантов — отнимает много времени. Примите во внимание то, что ваши соседи считают долгом занимать иностранца застольной беседой, и вы можете считать, что три-четыре часа в день уходят на завтрак, обед и застольные разговоры. Мы приехали в Сарагоссу к девяти часам вечера и ужинали в десять. На этот раз я отделился от доктора Ганса Гейнце и не пожалел об этом. Я сидел между арагонцем-учителем и каталонцем, представителем американских автомобилей и шин «Денлоп». Оба говорили по-французски и слегка пикировались, при чем один называл другого «*mon vieux*», т. е. старина, хотя арагонцу не было и сорока лет, а другой, очевидно в отместку, называл каталонца «*mon*

раувге» — бедняга. Разговор шел о «лас фиестас дель Вирхен».

— Времена меняются, — меланхолически сказал араговец, — и народ не тот, и «хота» не та. Мне рассказывала мать, как в ее времена пели и танцевали арагонскую хоту (вы же знаете — хоту не только поют, ее и танцуют), как девушки и дамы из лучших фамилий не стеснялись танцевать с пастухами. Да, времена меңаются, но, слава богу, у нас в Сарагоссе еще нет дансингов! — несколько неожиданно закончил он.

— Почему вы против дансингов? — преодолевая дремоту спросил каталонец. — В сущности невинное развлечение... В особенности, если сравнить с некоторыми обычаями «фиестас дель Вирхен». Знаете ли вы, что еще в недавние времена молодежь прицепляла к поясу петарды, и особый спорт заключался в том, чтобы поджечь сигарой петарду. Потом молодые люди валялись в постели с обожженными животами, и у «Вирхен дель Пилар» было много дела заботиться о здоровье добрых католиков.

Правда, мы — добрые католики. А про барселонцев говорят, что их «черная дева» не могла ужиться в Барселоне и вернулась в Монтесерат...

Диалог этот требует краткого пояснения. Каждая провинция в Испании имеет свою покровительницу, статую непорочной девы. «Черная дева» Монтесерат — соперница сарагосской «Вирхен дель Пилар».

Мои собеседники спорили лениво и неохотно. Ужин и триста пятьдесят километров в автокаре отразились на спорщиках, но их манера спорить переворачивала все представления об испанском темпераменте. И самая внешность моих собеседников тоже переворачивала наше нормальное представление о внешности испанцев. Араговец был круглый, лысый, меланхолический человек, страдающий легкой одышкой, а каталонец — маленький, сухой, рыжеватый и подвижной блондин.

— Да, — сказал каталонец, — иностранца это, может быть, удивляет, но я вам скажу, что между Фордом и Дженерал-Моторс нет такой конкурен-

ции, какая есть между творящими чудеса девами в Испании. По этому поводу я вам расскажу анекдот. Вы знаете, что испанский язык, кастильское наречие имеет в запасе достаточно ругательств и бранных слов. Но в особых случаях, для того, чтобы усилить эффект, испанец присоединяет к самому грязному ругательству имя святой, непорочной девы. Однажды один добрый католик длинно выругался: «Такая, разэтакая, распратакая святая дева!» «Какая именно дева?» — спросил его араговец из Сарагоссы и полез за ножом. «Севильская» — поторопился ответить добрый католик. Араговец успокоился и отошел. Севильскую Санта Марию и нашу из Монтесерат можно обижать, но, когда вы говорите с арагонцем, имейте уважение к сарагосской «Вирхен дель Пилар».

— Глупости, — сказал араговец, — но в общем чистая и глубокая вера сохранилась только в Арагоне и, может быть, еще в старой Кастилии.

— И в Сарагоссе? — многозначительно спросил каталонец.

— И в Сарагоссе. Мы не отвечаем за сумасшедших анархистов, — огрызнулся араговец, он повернулся ко мне и пояснил: — Видите ли, шесть лет назад, в Сарагоссе убили кардинала Сольдевила... Дон Антонио, если не ошибаюсь, намекает на этот случай. Не правда ли?

Но дон Антонио отодвинул кофе и развернул вечернюю сарагосскую газету.

— Ах, эти каталонцы, — со вздохом сказал араговец. — Посмотрите, — в мадридской газете он читает только биржевой бюллетень, а для прочего у него есть своя каталонская газета.

— Привычка. Вы знаете, я — не горячий автономист и не каталонский патриот. А вот вы — настоящий арагонский автономист. Правительство хорошо делает, что держит таких людей в Барселоне, а не в Сарагоссе. — Он повернулся ко мне. — Советую вам всегда следить за биржевым курсом. Иначе при размене денег вас надуют одинаково и в Барселоне и в Сарагоссе.

Газета перешла ко мне.

— Рио-Тинто. Рио-Тинто? — прочел я вслух.

— Что вас удивляет? Они котируются, как всякая другая бумага.

— Нет, не в этом дело. Из Севильи я хотел бы проехать в Рио-Тинто.

— Поезжайте через Хуэльву. Вы хотите посмотреть рудники? Должен вас предупредить, что вам придется сделать большой круг... Вам придется заехать в Париж или Лондон и опять вернуться в Испанию. Не правда ли это забавно: получить разрешение на осмотр испанских рудников можно только в Лондоне или Париже. А между тем Рио-Тинто — гордость Испании — шестьдесят процентов европейской добычи меди. Иностранцы в тысячу раз правы, когда называют Испанию отсталой страной. Вы укажете мне на химическую промышленность, серную кислоту, удобрения... Серебро, свинец... Хорошо, я согласен, но история Рио-Тинто — замечательная история. Знаете ли вы, что в Рио-Тинто нет испанских рабочих? Иностранная компания держит на испанских медных рудниках тридцать тысяч английских рабочих. Потрясающий факт, не правда ли? Допустим, андалузские рабочие плохи и ленивы. Но есть астурийцы, есть каталонцы. Больше половины испанской промышленности в руках иностранцев. Можно предположить, что иностранцы работают лучше нас, — я говорю об иностранных компаниях. Но возьмем медь. За двадцать два года добыча меди сократилась почти на треть. Бесперывные забастовки и конфликты, и в результате американцы, американская чилийская медь вытесняет компанию Рио-Тинто с европейских рынков. Свинец, — мы первые в Европе и третьи в мире по добыче свинца, но с каждым десятилетием мы снижаем добычу. У нас больше ста тысяч горнорабочих, а обработкой металлов занято всего тридцать—тридцать пять тысяч человек. Это три наших минеральных богатства, когда зона нахождения одной только медной руды — двести сорок пять километров в длину и двадцать пять километров в ширину. За что мы ни возьмемся, — скажем, пробковый дуб, — и здесь при наших богатствах

нас обгоняют португальцы и французы. Вот для примера мелочь, подумайте, как эксплуатируют свою землю португальцы. Они запахивают землю под самыми пробковыми дубами, сеют, снимают урожай. Затем пробковый дуб дает великолепные жолуди, и вот они покупают у нас, в Испании, порослят, откармливают их жолудями и через год продают свиной нам же, в Испанию. Пробка! В этом, кажется, нас не обогнать. Попробуйте, найдите подходящее по климатическим условиям место, посадите жолудь, и только через тридцать пять лет дерево даст настоящую кору, а через десять лет после этого вы сможете снять первый годный слой коры. Но Франция и Португалия обгоняют нас, а мы стоим на месте, — пятьдесят миллионов килограммов в год и варварская, небрежная эксплуатация деревьев и коры. Еще пример — транзит, — мы сами режем транзит через нашу страну, режем тем, что наша колея несколько уже европейской. Дальше, протяжение шоссеиных путей у нас в девять раз меньше, чем во Франции, это при почти одинаковой территории.

— Профессор, — иронически перебил его арагонец, — вы не во всем правы, а электрификация...

— Да, электрификация... Мы имеем миллион лошадиных сил почти даром — белый уголь. Но знаете ли вы, что мы можем иметь при незначительных затратах три миллиона и еще четыре миллиона лошадиных сил при более или менее продолжительных работах. Горные реки Пиренеев, Сиерры-Морены, Сиерры-Невады могут обогатить Испанию. А мы радуемся, когда видим, что большинство деревьев в Андалузии имеет «bombilas» — электрическую лампочку. Что ж тут удивительного. Электрическая лампочка в доме нищего. Вместо электрической тяги по всей Испании мы жжем уголь и нефть и скупили все железнодорожное старье во всей Европе. Не забудьте, Испания не воевала, нейтральная Испания при своих богатейших недрах, при бешеном торге металлами, который она вела с Антантой во время войны, умудрилась уронить свою валюту, и пезета вместо пяти

франков стоит три франка шестьдесят пять! Больше мне ничего сказать!

Он с грохотом отодвинул стул, бросил салфетку и, пожав нам руки, ушел. Арагонец тоже встал, но задержался на минуту.

— Я вам могу кое-что сказать по поводу этого сорта людей. Если пезета стоит три шестьдесят пять вместо пяти франков, это не без их усилий. Во время войны они стали все миллионерами, они спекулировали, играли на понижение, именно они, эти барселонские американцы. Не без их усилий девять лет назад лопнул Барселонский банк. Эмиссия... Кто же виноват в эмиссии? После этого краха иностранцы стали осторожнее, и сразу ослабел приток капиталов. Наконец, чтобы вы узнали, кто такой дон Антонио, я вам расскажу один факт из его карьеры. За два года до войны он уговорил клир Барселоны продать ему собор двенадцатого века, продать на слом за сорок пять тысяч пезет. Он перепродал этот собор в Южную Америку, перепродал целиком, с витражами и чуть не с гробницами прелатов. Библиотеку и сундуки с манускриптами двенадцатого века он продал антикварам, а что те не взяли — сгнило в складах. Но это не принесло ему счастья. Он разорился на антрепризе, он был антрепренером корриды, то-есть боя быков. Теперь он продает автомобили. Все-таки это лучше, чем распродавать на слом памятники двенадцатого века. Спокойной ночи.

Очень скверно спится после трехсот пятидесяти километров пути в автокаре. В полуяви и полусне продолжаешь чувствовать сотрясение рессор и дрожь и шум мотора и в темноте сквозь сон все еще видишь зубчатые горы, гору-пилу Монтесерат и желто-серую громаду монастыря и даже черный лик Монтесератской девы. Все дрожит и мелькает и колеблется — барселонский американец, покупающий на слом старинные соборы, и он же, пускающий на ветер миллион в антрепризе боя быков. Народ, поющий и танцующий хоту в честь «Вирхен дель Пилар», и народ, убивающий кардиналов. Филипп Второй — убийца, инквизитор и тон-

кий ценитель итальянской живописи и, наконец, инквизитор Валенсии, инквизитор, нюхающий розу.

VI

Триста двадцать километров от Сарагоссы до Мадрида. Последняя зелень, последние сады вокруг Сарагоссы и длинный подъем на плоскогорье. желто-серое, коричневое и темно-красное в середине пути. Впереди земля цвета свернувшейся крови, и все вокруг принимает этот же цвет: стены приземистых и осевших домов, лица людей, покрытые пылью равнин и сожженные солнцем. Даже небо на закате принимает этот преобладающий в пейзаже медно-красный оттенок. Вы начинаете понимать, почему желтый и красный — национальные цвета Испании. Это высохшая мертвая земля — Новая Кастилия. Иногда равнина, коричнево-бурая даль, замыкается цепью холмов, и на обрыве встают разрушенные зубчатые стены и кубические башни — память о пятивековой борьбе христиан и мавров. Деревня у подножья скалы, несколько разбросанных в беспорядке низеньких, толстостенных домов, притаившихся, искорных, залуганных хищниками из сторожевой башни. Угрюмо и независимо поднимаются над деревней массивы собора и серый клуб колокольни. На закате два повелительных, повторяющихся коротких удара зовут крестьян в церковь. Здесь жизнь остановилась, здесь пятнадцатый век. Тощий мул, привязанный к врытому в землю столбу, медленно описывает круги по рассыпанному связкам колосьев. Так молотят хлеб. И земледелец, тоже тощий, высохший, с ввалившимися щеками, с небритой седой щетиной на подбородке, безучастно и жестоко хлещет кнутом мула. Суровая, печальная, безнадёжная страна Новая Кастилия.

Арагонец понимает мой взгляд и говорит:

— Нищета... Крестьяне безграмотны, покорны и несчастны. Они работают с одиннадцати утра и до одиннадцати вечера. Это им дает две-две с половиной пезеты в день. Что они едят? Утром, на заре, стакан отвратительной

бурды — местной водки. В полдень завтрак. Два томата и стакан вина. Ужин — те же томаты, маслины и лук, сваренные в роде супа. Вот и все. Проклятое место. Это не Андалузия или Каталония. Но даже там вы увидите пропасть между городскими магазинами и люкс-автомобилями и деревней. Страна контрастов. Богачи и нищие, очень мало людей со средним достатком. Каждый иностранец смотрит на Испанию, как на колонию. В Испании все ищут сверхприбыли. Если в Германии или во Франции их устраивает шесть-восемь процентов, здесь они хотят пятьдесят или сто. Промышленность дезорганизована забастовками. Иностранные компании упорствуют, торгуются из-за сантимов с забастовщиками, иногда терпят убытки, но не уступают. Нельзя «развращать» испанских рабочих. Испанские дивиденды должны быть на высоте. Иначе какой смысл инвестировать иностранный капитал в Испании.

Нас мучила жажда. Мы остановились в деревне у постоянного двора. «Cantina» — так называется буфет при постоялом дворе. На глиняном полу, в углу, положив голову на мешок, спал человек. Жандарм у стойки за стаканом вина, небритый и сонный, с любопытством разглядывал нас. Несколько крестьян и три испуганные старухи в черном стояли в дверях. Но в общем большая машина, грохочущий мотор и пассажиры не вызвали особенного внимания. Вокруг была сонная апатия, равнодушные усталости и мертвая тишь. На табуретке перед входом в кантину лежали треуголка и карабин жандарма. Легкой, крадущейся черной тенью прошел священник.

Счетчик машины отсчитывал километры. Поздно вечером мы пересекли небольшой городок. Городок спал. В кофейне на площади гасили огни и убрали с улицы столики. Редкие фонари светили в узких улочках. На окраине в слабом отсвете фонарей поднимались, как отвесные утесы, гигантские, пустые забытые здания. В двенадцатом веке здесь был университет — соперник университета в Саламанке. В университете было двенадцать тысяч студен-

тов. Кроме университета, в этом городе было тридцать восемь церквей, двадцать один монастырь и двадцать семь духовных школ. Город назывался Алкала де-Хенарес. Сейчас в Алкала де-Хенарес едва ли десять тысяч жителей. В этом городе родился Сервантес.

VII

Мы приближались к Мадриду. Был второй час ночи. Сильные фонари автокара на полкилометра освещали дорогу впереди. Но это была однообразная, гудронированная дорога, унылое, сожженное солнцем плоскогорье и тихие, спящие деревни. Все одно и то же: покосившаяся белая стена — ограда кладбища, серый, точно сложенный из геометрических фигур, из пирамид и кубов собор и скудная зелень. Затем пошли большие пригороды — светло-зеленые отсветы ацетиленовых фонарей в кафе и довольно много народа на улицах в этом часу ночи. Потом появились электричество, автомобили и велосипедисты. Пригороды переходили в город. И город был Мадрид, столица Испании.

Очень странно среди нищего, выжженного солнцем, обветренного камня, среди сурового и необъятного плоскогорья открыть большой город — центр металлургической и химической промышленности, железнодорожный центр, узел всех железнодорожных путей сараны. Город вырос на граните, как вырос на болоте Санкт-Петербург, теперь Ленинград. Камень — основа трона королей Испании, трона, «который должен быть первым после престола всевышнего». Смешно, что до сих пор Мадрид официально не называется ни городом, ни столицей. Он официально именуется «вилла» или иногда «corte» — двор, придворная резиденция. Но так как в Мадриде действует и из Мадрида приводит в движение жизнь всей страны старая и громоздкая бюрократическая машина, здесь живет девятьсот тысяч людей и здесь промышленный и железнодорожный центр Испании. Ни убийственный климат, ни жестокие ветры, которые дуют от горного хребта Гвадарамы, ни

шестьсот метров над уровнем моря и отсутствие большой реки не остановили заселения и роста Мадрида. Ручей Манзапарес до сих пор служит предметом насмешек, — говорят, что он лучше всех больших рек, потому что «судоходен для экипажей и всадников». В 1921 году его бетонировали и превратили в канал. Мадрид потерял колоритную достопримечательность — мутный и канризный ручеек, судоходный для экипажей. Мадрид очень изменился за последний век и особенно за последнее десятилетие. Старый Мадрид почти перестал существовать. Осталось несколько улочек близ «плаца Майор» и обломки старых кварталов возле «Пуэрта дель Соль». Как все страны, оставшиеся нейтральными во время мировой войны, Испания нажилась на торговле с воюющими государствами. У новых богачей оказались свободные деньги. Железо-бетонные каркасы воздвигались на месте старых домов, широкие улицы прокладывались на развалинах старого Мадрида, и четырнадцатизэтажные небоскребы стали рядом с соборами и колокольнями шестнадцатого века. Нет ни серенад, ни национальных костюмов, ни всадников, ни экипажей на «Пасеео Каstellана». И все-таки город не похож на европейские столицы, и все-таки это — не Париж, не Берлин и не Лондон.

В два часа ночи мы были в Мадриде. Мы пересекли «Кале Алкала» и «Пуэрта дель Соль». Улицы и знаменитая площадь были освещены, как театральные фойе. Это было похоже на антракт во время бала. Точно сию минуту перестал играть оркестр, и танцующие остановились там, где их застал танец. Пары и группы стояли на тротуарах и посередине улицы и площади. Радиаторы осторожно двигающихся машин раздвигали толпу. На «Пуэрта дель Соль», овальной и не очень большой площади, в полном бездельи и покое, расставив ноги и заложив руки за спину, стояли тысячи людей. Это была ночь накануне тиража государственной лотереи. Старухи, девочки и мальчишки, надрываясь, кричали во всех концах площади, предлагая лотерейные билеты. Все слоняю-

щиеся по площади, все гуляющие уже давно были заинтересованы в лотерее. Офицеры и священники, и полицейские, и проститутки, и чиновники, и сутенеры, и сами продавцы — все уже имели пятые и четвертые и десятые доли билетов, но продавцы орали и перекликались и кружили по площади и городу. Так было всю ночь до рассвета и утреннего дождя. Часы на башенке «Гобернацион», то-есть министерства внутренних дел, показывали два, затем три, затем четыре часа ночи. Бал продолжался. Бездельники циркулировали по «Пуэрта дель Соль». Одинокие женщины нагидавались на одиноких мужчин. Официанты, звеня ложечками, носились по верандам кафе, и люди продолжали в невероятном количестве глотать разноцветное мороженое и разноцветные напитки. Это был не праздник, не карнавал в дни пасхальной недели, — это были будни.

В гостинице в третьем часу ночи нас приняли так, как если бы мы явились среди дня. Доктор Ганс Гейнце потребовал ужин. Хозяин извинился, что ужин состоит из холодных блюд. Повар ушел четверть часа назад. «Мадрид живет ночью» — укоризненно сказал доктор Гейнце. «Мадрид живет ночью» — сказал он мне, и мы после трехсот-шестидесяти километров пути в автомобиле вышли на кале Майор.

Доктор Гейнце открыл дверцу первого попавшегося такси и, не сказав ни слова, сел, указав мне место рядом. Опять в этом не было ничего удивительного. В Москве ездят «дышать воздухом» в Сокольники, в Париже ездят в Булонский лес, в Берлине — в Грюневальд, в Испании — в Барселоне, Мадриде, Севилье — ездят без определенной цели. Трудно себе представить, чтобы люди, например, ездили кататься в такси взад и вперед по бульварному кольцу в Москве, или по Курфюрстендамм в Берлине, или вообще по Большим бульварам в Париже. Кому охота дышать бензином и пылью? В Испании люди катаются именно по главным улицам. Дамы из так называемого общества пешком не ходят, — это считается неприличным, — они катаются в автомобилях, собствен-

ных и наемных, с мужьями и родителями. Похоже на то, как в бывшем Петербурге ездили на Стрелку высматривать женихов. Не сказав ни слова, мы сели в мадридский таксомотор. Шофер посмотрел на нас и, тоже не сказав ни слова, дал полный газ. Мы поехали по шумным и неугомонным бульварам, покружились вокруг «Пуэрта дель Соль» и остановились в коротенькой и узенькой улице. Улица была темна и по сравнению с центром пустынна. Только бар и кафе светились друг против друга на двух углах. Шофер остановил машину и показал на счетчик. Я посмотрел на доктора Гейнце, доктор, не сказав ни слова, вышел и расплатился. Мы были одни в пустынной и темной улице и вопросительно посмотрели друг на друга. Ночной сторож с коротенькой средневековой пикой и связкой ключей подошел к нам и гостеприимно открыл какой-то под'езд. Доктор Гейнце с независимым видом прошел вперед. «Секундо» — сказал ночной сторож и залер за нами дверь. «Секундо» означало «второй этаж». «Вероятно, итерный дом, — невнятно произнес доктор Гейнце, — или...» Оказалось именно «или». Нам открыла дородная дама с розой в волосах. Пять других дам такой же толщины сидели под уютным зеленоватым абажуром и следили за шестой, раскладывающей пасьянс. Они встали, как солдаты по команде. «Грациас, мучас грациас!» — воскликнул, отступая, доктор Гейнце. «Мучас грациас» означало «большое спасибо». Сторож с пикой вынул нас и кинулся открывать соседний под'езд другим, только что под'ехавшим в таксомоторе. Дело в том, что в Испании у ночных сторожей ключи от всех дверей их улицы или квартала. Доктор Гейнце был смущен, как смущаются в подобных обстоятельствах в его двадцатитрехлетнем возрасте. У него пересохло в горле. Световая стрела мигала над входом в бар. Мы вошли. За стойкой и за столиком сидели одни женщины. Их было десять или пятнадцать. Одни женщины, ни одного мужчины, и все женщины аналогичного вида с дамами в «секундо», то-есть во втором этаже соседнего дома. Доктор Гейнце опять дал задний ход, мы от-

ступили на улицу. Из этой темной, по достаточной гостеприимной улицы мы вышли на широкую и знакомую кале Майор. Другой такси нас отвез на Пасео Розалес, в роде Монпарнаса или Монмартра в Париже. Здесь не было откровенной неприужденности, которая нас перепугала на других улицах. Под открытым небом на эстраде размером с большой барабан танцевали дамы в андалузских гребнях и кружевных шалях. Танцевали они тяжело и плохо, — дело было не в танцах. Любопытный доктор Гейнце обнаружил зеленые фалсерные беседки, в которых за закрытыми ставнями уединялись петернеливые парочки. У беседок не было котлов, соседи этого танцевального учреждения висели на подоконниках пятиэтажного соседнего дома и следили за этими неприветливыми развлечениями. В четыре часа почти доктор Гейнце окончательно потерял вкус к почной жизни Мадрида. Мы заснули в своих комнатах, стараясь не слышать воплей продавцов лотерейных билетов. Под окнами еще долго шуршали шаги, еще долго смеялись и взвизгивали донья Клары, Карменситы и Долорес и жрали благородные гидальго. Утром доктор Гейнце ознакомился с системой работы в мадридских правительственных учреждениях и банках. Официально все открывалось в десять утра и закрывалось в час. Но из этих трех рабочих часов один час уходил на интимные и личные надобности чиновников и служащих, в общем по-настоящему работали не более часа в день. Затем учреждения были открыты еще один час — между четырьмя и пятью часами дня, но рассчитывать на этот час для того, чтобы устроить свои дела, было по меньшей мере наивно. Утомление и явная усталость от непосильной работы были написаны на лицах чиновников. Я вспомнил знакомого с испанскими нравами француза. Мы ждали испанскую визу, и виза запаздывала, и тогда он сказал: «Может быть, вам и не дадут визы. Но не потому, что министерство имеет что-нибудь против вас лично, а просто потому, что в Мадриде слишком жарко, чтобы запясться вашим делом...»

VIII

Следующий день было воскресенье. В воскресенье по всей Испании происходят бои быков. В Мадриде две арены, и одна арена в предместье Тетуан. Впрочем, в Тетуане происходит не серьезный бой быков, так называемые «новиядос». Там убивают трехгодовалых бычков молодые матадоры. Только на больших аренах они получают право называться «торреро». Это называется получить «альтернативу». Бой быков начинается в половине седьмого, приблизительно на закате солнца, и продолжается два—два с половиной часа. Так как это зрелище происходит всего раз в неделю (за исключением праздника пасхи, когда бои идут всю неделю), то воскресенье, день отдыха, неизменно связан с представлением о бое быков. В субботу развешивают афиши и плакаты почти одного и того же содержания, с головой быка над текстом или с рисунком в красках, изображающим севилянку в национальном андалузском костюме и перед ней в картинной позе торреро в «капе», т. е. плаще и со шпагой. Все это прочно вошло в быт, это — не зрелище для иностранцев, а жестокая и кровавая забава, которой не чужд весь народ, все классы населения. «Коррида» играет важную роль в испанском быту. Она напоминает о себе всюду, во всех кафе и табачных лавочках, где, начиная с четверга, уже продают билеты на корриду, на улицах, в рабочих кварталах, где дети играют в бой быков. Для этого есть специальные игрушечные приспособления: голова быка из папье-маше, которую надевает на себя один из играющих, и деревянные шпаги и «мулеты» — флаги, которыми дразнят быка, копия настоящей мулеты. Но в трамваях с плакатом «cor los toros» т. е. «к быкам», я видел главным образом молодых рабочих. Пожилые и серьезные, когда речь заходит о «корриде», говорят с некоторым смущением: «Вы еще не видели боя быков? Ну, что ж, посмотрите... Один раз можно...» — и переводят разговор на другую тему. Впрочем, этот же серьезный человек признался мне, что забастовочный ко-

митет в одном городе в Астурийской провинции после того, как было вынесено постановление начать забастовку, в полном составе отправился смотреть бой быков.

В этот день я оказался один; доктор Гейнце ушел из гостиницы утром, не оставив указания, как его найти. Я предполагал смотреть бой быков только в Севилье. Севильская арена — это университет корриды, так сказать академия. Поэтому я отправился в длительную прогулку с испанским немцем, т. е. шофером Карлосом, и его приятелем, черным, как негр, весельчаком, механиком из гаража при гостинице. Но так как при всех обстоятельствах в Мадриде невозможно миновать площадь Пуэрта дель Соль, то мы в конце концов очутились на этой площади. Днем она выглядела прозаически, башенка на Палаццо Гобернацион напоминала бывший Николаевский вокзал в Москве, и толпа была серая, но бездельников на площади было достаточно, и мы оказались в их числе. Как раз в ту минуту, когда мы уже собирались разойтись по домам, я услышал меланхолический оклик за спиной и увидел доктора Гейнце и двух незнакомых мне людей. Он тоже не мог миновать Пуэрта дель Соль. Как и следовало ожидать, мы встретились.

— Познакомьтесь, — сказал доктор Гейнце, — мой компатриот — профессор, доктор Мюллер, профессор немецкого языка в университете в Гренаде. Его спутник — дон Мигуэль Авила. Он интересуется вами. Дело в том, что он совсем недавно выпущен из тюрьмы.

На стреляного воробья, советского путешественника, такая рекомендация производит обратное впечатление. Доктор Мюллер был типичный провинциальный «гелертер» по наружности, но дон Мигуэль Авила — старомодный щеголь в визитке и сомбреро — был невелик, сух, черен, смотрел как-то боком на людей и видом и походкой напоминал птицу. Я был не один, со мной были немецкий испанец Карлос и механик из гаража, имени которого я не знал. То обстоятельство, что мы стояли среди улицы, загромождавая тротуар, никого не удивляло, но со стороны это,

вероятно, походило на митинг подозрительных иностранцев.

— Я позволю себе пригласить моих уважаемых собеседников ко мне, — сказал профессор немецкого языка в Гренаде. — К сожалению, ничего, кроме плохого вина, я не смогу предложить гостям.

Мне интересно было посмотреть, как выглядит испанский жилой дом, другие не возражали.

— Дон Отто Мюллер, — медовым и тихим голосом сказал по-немецки Мигуэль Авила, — я не причиню вам никакого беспокойства. Я купил моему шпиону место на корриду, и он оставил меня на сегодняшний день в покое. Посторонние шпионы по случаю воскресенья не станут утруждать себя моей особой.

И, церемонно пропустив нас вперед, он все же предусмотрительно на некотором расстоянии последовал за нами. Мы довольно долго шли внешними бульварами, называемыми «*rondas*». Под шатрами широколистных пальм на стульях сидели дородные матроны, матери семейств, и довольно тощие отцы, а далее потомство по нисходящей линии, дочери с женихами, сыновья с невестами, — словом, семейства мадридских обывателей были представлены в полном составе на бульварах. Я не ошибусь, если скажу, что здесь было и старшее поколение — старики и старухи, потому что по традиции мадридские обыватели выходят на прогулку семьями, семьями ходят в кинематографы и сидят в кафе. Но нас не очень привлекал и радовал этот чудом сохранившийся провинциальный быт в столице Испании рядом с шестнадцатизэтажными новенькими небоскребами. Мы свернули с бульваров и попали в кварталы, называемые «*barrios bajos*» — «барриос бахос».

Есть нечто общее между бедными рабочими кварталами всех европейских столиц. Есть общее между «Норденом» в Берлине, кварталами у Бастилии в Париже и «барриос бахос» в Мадриде. Конечно, в поисках жанра вы могли наткнуться на исподнее белье, низко развешенное на веревках, протянутых поперек улицы, вы могли увидеть сол-

дата с гитарой перед дверями кабачка, двух сосредоточенных игроков в домино на пороге дома, но в общем это был стандарт рабочего квартала, стандарт, принятый для всех европейских городов. Стиснутые, накренившиеся дома, облупившиеся грязно-серые фасады, покосившиеся оконные рамы, грязь, сор, шелуха на выпирающих булыжниках мостовой и омерзительный смешанный запах гниющих отходов, светильного газа и чуть не падали. Лица людей, скулы, обтянутые кожей, желто-серый цвет лица, лихорадочный блеск глаз, хриплые, надорванные голоса — все это было общее, общее для интернационала нищеты, общие черты для голодной, забитой и загнанной расы труженников, которые составляют большинство в Мадриде и Париже, и Берлине, и Лондоне, и Нью-Йорке.

«Барриос бахос», «барриос бахос», — кто сказал, что в двадцати минутах отсюда кале Алкала, и кафе, и витрины, и вечный карнавал Пуэрта дель Соль, площади солнца? Кто это сказал?

Мы остановились. Дон Мигуэль Авила вошел первым в старый, серый и сырой дом. Через минуту мы последовали за ним.

IX

Квартира в этом доме особого интереса не представляла. На лестнице было темно и пыльно, как на черных лестницах некоторых наших сильно уплотненных домов. Запахи были несколько другие — пахло не кошками и капустой, а оливковым маслом и, конечно, испанским луком. Но масштабы комнат были действительно необыкновенны — три комнаты, которые занимал профессор доктор Мюллер, уместились бы в двух купе спального мягкого вагона. Меня потрясли обои, малиновые и лиловые и золотые в одно и то же время, притом с несуществующими в природе цветами и птицами. Среди этих цветов, птиц и силуэтов собственного изготовления жили доктор Мюллер, его тихая и болезненная жена фрау Минна и при них пока не подававший признаков жизни рахитичный ребенок.

— Я переехал из Гренады в Мадрид месяц назад, — обстоятельно изложил профессор Мюллер. — Должен вам сказать, что в университете в Гренаде нашлось всего восемь человек, желавших изучать язык Гете и Шиллера. Эти восемь студентов никак не могли прокормить меня, Минну и Петера. И вот мы в Мадриде. Что ж я вам могу еще сказать...

— Герр доктор-профессор Мюллер встретился со мной в Сан-Исидоро. Вы понимаете — два немца на чужбине... Тем более два немца из Бадена... — Ганс Гейнце замолчал, потому что шесть человек старались разместиться вокруг крохотного стола, на пространстве одного спального купе. Особенно смущался атлетически сложенный механик. В конце концов все сели, и фрау Минна сняла со стены два тяжелых подвешенных на крюках глиняных кувшина. Затем она перелила вино из этих кувшинов в странный, уже неоднократно замеченный мной в Испании стеклянный сосуд, у которого вместо сика был острый конус с маленьким отверстием. Другое отверстие в этом сосуде затыкают большим пальцем, затем запрокидывают голову и льют вино или воду с высоты тоненькой струйкой прямо в горло. Это избавляет от необходимости заботиться о стаканах, сосуд идет в круговую, но при неумении пользоваться этим странным сосудом человек может поперхнуться и наделать хлопот окружающим.

— Вы русский? — начал с сакраментального вопроса похожий на птицу Мигуэль Авила. — Мне говорил дон Ганс Гейнце, что вы живете в Москве. Я вам прямо скажу: я ненавижу большевиков. Взорвав право собственности, они тем не менее сохранили идею государства, машину государства. Нет, дорогие мои друзья, дело не в том, чтобы переменить гайки и заменить старых бюрократов пролетариями. Только через свободную федерацию труженников, свободную от государственного централизма, человечество придет к коммуне благоденствия. Сохранение хотя бы на время, на период строительства социализма, государственного ап-

парата есть опаснейшая ошибка. Живите, как птицы...

— Живить, як птици, — не выдержав, сказал я по-украински, и так как никто не понял, то я перевел, — живите, как птицы, — это был лозунг махновских идеологов. Дальше пришлось объяснить, кто такие были махновцы. Дон Мигуэль Авила выслушал, впрочем, не очень внимательно. Он сложил руки, опустил голову вниз и внимательно рассматривал свои длинные ногти.

— Дорогие друзья, — прервал он меня, — вы видите перед собой не агента политической полиции и не полоумного чудака. Я, Мигуэль Авила, просидел в тюрьмах Испании и Западной Европы и обеих Америк две пятых моей жизни. Мне пятьдесят один год. Считайте. Меня высылали последовательно из столиц всего мира. Я просидел пять месяцев в лондонской тюрьме за то, что произнес речь, восхваляющую «пороховой заговор», — если помните, дело идет о средневековой попытке взорвать на воздух членов английского парламента. За время режима диктатора я нахожусь в тюрьме столько же времени, сколько на свободе. Я вам могу дать точнейшие сведения о тюрьмах Буэнос-Айреса, Будапешта, Барселоны, Лондона, Парижа, Нидерландов и Канады. Когда в кинематографах Парижа показывали момент покушения на итальянского принца, я закричал: «Да здравствует убийца!» — и публика сломала мне два ребра и вывихнула руку. Но я плюю... я — профессиональный революционер при всех режимах, при всяком государственном строе, пока это — «государственный» строй.

— Вы — анархист! — обрадовавшись собственной догадке, воскликнул доктор Гейнце.

— Я — анархист-индивидуалист. Когда-то я был анархо-синдикалистом. Но теперь я плюю... Я плюю на них так же, как и на союз патриотов.

— Что такое союз патриотов? — спросил Гейнце.

— Партия Примо де-Ривера. Кроме жандармов и шпиков, диктатор оплачивает еще немногочисленную банду бездельников, изображающих партию.

Разве вы не видели афиш, плакатов и вывесок «Унион Патриотика»?

— Да, но я видел и газету, которая называется «Эль Социалиста».

Механик из гаража восторженно попросил шофера Карла перевести, о чем идет речь. До сих пор говорили по-немецки и по-французски.

— Я ненавижу социалистов, — сказал Мигуэль Авила. — Знаете ли вы, что диктатор с ними в отличных отношениях. Все ругают испанских социалистов, стало хорошим тоном ругать социалистов, но в сущности мы неправы. По существу их надо жалеть и опекать, как милых ночных девушек на кале Алкала. Существуют же патронаты для желающих вернуться к честной жизни ночных девиц. В конце концов следует устроить патронат для заблудших социалистов.

Шофер Карл перевел эту тираду механику. Оба искренне веселились.

— А, дорогие пролетарии, — вдруг довольно сердито обратился к ним Авила, — поговорим о вас... Это о вас говорил господин диктатор, что рабочие Испании стоят за него, что ваш прожиточный минимум возрос и что вы поддерживаете его, потому что он индустриализирует страну. Вы молчите? Молчание — знак согласия.

— Вы хотите, чтоб я заговорил, но кто же будет кормить моих двух мальцов?

Механик сопровождал эту реплику выразительной и общепонятной жестиком, в которой испанцы не имеют соперников.

— Может быть, вы хотите чтобы я лично поговорил с диктатором? — любезно осведомился Карлос.

— Вы живете в конституционной стране. Уважайте конституционные гарантии, — меланхолично пробормотал профессор Мюллер, обращаясь, повидимому, к Мигуэлю Авила.

— Я ненавижу конституцию. Я плюю на демократов. Меня раздражают эти ослы, которые пытаются защищать от диктатора конституцию. Знаете ли вы, сколько раз покушались на несчастную испанскую конституцию, знаете ли вы, господа иностранцы, сколько чернил и крови извели на этот клочок бу-

маги: первая конституция, обнародованная в Кадиксе в 1812 году, была уничтожена Фердинандом Седьмым. Вторая конституция «правительства Кортесов» была уничтожена интервенцией герцога Ангулемского в 1823 году. Затем конституция 1837 года, которую дали Испании Франция и Англия после первой карлистской войны и революции. Эта третья по счету конституция была заменена четвертой в 1840 году, когда при помощи генерала Эспартеро Кортесы испанский парламент заставил отречься регентшу королеву Христину. В 1845 году Испания получила пятую конституцию, при чем каждая последующая конституция была реакционнее четырех предыдущих. В 1868 году военный мятеж избавил Испанию от королевы Христины и пятой конституции.

Дон Мигуэль Авила вдохновился, речь его походила на профессорскую, корректную лекцию, а не на простую историческую справку.

— Шестая конституция существовала в короткое царствование короля Амедея. В 1873 году была провозглашена республика. Дальше идет диктатура умеренного республиканца Кастилара и военная диктатура генерала Павиа. Можете себе представить, что переживала во всех этих бурях знаменитая испанская конституция. В конце концов генерал Мартинец Кампос обрадовал Испанию королем Альфонсом Двенадцатым, закончив этим вторую карлистскую войну, и дал Испании восьмую или девятую конституцию с двухпалатной системой. Эту многострадальную конституцию и хочет в данный момент реформировать генерал Примо де-Ривера. Вы понимаете, дорогие мои, что мне нечего волноваться. Одной конституцией больше, одной меньше, — в конце концов что это значит для моей родины.

— Скажите, — вдруг прервал Мигуэля Авилу механик, — вы — анархист, это именно вы бросаете бомбы?

Мигуэль Авила поморщился, выпрямился и, упираясь подбородком в высокий накрахмаленный воротник, многозначительно произнес:

— Я плюю на динамит, я ненавижу бомбы. Я бросаю идеи, — он помолчал и вдруг сказал, сконфуженно и по-детски улыбаясь. — Представьте, именно этот вопрос мне задали шесть месяцев назад в префектуре, когда меня выслали из Парижа. В конце концов они отменили высылку, но я сам решил вернуться в Испанию. Когда мне объявляли об отмене высылки, я случайно увидел мое досье и характеристику начальника сюрте на полях. Рядом с моей фамилией было написано: «idiot sympathique et pas dangereux — «симпатичный и неопасный идиот».

Это развеселило всех. И, как всегда, после долгого и неудержимого смеха наступила длинная пауза. Я воспользовался этой паузой и сказал:

— Друзья, я почти месяц в Испании. Я встречался с разными людьми. Это были интеллигенты, буржуа, солдаты, рабочие. Все было достаточно откровенно со мной. У них не было причин скрывать от меня своих мыслей. Когда речь заходила о диктаторе, ни один из них не нашел оправдания тому обстоятельству, что этой страной управляет деспот, тупой жандарм в генеральских эполетах. Я не буду говорить о простом народе, но буржуазия тоже недовольна диктатурой. Рабочие бастуют, солдаты и офицеры устраивают военные заговоры и бунты, интеллигенция не перестает протестовать, как это ни смешно, даже король против диктатора... Тем не менее все остается попрежнему, тюрьмы переполнены, рабочие голодают, а газеты молчат. Все недовольны, все ропщут, а генерал Примо де-Ривера сидит на своем месте. Чем вы это объясните?

Мне ответили не сразу.

— Инерция, — коротко сказал Мигуэль Авила.

— Со штывками можно многое сделать, но на них нельзя сидеть, — ответил словами Бисмарка доктор Гейнце.

Но исчерпывающий ответ я получил только в январе 1930 года. Интересующихся отсылаю к газетам этого времени. Генерала Примо де-Ривера заменил генерал Беренгер.

Вино в кувшинах и стеклянных сосудах с носиками кончилось. Это оказало некоторое влияние на красноречие дона Мигуэля Авилы.

— Седьмой час, — разыскивая шляпу, сказал он, — в половине девятого мой сыщик вернется с корриды. У нас свидание в кафе Левант на кале Аренал. Кроме того, я должен составить короткую информационную сводку. Не беспокойтесь, дорогой хозяин, ваш дом в ней не будет упомянут. До завтра. А манана.

— Вы сказали — информационную сводку? — заинтересовался доктор Гейнце.

— Да. Дело в том, что, когда я отпускаю моего сыщика, я составляю для него небольшую сводку, я указываю, где именно я был в этот день. Это очень удобно, не правда ли?

Он ушел, помахивая тростью, театрально взмахнув своей широкополой шляпой, настоящим сомбреро, которое почти не встречаешь в Испании, он ушел первым — старым щеголем середины прошлого века.

X

Вечер мы провели вчетвером: доктор Гейнце, Карлос, механик и я. И мы, два иностранца, кажется, поняли очарование этих широких и шумных бульваров, эту неугомонную ночную толпу под шатрами пальм на пассае Каstellана, пассае Розалес. Мы чувствовали жизнерадостность простого и сурового народа и его трогательное внимание и вежливость по отношению к чужеземцу. Мы сидели в прохладных погребках, где кружилась голова от запаха малаги, мы заходили в дешевые кинематографы, где показывали фильмы с «другом бедных» Чарли, «Карло Чаплин».

На кале Майор механик, очевидно, желая мне, как русскому, сказать приятное, показывая на балкон одного дома, прошептал: «Иси... уна бомба... эль рей Альфонсо трезе». То-есть: «Отсюда бросили бомбу в юрора Альфонса Тринадцатого».

Мадрид, Октябрь, 1929 г.

Из прошлого

НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА „ПАМЯТИ ЛЕНИНА“

Предисловие

На следующий день после кончины В. И. Ленина рано утром на квартиру к Валерию Яковлевичу Брюсову, бывшему в том день больным, явился товарищ, назвавшийся представителем Моссовета, сообщил о кончине Ленина и попросил экстренно написать кантату на смерть вождя.

Брюсов согласился. К 3 часам дня 22 января 1924 г. кантата была готова.

В ближайшие дни она была издана Комиссией помощи детям при президиуме Моссовета с музыкой М. М. Багриновского. Но издание было снабжено таким предисловием, что Главлит не разрешил выпуск издания. Брюсов долгое время спустя с величайшим возмущением говорил об этом «нелепейшем» предисловии и его политически безграмотном авторе.

В эти же печальные дни (24 января) Брюсовым по просьбе Большого театра были написаны слова к «Реквиему» — музыка Моцарта.

Но и тут поэта постигла неудача: исполнение этого траурного произведения было отменено, и таким образом публикуемый теперь нами «Реквием на смерть В. И. Ленина» видит свет впервые.

В связи с работой Брюсова над словами на музыку интересно отметить вообще его отношение к музыке.

Сестра поэта Над. Як. Брюсова (музыкант по образованию) вспоминает, что в детстве Валерий Яковлевич учился игре на рояле, но вследствие полного отсутствия интереса к этим занятиям их скоро бросил. В тех же воспоминаниях Н. Я. Брюсова указывает, что «...уменье сыграть по нотам мелодию или простое последование аккордов у него (В. Я. Брюсова) все-таки осталось... Попробовал и сам сочинить мелодию к своему стихотворению из «Me eum esse»:

О плачьте, о плачьте
До радостных слез.

Играя эту мелодию на рояле и был ею очень доволен...

Валерий Яковлевич говорил, что в музыке ему понятны только крайности: или Моцарт, совсем простой и ясный, или Вагнер, предельно сложный. И лишь на-днях в частной беседе Н. Я. Брюсова рассказывала о том, что Моцарт, Вагнер и Гайдн были любимыми композиторами Валерия Яковлевича.

Тем интереснее нам отметить факт работы Брюсова над словами на музыку именно Моцарта.

Печатаемое ниже письмо В. Я. Брюсова, написанное на листе почтовой бумаги, адресовано кому-либо из ответственных руководителей газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» (точно кому — выяснить не удалось). Найдено оно в архиве поэта неотправленным адресу, но содержание его стало известно «Глубокоуважаемому Товарищу» или из другого письма к нему, или в результате устных переговоров, так как в «Известиях» мы находим факты, подтверждающие это.

Черновой набросок стихов, использованием которого недоволен Брюсов, есть стихотворение «Эра», помещенное в однодневной газете ряда литературных организаций «Ленин», вышедшей 28 января 1924 года. Согласно просьбе Вал. Як., содержащейся в письме, стих. «Эра» в исправленном виде было напечатано еще раз 1 февраля 1924 года в № 26 «Известий» с соответствующим примечанием редакции.

Что касается упоминаемых в письме двух стихотворений, предлагаемых автором к напечатанию в «Известиях», то одно из них — «С. С. С. Р.» — помещено в № 30 от 6 февраля 1924 г. Название же другого, равно как и его судьба, нам неизвестны.

Указание Брюсова в письме об обращении к нему представителя Моссовета по поводу кантаты — «в самый день кончил Вл. И.» — ошибочно, так как, во-первых, упомянутый представитель явился к Брюсову утром, и, во-вторых, сама кантата датирована 22 января, между тем как смерть Ленина последовала, как известно, в 6 час. веч. накануне.

И КОРОТКИН.

Глубокоуважаемый Товарищ!

Прежде всего, извиняюсь, что обращаюсь к вам письменно. Но вот уже больше двух недель, как я болен и не могу выходить из дому. Во-вторых, извиняюсь, что займу ваше внимание на несколько минут сообщениями о самом себе.

Трагические дни смерти и похорон Владимира Ильича Ленина были для меня крайне неудачны. Я был болен, должен был оставаться в комнате, не мог быть среди товарищей, не мог принять никакого личного участия в происходившем. Это—первое. За ним следует второе, третье, четвертое.— В самый день кончины Вл. И. ко мне обратились представители Моссовета с просьбой написать «кантату», которая будет немедленно положена на музыку и, может быть, будет исполняться на похоронах. Несмотря на болезнь, я тотчас принялся за работу, написал эту «кантату», в которую постарался ввести мотивы «похоронного марша» и «Интернационала». Моссовет издал мои стихи с музыкой т. Багриновского, но... не присоединил к брошюре нелепейшее предисловие, не знаю, кем написанное. В результате Главлит арестовал эту брошюру и запретил ее распространение. Это—второе.

После того ко мне обратился Большой театр (т. Малиновская). Было решено исполнить на похоронах Реквием

Моцарта, и меня просили написать к нему новые слова. Я поработал над этим без перерыва целые сутки. Когда работа была окончена, мне объявили, что Реквием отменен...

Наконец, я получил возможность написать то, что сказать хотелось мне лично. Я набросал стихотворение и предполагал предложить его вам для «Известий». Но ко мне приехали представители литературных организаций, готовившие газету «Ленин». Эти тов., так сказать, «силой» вырвали у меня черновой набросок стихов, и в таком виде он напечатан.

Теперь, после этого изложения (извиняюсь, что слишком длинного) моих неудач, я обращаюсь к вам с просьбой: Не найдете ли вы возможным перепечатать в «Известиях» это мое стихотворение, но уже в исправленном виде (одна опечатка в «Ленине» даже искажала смысл). Мне лично это было бы очень дорого, а стихи с самого начала я думал предложить вашей оценке. Прилагаю исправленный текст.

Вместе с этим предлагаю вашему вниманию еще два стихотворения: может быть, вы найдете уместным поместить их в дальнейших №№ «Известий».

С глубоким уважением и коммунистическим приветом

Валерий Брюсов.

28 января 1924 г.

РЕКВИЕМ НА СМЕРТЬ В. И. ЛЕНИНА

(На музыку Моцарта).

Все голоса: Горе! горе! умер Ленин.
Вот лежит он, скорбно тленен.
Вспоминайте горе снова!
Горе! горе! умер Ленин.
Вот лежит он, скорбно тленен.
Вспоминайте снова, снова!
Ныне наше строго слово:
С новой силой, силой строй сомкни!
Вечно память сохрани!

Сопрано, тенор, бас: Вечно память, память вечно — .

Альт: Вечно память Ленина —

Сопрано, тенор, бас: Сохрани!

Альт: Храни!

Все голоса: Память!

Валерий Брюсов.

24 января 1924 г.

Литература и искусство

1. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. Памяти Маяковского.—2. Ю. ДАНИЛИН. Книга о Сакко и Ванцетти.

1. МАЯКОВСКИЙ

(памяти поэта)

Вяч. Полонский

1. «ОКРОВАВЛЕННЫЙ СЕРДЦА ЛОСКУТ»...

1

Ему самому это казалось, невероятным.

Он здесь застрелился у двери любимой.

Кто,
я застрелился?
Такое загнут.

И однако: нелепость — непреложный факт. Язычник, революционер, материалист, он умер как бы наперекор себе, вздорно, парадоксально. Ошарашивать, поражать — это было в его натуре. В таком лишь смысле смерть Маяковского не выпадает из его стиля. Она пришла неожиданно, как катастрофа. Кто бы мог подумать!

— Прекратите,
бросьте!
вы в своем уме ли?

Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?

Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.

Сейчас, когда горяча зола, бывшая недавно Маяковским, все, что пишется о нем, — только догадки и опыты.

Мой крик в граните времени выбит
И будет греметь и гремит...

Маяковский.

Лишь позднее, когда творчество его будет изучено до истоков, они станут бесспорными. И настоящие строки не претендуют быть ни характеристикой Маяковского-поэта, ни портретом Маяковского-человека. Это — заметки читателя, много в Маяковском любившего и много в нем отрицавшего. Его можно было любить. Его можно было отвергать. К нему нельзя лишь было оставаться равнодушным. Это потому, что в поэзии его горел настоящий огонь, обжигавший и не остывающий.

2

В тысяча девятьсот шестнадцатом— за несколько месяцев до революции— вышла поэма Маяковского «Человек». Как и другие его произведения дореволюционной поры, она пронизана глубочайшим пессимизмом.

Погибнет все.
Сойдет на нет.
И тот
Кто жизнью движет
Последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей
стелю
огнем обвит
на несгорающем костре.
немыслимой любви.

Дальше в эпилоге на одиннадцати коротких строчках с обычной для него сжатой силой он говорил, не договаривая, о бездомности и о том, что много путей, а пути нет, о мире, который тысячами церквей тянет «со святыми упокой».

Похоже ли это на горлана-главаря, автора «Мистерии Буфф» «150.000.000», «Левого марша», «Ленина», «Хорошо»? Перед нами — поэт другого мира, иных образов, чужих страстей.

Все превредлюбноное его творчество — а писать он начал в 1909 году — насыщено мотивами, звучащими в «Человеке». За буффонадой, сопутствовавшей каждому его шагу, за шумным, эстрадным, дубльчиным, скрывалось глубокое и сложное чувство. Он не так был прост, как казалось многим, и «Простое, как мычание» — заглавие первого сборника стихов, — дерзко брошенное им читателю, иронизировало над его, читательской, простотой. Он поражал не только своеобразием формы, оригинальностью синтаксиса, смелостью инверсий, непривычной вещностью образов; он «задирает» так называемых ценителей изящного нарочитой, оскорбительной грубостью своей поэзии, жестокой остротой мотивов.

Он был вождем футуристов, устроивших в тогдашней литературе настоящее восстание против канонов и вкусов, царивших в салонах, журналах, газетах, еженедельниках. Нет ничего удивительного, что Маяковский — самый талантливый из футуристов — был встречен в штыки. И надо было обладать незаурядной душевной силой, фанатизмом упорства, необычайной верой в себя, чтобы, проходя сквозь строй издевательств, не сдать позиций, как то делали другие.

В его фигуре, гигантском росте, в плечах саженных, в широких жестах, в громовом голосе, в развязной манере было что-то, выходившее из ряда. Он всегда переходил через край. В самых просторных рамках ему было тесно. Всегда всего ему было мало. Он хотел невозможного. Его чувства были преувеличены. Он был гиперболичен в жизни и в творче-

стве. Гиперболичны его образы, эпитеты, метафоры, сравнения. Люди и страсти в его сознании принимали грандиозные очертания. Если он писал о любви, — это была «громадой». Он подмечал улыбки дремлющих, а пустыня показалась ему однажды бельмом в чем-то огромном глазе. Он писал о дымящихся ноздрях вулканов, о кострах разожженных созвездий; видел горда повешенными в петлях облак; свои собственные наслезненные глаза он сравнивал с бочками, глаза женщины сравнил однажды с ямами двух могил, и если употреблял изредка уменьшительные, — получалась опять-таки гипербола: «город, вытрепав ручки-флаги» — так преувеличенно ощущал он мир. «Мы солнца приколем любимым на платье, из звезд накуем серебрищихся брошек» — такую судьбу готовил он солнцу и звездам, а в другом месте заявил:

Перья лияющих ангелов бросим любимым на шляпы,
Будем хвосты на боа обрубать у комед,
Ковыляющих в ширь.

У него есть удивительное стихотворение о самом себе: если бы я был маленький, как Великий океан, нищ, как миллиардер, косноязычен, как Данте или Петрарка, тихий, как гром, тусклый, как солнце, — кому, кроме него, могли притти в голову такие чудовищные уподобления! Для него это было в порядке вещей, и здесь нечему удивляться. «Моих желаний разнузданной орде нехватит золота всех Калифорний» — читаем мы в одном стихотворении, а в другом он писал, что само солнце померкло бы, если б увидело «наших душ золотые россыпи» — так они ему казались огромны, неисчислимы. Он не умел считать небольшими числами: он привык только на тысячи, миллионы, — «миллионы огромных чистых любовей и миллион миллионов маленьких грязных любя». Если он прильнет к хорошеньким лицам, их будет тысячи. Иродиада оплатит голову Крестителя тысячу раз. Наполеон как-то один раз чуме приблизился тропом, — он, Маяковский, каждый день идет к зачумленным по тысячам русских

Яффа. Наполеон один раз, не дрогнув, стал под пули,—он, Маяковский, в одном лишь июле прошел тысячу Аркольских мостов, а в сердце его, выжженном, как Египет, тысяча тысяч пирамид. В разных местах мы читаем о тысяче тысяч дорог, и тысячесильных дизелях, и тысячевертных жилах, и тысячеруких врачах, слышим грохот и громы миллиардных армий, и удары тысячи ног, за его шагами миллионном кровинках устелется след — все это я взял из одного только первого тома, но в какую книгу ни взглянем, — тысячи, миллионы, — миллиарды — огромно, широко, гигантски преувеличено.

Гипербола была доминантой его стиля.

3

Таково было его зрение романтика. Кажется, будто он увеличительным глазом смотрел на землю сверху, потому-то так просто наблюдал, как прилизанная треплется мира чолка и как горит материк, как моря блещет блюдо. Он видел богадельни идущих веков, лбы городов, лысое темя времени, седые волосы рек. Это совершенно в его стиле было заявить, что гремит прикованное к его ноге ядро земного шара, или: «я показал на блюде студня косые скулы океана» — океан для него был предметом обычного, так сказать, обихода. Этому гиперболизму обязаны мы великолепными образами: «в небо лострой подвешена зажженная Европа». Надо обладать особым зрением, чтобы увидеть, как «в ушах оглохших пароходов горели серьги якорей». Его страсти были так же гиперболичны, как образы, — гиперболизм образов и страстей связан неразрывно; и если он любил, это была немислимая любовь, — кто из читавших «Об-

лако в штанах», «Флейта позвоночника», «Человек», «Про это» станет спорить! Его любовная лирика мучительна до крика, до истерики, — так преувеличено в его поэзии чувство неразделенной любви. «Мария! Имя твое я боюсь забыть, как поэт боится забыть какое-то в муках ночей рожденное слово, величием равное богу».

Образность Маяковского, изобразительный и выразительный строй его стихов пронизаны гипербо-

лизмом. Если лишить гиперболизма его страсти, «Облако в штанах» потеряет свою характернейшую особенность. Поэма поражает именно необычайной преувеличенностью чувства: это и придает ей трагический характер. Тут собственно и таится причина трагедии. Любовь — постоянная лирическая тема поэзии. У Маяковского она оказалась проклятием: «Любовь! Только в моем воспаленном мозгу была ты!»

Сколько удивительных строк написали поэты на тему о расставанье...

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальной
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладяющие руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшного разлуки
Мой стон молил не прерывать...

Но у Маяковского расставанье — непо-
одолимый ужас, непомерное страдание:

Уже сумасшествие.
Ничего не будет.
Ночь придет,
перекусит и ест.

«В муке пред той, которую отдал, коленоопреклоненный выник: король Альберт, все города отдавший, рядом со мной задаренный именинник». Ги-



гиперболизм не только в любви и ревности,—он в каждом проявлении поэтического мироощущения. Отсюда глаголы, выражающие крайние проявления: вырветь, взрывать, реветь, рвать, ухать, ахать, охать, жрать, ржать, изрыгать, выкручивать, вытолпить, шархаться. «Вдребезги» его любимое слово. Он создает необыкновенные определения: бькомордая, многохамая, мясомасая—мощно, грузно, могуче. Если он скажет о просторе, простор окажется нечеловеческим, упомянет о тоске—она будет бесконечной. Он захотел однажды показать людям самое страшное на свете: он обернул им лицо свое, когда он «абсолютно спокоен». Однажды дал он краткую характеристику своим стихам. Вот что получилось:

Всеми пиками истыканная грудь,
 Всеми газами свороченное лицо,
 всеми артиллериями громимая цыганка
 дель головы—
 каждое мое четверостишие.

Все это в устах Маяковского ораторично, и он был искренен, когда с обычным для него гигантизмом прощически писал о Фаусте и Мефистофеле, феерией ракет скользящих в небесном паркете: «Я знаю—гвоздь у меня в сапоге кошмарней, чем фалтазия у Гете». Он сам ощущал этот свой гиперболизм.

Куда легендам о бойнях Цезарей
 Перед былью,
 которая теперь была!
 Как на детском лице зря,
 Нужна ей
 самая чудовищная гипербола.

Отсюда и построение «Войны и Мира»: мир—Колизей, зрелище величайшего театра: бьются государством в государство 16 отборных гладиаторов.

4

У Маяковского нет деревенских образов совершенно. Он не знает, что такое помещицья усадьба, что такое крестьянский двор. В поэзии его нет природы. Нет пейзажа. Ни березок, ни аллей, ни тополей, ни ручейков, ни лунных вечеров, ни голубенького неба, ни веселого облачка—ничего из ходо-

вого, ставшего графариетным антуража признанной поэзии. У него нет живых цветов, ни рыб, ни зверей, кроме домашних лошади и собаки. Павлинов он объявил выдумкой Брэма, а верящих в розы—измышлением досужих ботаников. Если он скажет что-нибудь о незабудках, это—книжная память: то незабудки его души; заговорит о маках, это—фаянсовых чайников маки. Если скажет о лебедях, это—«лебеди шей колокольных». «Сиги»—у него «копченые», чешуя рыбы—жестяная. Зато на его страницах мы видим бульвары и площади, бубны улиц, гладь асфальта, тротуары, перекрестки, газетные киоски, окна домов бегущих и гроба домов публичных, городов вавилонские башни, бюро похоронных процессий, вывески, харчевни, читальни, витрины, трамваи, базары, фонари и ребра крыш, и зрачки афиш, и дымы фабрик, и дыры небоскребов, громы колес, грузовозов храпы, тоннели, пассажи, локомотивы, автомобили, гаражи, аэропланы, лифты, мосты, поезда, гудки и звонки, эхо улиц, гром городского прибоа звучат на этих страницах, как нигде.

В нашей литературе я не знаю другого писателя, сознание которого так насквозь, до корней, было бы пронизано ощущением города, городской вещностью. Именно город подсказывал Маяковскому образы, эпитеты, метафоры, сравнения. Только в городе можно было увидеть шершавое, потное небо, лохмотья души, сказать про землю: «скучная, как банка консервов»... Кто, кроме горожанина, мог увидеть мосты, заломившие железные руки, каменные аллеи, флейты водосточных труб, сосцы железных матерей, силки проводов, ссохшиеся губы каналов. Только горожанин мог почувствовать «умную морду трамвая» и что трамвай может быть усталым. Эта образность выросла на улицах капиталистического города. Городское мироощущение мы находим в творчестве и других русских поэтов. Но только в поэзии Маяковского город занял доминирующее положение, зазвучал своим собственным голосом шумов и шумитов. Оттого-то поэзия его—страшная, некрасивая в общепринятом смысле.

ле, лишенная красочности. Она мрачна, как город, какой рисует Маяковский. Это город угрюмых неудачников, сбитых с ног, расшибленных жизнью. Где-то есть цветочная Ницца, где-то есть цветущее Капри, а в городе Маяковского, с трактирами, барами, проститутками—угрюмый дождь скопил глаза. Есть в нем что-то от города Достоевского. Это спрут, город—палач, лепрозорий, где человек—кал торжанин, где туман кровожадным лицом канибала жует невкусных людей, где переулки засучили рукава для драки, где вечера изранены, а золотого и грязь изъязвили проказу, где закат не гаснет, а околевает, где ночь черна, как Азеф, где верят только в «рубль», город, в котором—если оглянуться—вокруг страшные рожи, даже дети, как подрастут, «в жиденьком кулачке зажмут кнутовище, матерной руганью потрясая». Этот город нашел несравненное выражение в поэзии Маяковского. Поэт города, он был вместе с тем его яростным отрицателем. Кто этого не понимает, тот ничего не поймет в поэзии Маяковского. Городской, мещанский мир дан сквозь зрение уличного человека, одинокого стоящего против мира в дерзкой позе непокорного, с поднятой наотмашь рукой. Простой человек, «из мяса весь, выхарканный чахоточной почью в грязную руку Пресни», он хочет всего. Мир отказывает ему во всем. Сквозь простоту и «сниженность» стиля, сквозь бред и несвязицу пробивается мотив социальной трагедии, звучащий во всех без исключения вещах первого тома:

Кричу крипичу,
слово ястудлевных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть:
«Солнце!
Отец мой!
Скалься хоть ты и не мучай!
Это тобою пролитая кровь моя льется
дорогою дольней.

Это душа моя
ключьями порванной тучи
в выжженном небе
на рявом кресте колокольни
Время!
Хоть ты, хромой богомаз,
лнь намалой мой
в божницу уродца века!
И одинок, как последний глаз
У идущего к слепым человека.

Здесь, в сущности, лейтмотив трагедии. Отдельные произведения, составившие первый том сочинений Маяковского,—лишь вариации. С постоянством, которое может показаться однообразным, под разными предлогами в них звучит лирический мотив одиночества и сиротства. Это удивительно выразил он в образе солдата, обрубленного войною, которой ненужный, ничей, бережет свою единственную ногу, и в образе собаки, несущей в кофурку переохлажденную поездом шапку, и во многих других, наиболее для поэта характерных. В свете этого мотива станет понятным и другой настойчиво звучащий в поэзии раннего Маяковского мотив тоски, «растущей непонятно и тревожно», и ряд других мотивов, неизменно окрашенных трагическими цветами. Нам поэтому несколько не покажется удивительным, когда поэт такими словами скажет о своей душе:

По мостовой,
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пятны...

Если же скажет о своей груди, то окажется, что ее испешеходили, чахотки плоче. А в трагедии «Владимир Маяковский» он обратится к себе с такими словами:

...вижу — в тебе на кресте из смеха
распят замученный крик.

И лишь упомянет свой рот,—рот поэта,—мы узнаем, что рот «окровавлен песнями», о самой же песне он выразится так:

В бульварах я тону, тоской песков
оветляе
ведь это ж дочь твою —
моя песня
в чулке ажурном у кофеен...

И нам перестают казаться немотивированными букеты бульварных проституток, и желтые розы, и желтые раны, и раны лотков, и жгуты муки, и улица, провалившаяся, как нос сифилитика, и река—сладострастье, растекшееся в слюни, и сумасшедший собор, скачущий каплями ливня на лысине купола,—какие неслыханные образы, подобных которым нет ни у реалистов, ни символистов, так они грубы, реальные, материальны и вместе своеобразны, ни на какие другие не похожие.

5

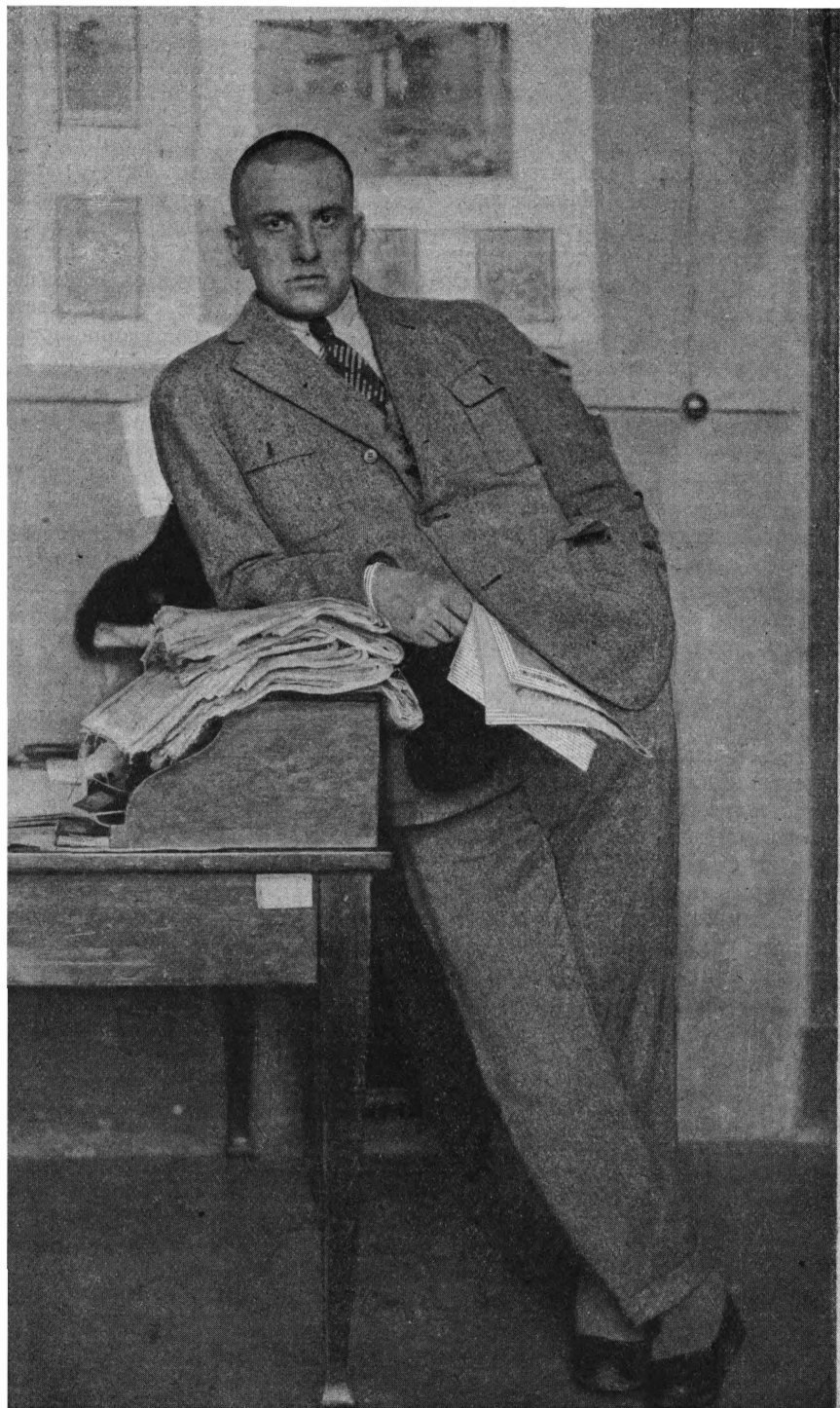
В неожиданности образов, в необычности его стихов нашла свое выражение революция, происшедшая в нашей литературе два десятка лет назад. Маяковский вторгся в поэзию, как потрясатель основ. Литературное бунтарство его коренилось в бунтарстве социальном, в неприятии окружавшего мира, в непримиримой к миру вражде. Этим он отличается от Бурлюкова и прочих спутников футуризма. Не случайно Маяковский юноша был большевиком, знал подполье, сидел даже в Бутырках,—это почетный факт его биографии. Партию он в те годы оставил для литературы. В литературе же голос его характером образов, их психологическим и философским наполнением оказался голосом анархического, индивидуалистического бунта. В футуризме не было ничего пролетарского. Социально—это был один из отрядов городской мелкой буржуазии, наиболее угнетенный, испытывавший давление капитала, ощущавший свою обреченность. Выражаясь специфически, узкой средой, взрастившей футуризм, была литературная богема. В социальном отщепенстве богемы—одна из причин ненависти футуристов к господствовавшей литературе. Достаточно прочитать первый манифест в «Пощечине общественному вкусу», чтобы ощутить как бы материализованную ненависть к «генералам классикам», живым и мертвым. Именно в этом манифесте в 1913 году было провозглашено, что Пушкин—непонятнее иероглифов, что надо сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих с парохода современности. Поэзия Бальмонта, тогда уже догоравшего, объявлялась «парфюмерным блюдом», всем же прикасавшимся к «грязной слизи книг», написанных «бесчисленными Леонидами Андреевыми», предлагалось вымыть руки. Остальные подвергались презрительному осмеянию.

«С высоты небоскребов мызираем на их ничтожество»—высокомерно писали футуристы. Это не всегда было фразой. Те, для кого футуризм был средством прославиться, кто играл в футуристическую революцию на «фиш-

ки»,—те отставали от футуризма, примазывались к касте господ, петушком, как Северянин, пролезали в их быт, меняли в петличке, выражаясь фигурально, редиску на орхидею. Маяковский не играл на фишки. Он бросал на кон свою кровь поэта,—для него футуризм был настоящим восстанием, подлинной борьбой, неподдельным страданием, и не его вина, что в этом бунте он был поэтическим глашатаем анархической индивидуалистической интеллигенции. Она ничего не имела, много хотела и постоянно наталкивалась на властное «нельзя». Природный же гиперболизм Маяковского нашел в благоприятной обстановке обильную пищу. Такую пищу он, разумеется, мог найти, где угодно. Но выдающееся поэтическое дарование, рано обнаруженное, естественно, толкнуло его в литературу. Весь революционный динамит, все способности его ушли поэтому на литературную борьбу.

6

Господином в литературе был символизм. Символизм нашел в Маяковском бешеного врага. В символистском стиле как бы воплотилось все, что ненавидел он, плебей, что отрицал с яростью, отвергал философы и эмоционально. Символизм—это было то, что, по его глубокому убеждению, следовало разрушить. Над всем, сделанным символистами, он ставил «nihil». Оттого-то поэтическое мировоззрение Маяковского было как бы антисимволизмом. Мы найдем в нем минус там, где символисты ставили плюс, и наоборот, он ставил плюс там, где символисты писали минус. Это обнаруживает, между прочим, глубокую связь Маяковского с символизмом. Лирика символистов была напевна, изысканна, музыкальна. Романс и песня, тонкие страсти, мистические прозрения, бог, печаль, томление уединенной души, оглавление от шумов и криков, от улиц и площадей, стремление за пределы предельного—все эти черты символистской поэзии нашли в Маяковском обратное отражение. Он был именно площадным и уличным поэтом, отрицал мистику, разрушал гармонию, пре-



зирает романе и плесню, смеялся над напевностью, грозил богу пожиком, нарушал тишину и спокойствие, внося с собой шум, грохот, треск. Все особенности символистской поэзии подвергались издевательствам не на словах, но именно на деле, на литературных фактах. Творчество Маяковского, стиль его произведений, его ломаная строка, его ритмы и метры, его образы, его презрение к сладким звукам, к нежным краскам, грубость, крикливость, площадность—все это было литературным, именно демократическим, плебейским, восстанием против символистской барской эстетики, против царивших в избранном обществе буржуазных и дворянских вкусов.

Если не понять этого отталкивания Маяковского от стиля символизма, многое остается непонятым в характере его поэзии. Оттого-то воспетые символистами звезды ясные, звезды прекрасные у него превратились в плевочки, нежное небо—в распухшую мякоть, в шершавое, потное небо, и луна, неизменный спутник лирической поэзии, стала ненужной и дряблой. На месте изысканных эпитетов символистов появились, такие, в которых даже под микроскопом нельзя было отыскать какую-нибудь изысканность: истыканный, гниющий, похабный, развороченный, изъеденный, ободраный, испорченный, зараженный—иначе Маяковский не выразался. «Выблывавать»—от такого слова символистская публика шаркалась в сторону.

В эпоху, когда читатель упивался брюсовской инструментальной:

Снова ночи обнаженные
Заглядятся в воды сонные,
Чтоб зардеться на заре.
Тучка темная привнесит
К холостому рогу месяца,
Будет таять в серебре.

или музыкой Блока:

Ты рванулась движеньем испуганной
птицы,
Ты прошла, словно сон мой, легка...
И вдохнули духи, задрожали ресницы,
Зашептались тревожно шелка...

появился в литературе ругатель и грубиян, нагло, хотя и с большим искусством, декламировавший:

Улица провалилась, как нос сифилитика,
Река—сладострастье, растекшееся в
слюни.
Отбросив белье до последнего листика,
Сады похабно развалились в июне.

Стихи эти в самом деле были пощечиной общественному вкусу. Отрицание эстетических канонов вызывалось, разумеется, не только причинами, лежащими в пределах самой литературы. Не потому ощутилась потребность в новых формах, что старые обветшали. Самый факт обветшания старых форм подлежит объяснению. Не потому Маяковский отрицал романсность символистской лирики, что романсность приелась. Не потому отвергал он «медлительность русской изысканной речи», что кого-то где-то после балет-монтовских ананасов потянуло на капусту. Пошел же Игорь Северянин от «пощечины общественному вкусу» именно к ананасам в шампанском.

Суть была в том, что Маяковский выдвигался в литературу социальной прослойкой, до того не имевшей в поэзии своего голоса. Против символизма, как буржуазного и дворянского стиля, поднимала оружие другая социальная группа. Она жила в городе, — площади и улицы, кафе и трактиры были ее домом. Это была отверженная, угнетенная, нищая, но квалифицированная, рафинированная прослойка городской интеллигенции. Она не имела ничего, но хотела иметь все. Ей чужды были и розы, и соловьи, и сирени куст, ей чужда и противна была тонкая музыка буржуазных салонов, но она хотела жить, любить, владеть миром, делать свое искусство. Она не хотела быть парней. Эти люди, будь они фабрично-заводскими рабочими, стали большевиками. Но то были мелкобуржуазные интеллигенты, богемцы, непризнанные гении, стихотворцы, живописцы, романисты. Двери редакций были перед ними закрыты. Они возненавидели счастливых соперников. Соперники носили розу в петличке. Они воткнули в петличку ридиску. Мирного выхода из конфликта не было. Оставался, следовательно, бунт. Но поскольку богема была группой разнородной, вмещающей элементы разного социального

происхождения и разных литературных и социальных устремлений,— не был устойчивым футуристский бунт.

Если протест Давида Бурлюка, рап-ты и эстета, питался источниками, исключительно литературными, бунтарство Маяковского испытывало еще давление социальное. Не случайно из разношерстного первого поколения футуристов, как творческая фигура, сохранился он один. Бурлюки, Северянины, Игнатьевы, Гнедовы, Шершеневичи—где они? Кто исчез из литературы навсегда, из других—каждый попал на свою полочку. Один лишь Маяковский монументальной поступью продвинулся в искусство и революцию. Это потому, что, единственный из плеяды, он, при наличии выдающегося таланта, был поэтом и революционером одновременно. До того, как сделаться революционером в поэзии, он был революционером социально-политическим. Это его качество в футуристскую эпоху не вызрело, но оно было, оно билось внутри, по-своему, очень несовершенно, уродливо, анархически направляло и заостряло поэтический протест Маяковского, никогда не оставшийся в рамках только литературных.

Брошенный в улицы города, окруженный всевозможными «табу», он стал нарушителем правил. Камни шептали ему о покорности,—он возненавидел покорных. Буржуазный мир твердил ему об умеренности и аккуратности,—он стал издеваться над солнцем и звездами. Он слышал о том, что плетью обуха не перешибешь,—он стал обух перешибать плетью. Его трагедия «Вл. Маяковский» — юношеское, сумбурное, почти бредовое произведение—именно о бунте нищих, о бедных крысах, не умеющих бунтовать. Мир был могуч и неуязвим. Он стал мир проклинать, лелея мечту о святой мести, храня для нее свой поэтический, вовсе не бутафорский кинжал. Именно этим кинжалом вырезаны его сатиры. Они сделаны без смеха. В них нет улыбки, как во всем его раннем творчестве. Но, сосредоточенно серьезные, они ранят в сердце. В них в самом деле дышит «святая месть», раздаваемая ненавистью.

Гиперболизм получил точку опоры, целевую установку. Гипербола, нарушение пропорций, отрицание реальности—также одна из форм протеста, романтическая издевка, бросаемая людям умеренности и аккуратности. Оттого-то Маяковский не путался преувеличений. Гипербола сделалась его приемом. Она вошла в кровь, стала углом зрения, привычкой мыслить.

...И вытолкнен лирикой —
мира кормилица,
гипербола,
побраза Мопассанова.

7

Все это создавало новый стиль, отрицавший символизм. Но ведь «символизм» был не только «стилем». Он был мировоззрением. За ним стояли господствовавшая культура, класс—хозяин, организатор жизни. Маяковский стал отрицать и «хозяина». Это также отличало его от прочих футуристов; довольствовавшихся литературной революцией. Вслед за искусством он стал отрицать мир отношений, поэтическим выразителем которого было это искусство.

Весь житейский и политический опыт Маяковского исчерпывался отношениями, какие представила его взору реакционная Россия. Его сознание формировалось в эпоху общественного упадка. Отсюда, разумеется, пессимизм его раннего творчества. Максимализм пятого года, с взрывом страстей, сменился умеренностью и аккуратностью мечтанья, располагавшегося в жизни и в искусстве всерьез и надолго. Революционеры либо погибали в застенках, брошенные на каторгу, в крепостные стены, либо ушли в эмиграцию. Рабочий класс был взят в железно. Обманутое и усмирное крестьянство вернулось к дедовской сохе. Интеллигенция, сменившая косоворотки на буржуазные пиджаки, стала устраиваться. Возвратившееся «начальство» наводило порядки уже с помощью третьеступенной думы. Революционный пафос перестал быть пленительным. Ликвидаторство в политике, эстетизм и мистицизм в литературе, религиозные искания в философии стали распускаться

пышным цветом. Ренегатство, отступничество, малые дела сделались бытовым явлением. Реалистическая, демократическая литература, сохранившая революционные традиции, отошла на задний план. Тогда-то вот символизм и сделался господствующим литературным направлением, а символистские издательства, финансируемые крупной буржуазией,—наимоднейшими издательствами эпохи. Нажившая кое-что на революции, решившая удовольствоваться «синицей» реальных приобретений, буржуазия задавала тон. В уме свободолюбивом, протестующем, не растерявшем революционных впечатлений юности, эпоха не могла не вызвать отвращения. Выросший на развалинах революции мир торжествовавшего мещанства и встретил Маяковского.

Он возненавидел этот мир, стал презирать его вместе с его «культурной», в которой чувствовал себя отщепенцем. Именно облик отщепенца, социальничавшего безумца, отрицателя, над всем, что до него, ставящего «*nihil*», сделался постоянным героем его лирической трагедии. Облик этот вылеплен из противоречий. Он всегда в крайностях: или Голгофа, или Летний сад, где пьет он утренний кофе. Или петух голландский, или король псковский. Или властелин трона, или нищий, Христа ради тела просящий. Он изменчив, непостоянен, мечется от самоуничтожения низжайшего к гордыне безмерной, от покорности к бунту, от веры к отчаянию. Оттого-то после строк:

Все равно
Я знаю,
скоро сдохну

почти рядом читаем:

...Короной кончу?
Святой Еленой?
Буре жизни оседлав валы,
Я — равный кандидат
и на царя вселенной
и на кандалы.

Гениальничанье, выпячивание своего я, самовлюбленность—эти черты бросаются в героя Маяковского. Очень нетрудно—и это делалось неоднократно, это сделал однажды автор настоящих строк—собрать их в пучок и с насмеш-

кой бросить в лицо поэту. Но ведь только в полемическом плане и могли они быть использованы, потому что в плане социально-психологическом они представляют собой лишь один из полюсов, между которых бьется душа поэта. Только в связи с обеими крайностями понятным и психологически оправданным становится гиперболизм, и гордыня, и ячество, ибо это отражения отчаяния и слабости. Пусть шьет он себе штаны из бархата голоса своего, пусть, нагло ослабившись, бросает насмешки солнцу, пусть уверяет, будто стихи его веселые, как би-ба-бо, и острые, и нужные, как зубочистки, пусть рассказывает, как, мир огромив мощью голоса, идет он красивый, двадцатидвухлетний, пусть грозитя убить солнце, а самого Наполеона на цепочке повести, как мопса, — сквозь гигантизм сквозит горькая боль, смысл которой вскрывается тут же, рядом с гиперболизмом:

В какой ночи
бредовой
недужной,
какими Голлафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

Ненужный и одинокий, он вместе с тем связан с миром и нужен миру. Это мир таких же отщепенцев, неврастеников, опутанных силками проводов, схваченных каменными руками улиц. Он в них, они в нем. Это они говорят его голосом. Именно как вождь выступает он, их заступник и мститель, тринадцатый апостол. Отсюда его ораторская установка, разоблачающий пафос, поза площадного крикуна, его восклицания, обращения, обороты.

Слушайте!
Проповедует
мечась и стена
сегодняшнего дня крикогубый Зара-
тустра!

До него именно эта вот улица корчилась безязыкая: «ей нечем кричать и разговаривать».

Проповедником улицы, поэтическим выразителем ее и был Маяковский.

Но было бы ошибкой, нарушающей перспективу, понимать так, будто улица эта — есть пролетарская улица и что именно в годы своего анархиче-

ского бунта Маяковский заговорил ее до того немым, пролетарским языком. Много позднее, в семнадцатом, путь Маяковского сольется с путем пролетариата,—мы скажем об этом ниже,—но тогда-то, в ранний период свой, он говорил языком улицы не пролетарской, а интеллигентской, бунтарской, индивидуалистической. Образность Маяковского, его поэмы, их безысходность, отчаяние—все это от психологии и философии, от безысходности и отчаяния той социальной прошлой-ки, именем которой заговорил он так могуче и выразительно. Это был обездоленный, радикальный, демократический, низовой слой буржуазного общества,—и самый лучшим, самым талантливым ее представителям надо было перекипеть в котле пролетарской революции, подышать ее порохом, пройти ее путями, чтобы постепенно, с трудом громадным— и не для всех успешным—сбросить с себя цепи мелкобуржуазного, анархического бунта.

Трагедия «Владимир Маяковский» и есть трагедия вождя, убеждающегося в том, что его армия куда не годится, неспособна на бунт и сам он не знает, что делать с слезами, слезинками и слезищами «бедных крыс», забитых и ничтожных. Вождь тем не менее не сдастся. Он облачается в маску иронии.

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик,
Людам страшно — а у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

Но меня не осудят, но меня не облают
как пророку, цветами устелят мне след.
Все эти провалившиеся носами знают:
я — ваш поэт.

Как трактор, мне страшен ваш страшный суд!
Меня одного сквозь горящие здания
проститутки, как святыню, на руках
понесут и покажут богу в свое оправдание.

И бог заплачет над моей книжкой.
Не слова — судороги, слившиеся комом;
и побежит по небу с моими стихами
подмышкой
и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым.

Конечно, это была ироническая маска. За внешней развязностью крикуна скрывалась уязвленная и потому нежная душа: «Невероятно себя нарядив, чтобы нравился и жегся», он задира, лез на рожон, прикидывался мистером Буфф, изо всех сил старался уверить, что он именно таков. Он находил в этом какое-то удовлетворение. Но мрачный смех, раздраивший его лицо, был маской смеха. Маяковского можно было бы уподобить Гуинплёну: он вовсе не хотел веселить. И самому ему было не до смеха.

Вот иду я,
Заморский страус
в перьях строк, размеров и рифм
спрятать голову, глупый, стараюсь
в оперенье звенящее врыв...

Но такова маска Гуинплёна: он смешил тем больше, чем страшней была боль, рвавшая грудь. Эту боль надо было скрыть от чужих глаз: «глубже в перья, душа, уложись», не быкомордой же ораве раскрывать раны сердца...

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана...

Он в самом деле умел укутывать ее от постороннего взгляда. Она хорошо была укутана в дни его юности. Он сумел укутать ее и в последние годы жизни,—иначе как понять, что самые близкие друзья покинули его в самые страшные минуты жизни.

Но под этой кофтой бился «необычайный комок», которому нужны были и нежность, и «слово ласловое, человечье». Он, вероятно, очень этого стыдился, потому что тщательно скрывал от всех под напускной грубостью, озорством, пагубной жесткостью показного чувства.

И в «немыслимой любви», какую воспел он, в этом центральном мотиве его раннего творчества, та же боль отверженности, неразделенности, отщепенства. Потому-то любовь показана как социальная трагедия на фоне городолепрозория, в окружении человеческого страдания вообще, в свете недостижимости счастья. Это не роман отвергнутой души, не любовная лирика в узком смысле, — социальный пафос здесь переплетен с личным, и личная скорбь раскрывает свое социальное, не

индивидуальное существо. Перед нами все тот же герой, индивидуалист и романтик, крикогубый Заратустра, и каждое чувство его преувеличено, и каждый образ трагичен, и «каждое слово и даже шутка, которые изрыгает обгоравшим ртом он, выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома».

Поэт шел к бунту через любовь. Любовь и бунт в его поэзии неотделимы. Любовь толкает на бунт, ведет к бунту. Любовная трагедия перерастает в социальную. Сквозь бредовую скачку мыслей и образов именно в поэме о любви вспыхивает пророческая тема о революции.

...Я,
обсеянный у сегодняшнего племени,
как длинный,
скабрезный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый
главой голодных орд,
В терновом венце революций
Грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча:
И — где боль, везде;
На каждой капле слезовой течи
Распял себя на кресте.

Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растлила.
Это труднее, чем взять
Тысячу тысяч Бастилий.

8

Сейчас за рубежом догнивают люди, хозяйничавшие в русском городе, по-этически проклятом Маяковским. Они злорадно потирают потные ручки. Они почитают себя отмыщенными. Они и сейчас не могут простить поэту и раннего его творчества, и вещей революционного периода, ибо пресвоходно знают, что именно о них писал он:

Как в зажившее ухо втиснуть им
тихое слово?

Это к ним обращено было
вступление в поэму «Облако в штанах»:

Вашу мысль,
Мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной
кушетке
будут дразнить об окровавленный серд-
ца лоскут
досыта издеваюсь, нахальный и
едкий.

Это для них создал он полновесные эпитеты: «мясомасса, быкомордая орава», это про них звучно сказал он: «морда многохамая», это им в лицо, в упор, в «Бродячей Собаке», одном из тогдашних кафе, бросил он издевательское «Вам» — стихотворение, которое и сейчас еще жжется на страницах первого тома. Они знали, за что ненавидели Маяковского-бунтаря. Это ведь факт нашей литературной истории: Маяковский, за единичными исключениями, не нашел журнала, который рискнул бы его печатать. Только Горький в «Летописи» в шестнадцатом, накануне революции, открыл страницы Маяковскому. Горький же издал первое собрание его стихов: «Простое, как мычание». Буржуазия знала, кого ненавидеть, и если сейчас клеветает на Маяковского и радуется, и ликует по поводу его смерти, — то ведь должна же она понимать, что если умер поэт — не умерли его книги, сохранившие ненависть. В поэме о «Немыслимой любви» ненависть нашла выход. Именно в этой поэме от смутного гуманизма, от «сострадания», от иронии над «Бедными крысами», поэт стал звать к восстанию, к мести.

Выньте, гулящие, руки из брюк,
берите камень, нож или бомбу,
а если у кого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!
Идите, голоденькие,
потенькие,
покоренькие,⁶
закисшие в блохастом грязеньке!
Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пусть земле под ножами припомнится,
кого хотела оплошлить!
Земле,
обжиревший, как любовница,
которую вылюбил Рэтфильд!
Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окрававленные туши лабазинок.

9

Это был лишь «криворотый мятёк». Маяковский бунтовал против зажившего мещанского быта. Вот враг, которого ненавидел он кровью сердца, потому что видел близко, вплотную, ощущал его дыхание, испытывал его косную тяжесть, Чувствовал его в самом себе. Маяковский родился и вы-

рос именно в мещанской среде: большевистское подполье в его биографии было эпизодом. Много лет спустя, в зените революционной славы, в поэме «Про это», как бы отколовшейся от массива дореволюционного его творчества, он снова ощущал мещанство, как враждебную стихию. Забегая вперед, мы коснемся здесь этого мотива.

«Про это» писалось в 1923 году. Мещанин, в эпоху нэпа вновь показавший свое лицо, испугал не одного Маяковского. Маяковский лишь сильнее других испытал это чувство. У него были старые счёты с мещанством. Он считал его добытым до конца. Поэту мещанские канарейки, защебетавшие в советском быту, и мещанский уют, вновь зацветший на поверхности жизни, именно с его стороны должны были вызвать сильнейшую реакцию.

Мещанство—одна из центральных тем Маяковского. Он ощущал его как могучую стихию. Город, с ненавистью им воспетый,—мещанский город. Городская культура—мещанская культура. Вместе с адисцем города ощущал он и адисце культуры. Поэтому то он и бросил однажды: «Бросьте города, глупые люди!» Он звал их голыми «лить на солнце пеке пьяные вина в меха груди». Это также была поэтическая фраза, потому что сам он, городской до мозга костей, бросить города не мог, не умел, хотя бы и хотел. Он был прикован к городу, к городской культуре, к быту, который чувствовал, как земной загон, где человек влачит дневное иго: «А на мозгах верхом—«Закон», на сердце цепь—«Религия»... Он воспринимал город и культуру, как ярмо, тяготившее плечи и шею. В нём подымалось иногда звериное чувство первобытного человека, огулом отрицающего все, что мешает ему расправить неимеющие в неволе члены. В «Гимне судье» он братски пожалел перуанца, товарища по несчастью. Но перуанец не способен был воспеть машину и Англию. Маяковский же, отрицая мещанский город, мечтал, в отличие от перуанца, о городе ином, именно о городе с машиной и электричеством. Маяковского нельзя представить в лесу, на берегу реки, поэтом

травки, солнца и голубых далей. Он мог существовать только на глади асфальта, в брызгах городского прибора, среди шумиков, шумов и шумищей,—это была его родная стихия, ненавистная и вместе любимая, без которой немислимо его существование. В этой безысходности и родилась трагедия, которую разрешила революция.

Город и культура в поэзии Маяковского—одно. Город лишь сконцентрировал, омагтернализовал, придал вечный характер явлению, именуемому культурой. Вещи господствуют над человеком. Вещь—господин, человек—раб. «Бедные крысы» покорены вещами. «В земле городов нареклись господами и лезут стереть нас бездушные вещи»... Человек раб и пленник, обреченный данник вещей. В трагедии «Владимир Маяковский» на эту тему происходит даже дискуссия: «Вот видите! Вещи надо рубить! Не даром в их ласках провидел врага я!»—«А может быть, у вещей душа другая?» Равный Маяковский не колебался в ответе: «Надо сбросить плен вещей». Власть вещей и есть мещанство. И городская культура, культура вещей, символизированная в золотороте франков, долларов, рублей, крон, иен, марок, в котором тонут гении, журицы, лошади, скрипки, слоны и мелочи, есть мещанская культура, к восстанию против нее и звал он постоянно, против нее он подымал криворотый мятеж. Мещанство в творчестве Маяковского, в его понимании, не было мещанством сословным. Это был капиталистический мир вообще, буржуазная система жизни, мир, остроенный на подчинении человека вещи. Взглянув на мещанство своим увеличительным глазом, он превратил и его в чудовищную гиперболу, придал ему космические размеры, увидел мещанство в небе, луне и звездах и символизировал его в облике господина бога. Когда революция растрясла старый мир и сам бог с его ангелами поползли на карачках, в «Мистерии Буфф» появляется земля обетованная, новый город: «но какой город! Громоздятся в небо распахнутые машины прозрачных труб и квартир. Обвитые радугами стоят поезда, трамваи, авто-

мобили, а посредине сад звезд и лун, увенчанный сияющей короной солнца. Из витрин вылезают лучшие вещи и, предводительствуемые серпом и молотом, с хлебом и солью идут к воротам». Вещи покорены. Вещи, машины, еда—все, что вчера превращало человека в вещь, машину, еду—ныне отдаются ему добровольно. «Идите, берите. Иди, победитель», и даже без всяких мандатов. Такой апофеоз требовался ненасыщенным голодом протеста, застарелой борьбой с вещами мещанского мира. Но в эпоху нэпа вещи вновь стали показывать свои когти. Старый враг как будто оправлялся от ударов. Он снова начинал кабалить человека. Передышка, какую получило мещанство, сквозь увеличительный глаз Маяковского приобрело преувеличенные черты, об этом он и закричал в «Про это»:

Сомнете периной и волю и камень.
Коммуна и то завернется комом.
Столетия жили своими домками
И нынче зажали своим домкомом.
Октябрь прогремел, карающий, судный.
Вы под его огнеперым крылом
расставились, разложили посудину,
Паучьих волос не расчешешь колом.

Тем-то и замечателен творческий путь Маяковского, что он шел из мещанства против мещанства. Такова диалектика его развития. Он был окружен мещанством—король футуристов,—чем же, как не мещанством, была лелеявшая, носившая его на руках богема и каким же, как не мещанским, был бунт футуризма в его социально-психологическом, социально-философском разрезе. Маяковский, как поэтическая индивидуальность, как творческая личность, отрицал мещанство не только вне себя, но в себе самом. Оттого ненависть эта шла от сердца, была пережитым, пережитым, лирическим мотивом, а не ума холодным наблюдением. Он отделялся от нее стихами,—прием общеизвестный в искусстве. Видя в мещанстве врага, он находил его всюду. Оно поднялось над миром, охватило землю и небо, стало всемогущим, вездесущим, превратилось в бога. Так рождается в поэзии Маяковского богоборчество.

«Бог», «повелитель всего», хозяин вещей, входит в его поэтическую трагедию как «неодолимый враг».

10

Сейчас, когда безбожие делается достоянием масс, богоборчество Маяковского не поражает. Но взгляните на него в исторической перспективе. Вспомните, что Маяковский писал свои вещи в эпоху, когда престиж бога находился под защитой уложения о наказаниях,—мотив этот зазвучит полным голосом. Маяковский не поворачивался к богу спиной, как Сологуб:

Не хочет жизни бог,
и жизнь не хочет бога.

Он объявлял богу войну. Он кипел к нему той же ненавистью, что и к мещанству,—бог в его сознании принимал очертания великого мещанина, главного виновника, попустителя. Это он, кудластый, виноват во всем. Это он тычет человеку в глаза булавками от дамских шляп. Это он выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова, но не сумел сделать так, чтоб было без мук целовать, целовать, целовать, т.е. выдумал человека для страдания:

Я думал ты великий божище,
а ты недоучка, крохотный божик.

У кого из его современников поднялось бы перо так презрительно сказать о великом фетише, недостижимом за щетиной штычков.

...крыластые прохвосты,
жмитесь в раю!

Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропавшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски.

Задолго до революции он, подобно лермонтовскому демону, порвал с небом, чтобы один на один схватиться с «господином богом». хотел нанести ему настоящий удар сапожным ножом, но и это была гипербола. Бог оставался неуязвимым. Зло существовало по-прежнему. Что оставалось делать поэту перед лицом непреодоленной трагедии? Он зовет на помощь испытанного союзника—иронию. Он засовывает руки в карманы. Он вызывающе бросает в пространство:

Эй, вы!
Небо!
Онимите пляпу!
Я иду!

Отклика не было. Глухо.

Вселенная спит,
Положив на лапу
С клещами звезд огромное ухо.

11

Первый том собрания сочинений Маяковского лишь внешне представляет сборник разновремено написанных вещей. Внутренне же, по существу, — перед нами роман в стихах, если хотите — трагедия, герой которой сам автор. Это о себе рассказал он с удивительной искренностью, о раненой душе своей, о том, как терзал его мир и как он безуспешно боролся с миром, об одиночестве своем и безнадежности.

Вам ли понять,
Почему я
Спокойный
Наоmeshек грозою
Душу на блюде несу
К обеду идущих лет.
О небригой щеки площадкей
стекая ненужной слезою
я,
быть может,
последний поэт.

Один на один сражаясь с мещанским городом, он был оторван от рабочего класса, не знал его, даже не чувствовал. В поэмах «Война и Мир» и «Человек» — обе написаны в шестнадцатом — Маяковский, как и в первых своих вещах, попрежнему одинок. «Война и Мир» в истории его творчества имеет значение большого этапа, указывающего на переключение узколичной трагедии, хотя и социально-окрашенной в широкий план. В «Войне и Мире» он прикоснулся к миллионам. Это сблизило его с миром и человечеством. Но ведь читатель знает, что «Война и Мир» в истории его творчества имеет произведение, в котором автор, потрясенный зрелищем войны, ставил проблему искупления ее ужаса. Он брал вину на себя. Он виноват — простите его...

...Нет,
не подыму искаженного тоской лица!
Всех окаяннее,
пока не расколется
буду лоб разбивать в покаянии...

Эпилог антимиитаристской поэмы обнаруживает в Маяковском даже шестнадцатого года далекость от рабочих, пролетарской революционности. Ему мерещится братское единение под одним деревом Христа и Каина. Ему чудится новый человек: «свободный придет он, верьте мне, верьте». Но и эта мечта обнаруживала прежний пессимизм, ту же оторванность от настоящей назревавшей революции. Пессимизм был непреодолен и в «Человеке» — последней предреволюционной вещи.

Потому-то в поэзии Маяковского, мрачной и скорбной, мотив смерти занимал видное место. Трагедия бунта — в его бесплодности. Ибо бунтарь тешит себя победой, тогда ударяется он в мечтательное преодоление трагедии, — тут-то вот и начинает играть в шашки Христос и Каин. Но какое же преодоление в мечте! Она исчезает, а на сцену выступает безнадежность, безысходность, и смерть напрашивается как реальный, уже не мечтательный выход:

А сердце рвется к выстрелу,
А горло бредит бритвою.
В бессвязный бред о демоне
Растет моя тоска.
Идет за мной
К воде манит
Ведет на крыши скат...

В «Человеке» мы слышим, как «тихим, целующим швал колени обнимет мне шею колесо паровоза». Еще ранее, в стихотворении «Я и Наполеон» мы видели предсмертное солнце, а в стихотворении «Мрак» к автору, разукрашенному в проседь, приходит смерть и виснет на шее плакучею ивою. И в стихотворении «Дешевая распродажа» мы читаем:

...Через столько то, столько то лет,
— словом не выживу —
с голода сдохну ль
стану ль под пистолет...

и в «Флейте позвоночника» —

...Все чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце...

и дальше — «все равно, я знаю, скоро сдохну»
и еще раз:

...Радуйся,
радуйся,

ты доканала
теперь!
Какая тоска,
и голову сунуть воде в оскал,
что только б добежать доканала

Смерть, самоубийство, точка пулей — частый гость на страницах первого тома. Иначе и быть не могло при обреченности анархического бунта. Любовь, смерть, ненависть — вот мотивы, создавшие узор дореволюционной поэзии Маяковского. Их нельзя оторвать один от другого. Они порождены одним корнем. Отсюда пессимизм поэзии отщепенца, против которого весь мир и даже родина — снеговая уродина:

Что ж, бери меня хваткой мерзкой
Бритвой ветра перья обрей.
Пусть исчезну,
Чужой и заморский
Под неистовства всех декабрей.

*
* *

Здесь мы перекладываем нашу тему в новый план. Как в сказке — сбылось пророчество. В терновом венце революции пришел семнадцатый год. Поэта закружило в неистовстве Октября.

II. На баррикады!

...Пролетарии
приходят к коммунизму низом
низом шахт
серпов
и вил, —
и ж.
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что...

1

Пришел — наконец-то! — заранее им воспетый «шестнадцатый» год. Не надо иметь личных воспоминаний о Маяковском той поры, чтобы стихами его, писанными в те дни, пережить восторг, каким был он охвачен. Революция спасла Маяковского. Она открыла ему невероятное «завтра». Первые после революции строки его — поэтохроника — полны ликования.

...Граждане!
Сегодня рупится тысячеletнее «Прежде»!
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
Жизнь переделаем снова.

Революция вернула ему молодость, пробудила революционера, почти задушенного мешанством города, — какой же большевизм в мечте о братстве Христа и Кайна, в сентиментальном папиризме «Войны и Мира», в пессимизме «Человека», в самоубийственной его лирике! Именно восстановление юности облегчило Маяковского принять революцию и воспеть ее. Романтика детских лет, — мальчишкой листал он большевистские прокламации, — полузабытая, ожила и вновь им овладела. В возможных, какие стремительно развернулись перед поэтом, было что-то сказочное: стиралась грань между поэзией и жизнью, слово становилось делом, мечта получала меру и вес, облекалась плотью.

Это над взбитой битвами пылью,
над всеми, кто грызся в любви и верься
днесь
небывалой сбывается былью
социалистов великая ересь!

Революция провела борозду в его творчестве. Сравните первый том его собрания в издании ГИЗ, заканчивающийся «Человеком», с томом вторым, открываемым «поэтохроникой», — контраст получается разительный. Будто из темной шахты, где в плесени металась «бедные крысы», мы вышли — мгновенно — на простор жизни с солнцем и ветром, с такими далекими дядями, что глаз, в первую минуту, ослепнув, не может привыкнуть. В творчестве его как бы переместился угол зрения. Раньше он был поглощен собой, смотрел внутрь себя, думал об одном себе, о своей боли, своих чувствах, своей судьбе. Теперь он захвачен людской болью, потоком масс. Рядом с «Я» появляется «Мы». «Мы все на земле — солдаты одной жизни созидающей ради» — пишет он. Наша воля, наша земля, воздух и аш. Он как впервые почувствовал под ногами настоящую землю, реальную, живую жизнь. «Я обкармливал, я обкармливался деликатесами досыта» — заявляет он. Сейчас ему не до деликатесов. «Нам надо ели небесные сласти! Хлебище дайте жрать ржаной! Нам надо ели бумажные страсти! Дайте жить с живой женой!» Реальность, материальность становится его девизом. Ненависть, какую при-

зрачно жил Маяковский, получал не мечтательное, не романтическое, но всамделишное осуществление: «Святая месья моя», книжный, поэтический мотив превращается в действительность. В «Гимне судьбе» он лишь грозил «законам» бессильной рукой. Ныне он получил возможность эти законы топтать, разрушать, но лирически, но реально. «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории загоним — Левой! Левой! Левой!» Его сердце в буквальном смысле октябрьскими бурями вымыто. Это и зазвучало на его страницах, и никто другой из поэтов, ринувшихся в революцию, не мог с большим основанием слатать ей хвалы. Ода, гимн, марш—его излюбленные жанры. Он славословил революцию постоянно, это сделалось отличительной чертой его вещей, от поэтохроники до незаконченной поэмы «Во весь голос».

Делами
кровью
строкою вот этою,
нигде
небывшею в найме, —
я славлю
взвигое красной ракетю
Октябрьское,
руганное
и пропетое
пробитое пулями знамя!

Его дореволюционный бунт, борьба с мещанством, трагедия одиночества—все это потеряло смысл. Революция «сняла» мотивы его поэзии. Она дала ей новую установку. В сущности только после переворота он по-настоящему почувствовал, что в самом деле

Сегодня над • каскетом кроется
миру в черепе.

В «Облаке в штанах» это было фразой. Революция давала ей силу стать фактом. Поэтический бунтарь грозил мезью крылатым прохвостам. Революция сказала ему: «Мсти». Поэт звал вздернуть окровавленные туши лабазников, — лабазники закачались на фонарных столбах. Обсеченный, битый, поэт глубочайше верил в свое призвание вождя. Он наяву мог стать им. Для этого не приходилось менять ни ораторской установки, ни формы обращений, столь свойственных его манере, ни даже синтак-

сиса. Он пишет приказы по армии искусств, марши и гимны, зовет, увлекает, командует. Эй, синемлазые! Рейте! За океаны! В атаку, фабрики! В ногу, заводы! Обращается к рабочим мира, и к цветнокожим колоний, и к белым рабам империй. — Встаньте! Комсомлец, нога к ноге! Плечо к плечу! Вперед, сыны стали! Рука на приклад ляг! Громи шаг дали! Громче печать— шаг! —

Его стихи — сплошное восклицание. Он и прежде командовал и призывал. Но то были призывы в пространство, риторические фигуры, словесные обороты. Теперь он чувствует за собой массу. Гипербола перестала быть преувеличением. Она материализовалась. Революция, бросил он как-то, приучила к миллионам: «даже до лунны расстойные советскому читателю кажется чепухой». Что миллионы! Он заговорил о миллиардах. Его образы стали еще грандиозней. Пожар объял мир, захватил Сахару и полюсы, открылись несметные просторы, будущее загорланило триллионом труб, в бою славлю миллионы, вижу миллионы, миллионы пою, — писал он, охваченный восторгом гигантских чисел, беспредельностью революции, бросившей волю за последний предел. Его не удовлетворяет шаг. «Наш бог—бег!» — уверяет он. Ему кажется медленным бег, вихрем хочет пронестись он над землей:

Идем!
Идем. Идем!
Не идем, а летим!
Не летим, а молньимся...

Он создает необыкновенные образы, — рядом с ними прежние гиперболы кажутся миниатюрами. Как пылинки, мчатся страны света, государства, города, толпы. В размахе его поэзии было что-то от размаха величайшей из революций. Весь мир стал казаться ему муравейника менее. Он вытягивает шею выше облака: Терек становится ниточкой, Волга—игрушкой, Арарат—Араратиком; синим апельсином кружится вселенная, а сам он, фантастический Людогусь, среди планет, между солнцем, Сатурном и Гуркулесом слушает мировую какофонию. Все это

он показал в поэме — правда неоконченной — «Пятый Интернационал».

То же самое мы видим в других вещах, восторженно-гиперболических. Такова «Мистерия Буфф», таковы «150.000.000». Многие смеялись над нереальностью Вильсона. Но таков гиперболический стиль, Маяковский не мог от него отказаться. В том же стиле показана Маяковская галерея — Муссолини, и Керзон, и Пуанкаре, и Пилсудский, и Стинес, и Вандервельде — все это как бы этюды к Вильсону, — это в сущности один портрет мира — капитала, врага, которого надо уничтожить.

В этих вещах, рассчитанных на массы, сделанных от имени масс, он становится на корточки. Ему хотелось быть доступным, как басня, — отсюда схематизм и упрощенство, отличающие эти его вещи, отсюда вообще ряд неудач, примитивность замысла, элементарность композиции, бедность рифмы, обычно у него неожиданной и огроумной: рюмка — трюмка, снегу — негус, головню — ню, — в другое время он сам посмеялся бы над ними, но теперь было не до рифмы, он был охвачен эпическим восторгом. Но основной прием — гипербола — остался прежним. Именно гиперболический стиль требовал, чтобы около Вильсона, олицетворения капиталистической мощи, стояли Уитмэны, Шаляпины и чтобы сам знаменитый Мечников снимал нагар с подсвечников. А гиперболизация Вильсона необходима была, чтобы показать, как ничтожен Вильсон рядом с Иваном, у которого только и всего, что рука и еще рука, да и та за пояс ткнута. Сам Маяковский в статье «Как делать стихи» отметил, что одним из его способов строить образ является создание самых фантастических событий и фактов, подчеркнутых гиперболой.

Он при этом научился смеяться. В его вещах заиграли улыбки. В «150.000.000» веселый гиперболизм, агитационный, сказочный, оправдывался задачей: увлечь пролетария зрелищем его собственной мощи. Читатели и критики в свое время не заметили, что Иван, победивший Вильсона, был наченен футуристами. «Кранами рук расчищая пути, футуристы про-

шлые разгромили, пустив по ветру культуришки конфетчи».

Единоборство Ивана с Вильсоном собственно и нужно было Маяковскому, чтобы свести старые футуристские счеты с застарелым врагом, с «культуришкой». Маяковский не просто был вождь. Он был вождем футуристов. Он не один с высот поэзии бросился в революцию. Он сделал это с целым отрядом. У него, оказывается, была своя армия. Потому-то в поэтической судьбе Маяковского и в его борьбе многое осталось пешонятым, если рассматривать его творческий путь независимо от футуризма. Маяковский и футуризм неотделимы. В его поэтическом наследстве — а в этом наследстве много драгоценностей — нельзя будет разобраться, если тема о футуризме останется в стороне.

2

В футуризме было много положительных черт, облегчавших его присоединение к революции. В актив футуризма необходимо занести разрушение буржуазной и дворянской эстетики, борьбу с канонами старой литературы, действительно тяжким грузом лежавшими на молодом искусстве, борьбу за мастерство, за технику, против эстетического красноречия, демократизм, плебейское его происхождение. Вместе с этим нельзя забывать, что бунтарство футуризма было порождением мелкобуржуазной среды и по природе своей, в своих стремлениях, задачах, целях имело очень мало общего с пролетариатом. Футуризм, возникший в недрах буржуазного искусства, сам был буржуазен до кончиков ногтей.

Объявляя Пушкина непонятнее иероглифов, он противопоставил ему отрицание смысла, что было еще менее понятно. В замену сбрасываемых с парохода современности классиков он выдвигал словоновшество, непреодолимую ненависть к существовавшему до него языку. Отвергая «здравый смысл» и «хороший вкус» прошлого, он не имел ничего, кроме высокопарных фраз о Зарницах Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова — с

больших букв... Все это было страшно общо, и никакие попытки футуристских теоретиков раз'яснить, растолковать, обосновать не могли и не могут не вызывать улыбки. Футуризм был силен только и исключительно — в писаниях Маяковского и Хлебникова. Но какой же Хлебников футурист! Остается Маяковский. Его творчество было единственным капиталом, с каким футуризм пришел в революцию. Мы знакомы с этим капиталом: он мог быть пущен в оборот пролетарского искусства только после радикальнейшей перестройки. Только оставив за порогом революции «переплеск, плескавший в «Человеке», гуманистический пафосизм «Войны и Мира», истерический трагизм «Облака в штанах», богемский индивидуализм, мог поэт-футурист стать поэтом революции. Маяковский очень много сделал на этом пути. Никто из буржуазных и мелкобуржуазных писателей, примкнувших к Октябрю, не перетряхнул так основательно свое мировоззрение, все свои идеологические и психологические навыки, весь арсенал своих художественных средств, как это сделал он. Брюсов до последних дней остался в плену старого словаря, образов, метафор, сравнений, которыми в искусстве слова обнаруживает себя подлинный лик поэта. О Блоке и говорить нечего. А после Блока кого можно поставить рядом с Маяковским? Есенина? Но Есенин сломался именно потому, что пути к пролетарской революции были ему заказаны. Не всякий способен был «выворачиваться нутром», перековывать, переделывать, перестраивать себя. Это трудный путь. Но этим путем и шел Маяковский. Он многое сумел преодолеть в себе. Не смог лишь оставить за порогом революции футуризма.

Он был не только энтузиастом революции. Он был еще энтузиастом футуризма. Его любовь к футуризму была также гиперболой, едва ли после революции не самой любимой. В конфликте между футуризмом и революцией, в неприятии революцией футуризма было много боли для Маяковского. Он хотел стать пролетарским революционером. И он умел часто быть им. Но он хотел вместе с тем остаться футури-

стом, т.е. мелкобуржуазным бунтарем, романтиком слова, индивидуалистом. Этого ему пролетарская революция позволить не могла. Он хотел навязать футуризм революции. Революция решительно отказывалась от такого наследства. Футуризм был союзником формализма. Формализм и футуризм — родные братья. Это еще более углубляло пропасть между футуризмом и коммунизмом. История футуризма в эпоху революции есть история непрерывной сдачи футуристских позиций. Начиная с первых побед, когда футуризм получил власть громить ненавистную Академию, вплоть до распада Лефа, футуризм терпел одно поражение за другим. У футуризма была своя, нигилистическая, отрицательная программа по вопросам искусства. У революции — своя. Программы не совпадали. Футуристы полагали, что, если настало время «стойимовками глоток старье расстреливать», надо расстрелять и Растрелли. Футуристам казалось: если революция, глухая к белогвардейской ласке, ставит белогвардейца к стенке, надо поставить к стенке и генералов классиков. Но такой вывод революции не был убедительным. Футуризм отказывался от классического наследства. Революция, напротив, этим наследством хотела овладеть. Она поэтому не намеревалась Пушкина и Рафаэля сбросить с своего броненосца. У шей не было с ними личных счетов. У футуризма были. Маяковский упрекал поэтов революции в покровительстве старине. «Старье охраняем искусства именем. Или зуб революции ступился о короны?»

Гиперболист, он и здесь не изменил своему стилю. «За целость Венеры вы готовы щадить веков камарилью» — писал он. В его упреках была доля правды. Среди коммунистов, действительно, было немало слепых покровителей старины, приверженцев ушедшего искусства, сторонников старых вкусов. Но Маяковский был неправ, сваливая в один кюстер все искусство прошлого, не отличая того, что отбрасывает пролетариат, как негодное, от того, что берет он, критически переработав. Ленинская оценка Льва Толстого и футуристский лозунг «сбросить» старика с

парохода современности, — таков, кратко говоря, конфликт между футуризмом и революцией.

3

В поэтической судьбе Маяковского этот конфликт не может быть забыт. Он изживался медленно, с кровью, по мере того, как футуризм терял вооружение, амуницию, солдат. Поражение футуризма становилось тем более решительным, чем ближе Маяковский подходил к революции, чем ближе подходил он к пролетариату.

И в этой борьбе, как во всей деятельности поэта, было много настоящего пафоса. Он верил в то, за что дрался, и если отступал, то после боя. Таким именно боем и была вся его литературная работа. На свое призвание он смотрел, как на боевое призвание. У него было величественное представление о назначении поэта. «Удел поэта — за ближнего болей» — писал он. Он смотрел на поэта, как на «народного водителя» и вместе «народного слугу». Поэт, по его убеждению, должен быть всегда впереди. Его долг — реветь медногорлой сиреной в тумане мешанья у бурь в кипенье, — кто станет возражать против такого понимания поэтических задач? Его гигантское, столь же гиперболическое, как и его образы, честолюбие не удовлетворялось ограниченными задачами:

Я стать хочу
в ряды Эдиссонам,
Лениным в ряд,
в ряды Эйнштейнам —

писал он в «Пятом Интернационале». Приравнивание себя былинному Святотору «выше Эйфелей, выше гор» говорило опять таки о размахе его поэтических желаний. Он хотел, чтобы

поэт перерос веков сроки,
чтобы поэт
человечеством полководить мог,
со всей вселенной впитывать соки
корнями вросших в землю ног.—

И эти строки не были поэтической фразой. Он требовал от поэта труда, мастерства, умения, техники, — много горьких, но справедливых слов сказал он по адресу братьев-писателей и напостов, и по адресу критиков. Не всегда он сам уберегался от ошибок и промахов, в каких обвинял противни-

ков. Но его ошибки и промахи — у кого их нет! — ничего не меняют в облике поэта-мастера, ставившего себе огромные задачи. Он как бы переоценивал свой вчерашний день. Он отверг его, почти что осудил, так повелительно ощущал он потребность говорить по-иному, проще, понятней, доступней.

Я обкармливал.
Я обкармливался деликатесами досыта.
Ныне —
мозг мой чист.
Язык мой гол.
Я говорю просто —
фразами учебника Марго
Я
Поэзии
одну разрешаю форму:
краткость,
точность математических формул.
К болтовне поэтической я слишком
привык,
Я еще говорю стихом, а не напрямик.
Но если
я говорю:
«А!» —
это «а»
атакующему человечество труба.
Если я говорю
«Б» —
Это новая бомба в человеческой борьбе.

И здесь перед нами — гипербола. Простота учебника Марго — дурная простота. И «толстый» язык математики, т.е. обескровленный, лишенный страстей, вряд ли, по его собственному убеждению, мог служить революционной поэзии, т.е. поэзии прежде всего страстной, эмоциональной, экспрессивной, увлекающей. Но такова его натура максималиста. Он всегда ударялся на крайний край, и если сейчас кричит «долой» деликатесам своего вчерашнего дня, то прихватывает с деликатесами и многое прочее, что к деликатесам не имеет прямого отношения. Вчерашний романтик, он замахнулся и на романтику, причислив ее к «деликатесам». «Мы тебя доканаем, мир-романтик» — закричал он: «Вместо вер — в душе электричество, пар» — и опять это было не в точку, потому что какой революционер из человека с «паром» вместо «души». Таков он был всегда: или сентиментальный гуманизм, или «стар убивать! На пепельницы — черепа!» Иные все это принимали, как «кредо», как программу действий, т.е. понимали буквально, без коэффициента на гиперболу. Получалось, конечно, сплони-

ное непонимание. Да и сам он, охваченный порывом сжечь мосты к отступлению, вытереть из сердца старое, готов был сбросить с себя в могилу прошлого все до последнего листика и голым начать новую жизнь. Перед ним возникла грандиозная задача нового политического, социально-направленного искусства. Революция требовала от поэта участия в борьбе за социализм, — он покинул «барское садоводство поэзии», т.е. поэзии интимных переживаний, узко-личных чувств, внутреннего, субъективного человеческого мира. Вряд ли можно думать, что это давалось ему даром. Он обладал темпераментом лирического поэта — весь ранний период его творчества был именно субъективно-лиричным. Потому-то лирика и была им «неоднократно атакована». Она не сдавалась без боя, лирическая песня: «пресволочнейшая штукавина: существует — и ни в зуб ногой». Она иногда осмеливалась даже перейти в наступление: поэма «Про это» и была лирическим прорывом. Поэт прорыв ликвидировал. Он не притворялся, — да и какой был смысл! — не кривил душой, когда фанатически, с упорством, стиснув зубы настаивал на том, что в эпоху, когда «паровозы стонут, дует в щели и в пол», когда «по скверам харкает туберкулез», — лирика может посторониться, подождать, ничего от этого лирике не станет, уступив место новому искусству, способному выволочь республику из грязи. Засучив рукава, он самоотверженно бросался в эту работу, «ассенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный». «Мастера, а не длинноволосые проповедники сейчас нужны нам». Он хотел быть таким мастером, с душой, замкнувшейся от нежности, с напряженной, политически и социально установленной волей.

В поэме «во весь голос» есть величественный образ поэзии, какую хотел он строить:

Парадом развернув

моих страниц войска,

Я прохожу по строчечному фронту.

Стихи стоят свинцово тяжело,

готовые и к смерти

и к бессмертной славе.

«Новый Мир», № 6

Поэмы замерли,

к жерлу прижав жерло

нацеленных, зияющих заглавий.

Оружия

любимейшего

род —

Готовая рвануться в гике,

застыла

кавалерия острот,

поднявши рифм

отточенные пики.

Этот образ покоряет. Революции в самом деле нужно такое именно искусство. Становятся понятными прерывательные оценки, какими Маяковский награждал своих поэтических современников, лирических балабалаечников, поэтических мандолинистов. Не в том видел он беду, что были они лириками. Лириком был он сам. Суть в том, что лирика их мелка, ничтожна, несвоевременна в сравнении с задачами, какие ставила перед ними эпоха. Он мог бы сказать: революция требует хлеба — вы даете ей камень, мелкие цветные камешки ваших лирических переживаний. И в его груди толпились, ища выхода, лирические, интимные, индивидуальные и прочие переживания, но он

себя смирял,

становясь

на горло

собственной песне.

Это — величайший аскетизм поэта, поставившего задачей перестроить себя сверху донизу, отдать себя на службу революции, превратить себя в поэтического солдата атакующего класса. Он работал для будущего, для тех, которые придут завтра. Для них

которые

здоровы и ловки

поэт вылизывал

чохотенны плевки

шаршавым языком плаката.

Такова была задача, какую ставил он, поэту революции.

Он ясно видел, как перед лицом этой задачи немощны старые слова, и старые приемы, и старые жанры, и старые мотивы. Он хотел поэтически отразить свою эпоху в величайших проявлениях и в мельчайших потребностях, хотел быть новатором в искусстве и вместе поэтом масс, говорить их устами и для них, он хотел быть впереди своего времени, рвался в завтра, а современное развитие искусства нередко ставило перед ним множество препятствий.

4

Он шел именно нелегким путем. И в революционный период своей поэтической работы он продолжал путь деканонизатора, противопоставляя, как правило, крик—напеву, трохот барабана—колыбельной песне. «Новизна в поэтическом произведении обязательна»—это положение он проводил постоянно, очень часто за его счет поступаясь такими элементами поэзии, отечественные которых снижало качество его собственного стиха. Но здесь таилась опасность. Деканонизация могла в свою очередь стать законом. Борьба со штампом могла превратиться в штамп. Это иногда и приводило его к рационалистической игре словом, к словесной эквилибристике, столь характерной для футуризма вообще.

И в этой борьбе за новый стих Маяковский руководился своим пониманием поэта, как вождя и борца.

...Это вам—
пляшущие, в дуду играющие
и открыто предающиеся
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.

Вам говорю
я—
гениален я или не гениален,
бросивший бездельюшки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плчньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мерехлюндии
из арсеналов искусств.

Кому это интересно,
что — «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...?»
Мастера
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам:
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол
«Дайте уголь с Дону!
слесарей,
механиков и депо!»

...Товарищи,
дайте новое искусство —

такое,
чтобы выволочь республику из
грязи.

Так писал он в приказе № 2.

Он не останавливался перед пародией на собственную поэтическую боль. Он об'явил бездельюшкой «костер немислимой любви», горевший в его ранней поэзии. Революция требовала радикального отказа от вчерашнего дня. Босой алмазник, не колеблясь, готов был не на словах, а на деле отца, если надо, облить керосином и пустить на улицы для иллюминаций. Какошемуся богемцу казалось, будто революция—голый утилитаризм, сухой математический расчет,—он готов был стать утилитаристом, математиком до жончиков юттей. Но если утилитаризм, то опять таки крайний, безудержный, безграничный. «Нужная вещь — хорошо, годится. Ненужная—к черту. Черный крест!» Вопрос заключался в том, какая вещь переставала быть нужной. Здесь-то и возникали нелады между Маяковским и революцией. Говоря сегодняшним языком, он сдавал в утильсыр'е предметы, еще годные для потребления.

5

Кто станет отрицать, что сам он остался верен этому приказу. Пересмотрите его книги—рядом с величественными, эпическими замыслами какое множество каждодневного, бытового, мелочного материала, который он, как машина, подвергал стихотворной переработке. Он как-то так умел «свинчивать» шею, что с высот своих гипербол переключался на темы-миниаютуры, темы-поденки, об обывателе, с хулиганстве, о самогоне, о бюрократах, о суевериях, об обрядах, о поминках, и еще много раз об обывателе и бюрократах. Он хотел строить жизнь, врываться в ее каждодневность, менять её лицо, внедрять искусство в быт, как одно из орудий стройки. Потому-то его тянуло в газету, к фактам, к материальной действительности.

В нем сидел газетчик, фельетонист, совсем не использованный нашей печатью. Ему некуда было девать свою энергию, он брался за материал, который не мог быть спасен никаким ма-

стерством, — таковы его рекламные стихи о папиросах и галошах, таковы многие его лозунги: плюйте в урны, будьте культурны, мойтесь мылом, пейте кипяченую воду. В широчайшей амплитуде его поэтической работы — от трагедии до моссельпромвской рекламы — есть противоречие, то же самое, какое мы вообще наблюдаем в его переходах от одной крайности в другую. Стих свой и рифму он сравнивал с динамитом, — но какой же динамит в воспевании кипяченой воды! Это противоречие станет понятным, если вспомнить, что Маяковский — во славу своих левовских теорий — сводил искусство к «мастерству», «поэзию» — к артистической работе над словом, т. е. к техницизму, — и это насквозь ошибочное положение приводило его иногда к размену на мелочи. С некоторыми мелкими вещами его искусству нечего делать: они мертвы и в новое собрание сочинений едва ли войдут — так мало говорят они читателю. Но для всякого, кто будет изучать Маяковского как техника слова, даже они окажутся образцами виртуозного владения словом, как вещью, словом, как таковым, самовитым словом.

И брызги пера, и его поэмы, которые считал он Илиадой и Одиссеей революции, великое и малое, его достоинства и недостатки — все это вместе взятое ставит Маяковского на особое место. Поэтический путь его своеобразен и величественен именно по сравнению с его дореволюционным творчеством. Вчерашний богемец, он пишет гимны мало, комсомольцам, бакинской нефти, рабочим Курска, добывшим первую руду, воспевает Интернационал, славит состояние, погружается в мелочи быта, пишет сатиры, частушки, плакаты Роста, фельетонит, бранится, издевается, клеймит, призывает, выступает на митингах, уличных сборищах, уже не «крикогубый Заратустра», не неврастелик, не вождь провалившихся носами, не площадной сутенер и карточный шулер, как писал он о себе, не в кофте фата, но в рабочей блузе, молотобоец, кузнец, чернорабочий поэтического слова. В этой деятельности есть монументальность, так соответствовавшая его размашистой фигуре, могу-

чему голосу, саженому росту, всему его облику. «Громада любви», занимавшая большущее место в его поэзии, исчезает, оставив «громаду ненависти» к прошлому, к мещанству, к старью. «Нынче не время любовных ля» — уверял он себя и окружавших. Он признавал одну задачу — «снять в наступающее завтра», всю свою звонкую силу поэта отдавал он «атакующему классу», он хотел заставить заново блестеть величественнейшее слово «партия». Одиночка, нелюдим, недавно с отчаянием кричавший «не выскочишь из сердца», бредший устало, к истоку звериных вер, чтобы бросить слезы бедных крыс, он в революции увлекал малодушных:

...Товарищи!
 На баррикады!
 баррикады сердец и душ.
 Только тот коммунист истый
 кто мосты к отступлению сжег.
 ...Довольно грошевых исгин.
 Из сердца старое вытри.
 Улицы — наши кисти.
 Площади — наши палитры.
 Книгой времени
 тысячелистой
 революции дни не воспеть.
 На улицы, футуристы,
 барабанщики и поэты!

Он с яростью сжигал мосты к отступлению. У него было, что сжигать. Он старательно стирал из сердца старое. У него было, что стирать. Оттого-то, если раскрыть процесс его творчества, оно было сплошной борьбой не только с миром внешним, но и с внутренним, с своим собственным миром, не только перековкой жизни, но перековкой самого себя. Приглашая других выворачиваться нутром, он нутром выворачивался сам, он строил в себе человека нового склада. Не только поэтом пролетариата, он хотел быть пролетарским поэтом. В тактике футуристов, в ряде их выступлений сохранились приемы старого эпатажа, старые богемские ухватки. Все это проглядывало и в Маяковском. И в эпоху революции, совсем как в начале своей поэтической карьеры, принимал он позы мистера Буфф, так противоречившие его новому облику. Но он истреблял в себе «старье» богемского прошлого, взлелеянное мещанской средой. Эта борьба с

самим собой не видна глазу, — она была запрятана глубоко. Ведя борьбу за революцию, он вел ее в себе и с самим собой. Если бы он до конца вытер в душе старое, не разбилась бы о быт его любовная лодка. А если разбилась — значит от старого кое-что осталось. Значит сидело в глубине что-то от Маяковского-индивидуалиста, богемца, трагика. Если не увидеть этой внутренней борьбы, не будет правильно понято его творчество, ни его дезертирство из борьбы, которой посвятил он свою жизнь и свой талант. И в поэзии его была тоже борьба с собой, с той лирической стихией, которая обусловила характер его раннего творчества. И в этой борьбе была величественность, какой не находим ни у кого другого.

6

В нем как бы продолжал жить ветхий Адам, автор и герой трагедии «Владимир Маяковский». Он пришел к пролетариату и революции, он восхитился борьбой, он полюбил ее сердцем и нервами, отдал ей свои силы, — и только злобной предвзятостью и игнорированием характера всей поэзии Маяковского, можно объяснить попытки иных подорвать искренность этой поэзии. Поэтический путь Маяковского второго периода — как превосходная горная порода. Но в этой породе едва заметная снаружи вглуби массива тонкой прослойкой проходила пересекавшаяся жилка, трещинка.

Ему чего-то, быть может, очень мало, неоставало, чтобы стать пролетарским поэтом, усвоить пролетарское мировоззрение до конца, проникнуться пролетарской психологией. Оставался угол души, какой-то темный подвал, где таился загнанный внутрь, скрывшийся, побежденный, но не вытертый дочиста старый Маяковский. Иногда чуть слышно он влетал свои слова в речь поэта, — это он шепнул о жизни, которая проходит, как Азорские острова, это он мимоходом, в письме Горькому вставил несколько слов о душе, «примерзшей к ребру», и о том, что отогреть ее почти невозможно, это он в «разговоре с Пушкиным» подсказал:

«скоро вот
и я умру
и буду нем» —

хотя, казалось, почему же, у которого так много впереди борьбы, думать о смерти, ему, поставившему эпиграфом к «комсомольской»: «смерть — не сметь!» И совсем недавно — в разговоре с фининспектором, — тоже как бы невзначай скользнули слова о «страшнейшей из амортизаций — амортизации сердца и души». Маяковский-революционер, парадом развернув своих страниц войска, как боец проходил по строчечному фронту. Он был уверен, что, заглупша поэзии потоки, он шагнет через лирические томики, как живой с живыми говоря. А ветхий Адам в минуту слабости выводил его рукой:

Был я сажень ростом: А на что мне сажень?

Для таких работ годна и гля.
Перышком скрипел я, в комнатеку
всажен.

Вплющился очками в комнатный футляр.

Ветхий Адам тащил его назад, в неистлевшее старье, и это, очевидно, надоедало Маяковскому, от всего этого он, очевидно, и хотел освободиться навсегда, написав поэму «Про это», в которой весь он, крикогубый Заратустра, перед нами, в споре с собой, убеждающий самого себя:

Я не доставлю радости
видеть
что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте:
Меня

из за угла

ножом можно.

Дантесам в мой не целить лоб.
Четырежды состарюсь — четырежды
омоложенный

до гроба добраться чтоб.

Где б ни умер

умру поя.

В какой трупобе ни лягу,
знаю,

достойн лежать я

с легкими под красным флагом.

«Люблю» и «Про это», написанные в разгар революционной работы, поразили многих, в том числе и друзей Маяковского, так неожиданен был возврат поэта к преодоленному, казалось бы, массиву лирического творчества. Это казалось отступлением, изменой себе,

изменой революционным задачам поэзии.

Поэт, уверявший, что «нынче не время любовных ляс», поэт, иронически вопрошавший «в старое станем ли плялиться», поэт, притказывавший властно: «из сердца старое вытри», поэт энергически требовавший:

«Бросьте!..
Кому это интересно,
что — «Ах, вот беднький!»
Как он любил
и каким он был несчастным»

этот самый поэт, автор «Мистерии Буфф», «150.000.000», «Ленина», «Хорошо» и большого цикла превосходных революционных вещей, написал поэму, полную тех самых образов и мотивов, какие он, думалось, оставил за порогом революции. В третьем томе его сочинений «Про это» находится между «150.000.000» и «Лениным», но ей место между «Облаком в штанах» и «Человеком», так она близка им, кровно родственна, сделана из того же материала: любовь, одиночество, тюрьма, боль и непобежденное, наседающее, торжествующее мещанство. «Весь мир остальной отодвинут куда-то» — вновь перед нами «сумасшедший ювелир», вновь гениальничавший безумец как прежде у небес в воспаленном фоне.

Стоит.
Разметал изросшие волосы.
Я уши лаплю.
Напрасные мнешь!
Я слышу
мой
мой собственный голос.
Мне лапы дырявят голоса нож.
Мой собственный голос —
он молит —
он просится.

— Владимир!
Остановись!
Не покинь!
Зачем ты тогда не позволил мне броситься!
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою,
Я смотрю в эти воды,
Когда же
когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?

Эшь?
Отпускаешь брюшко?
Оам
в ихний быт,
в их семейное счастье,
намероваешься пролезть петушком?

Сквозь бредовую форму, трудно раскрываемую, мы видим овеществление внутренней борьбы, раздвоившей человека. Здесь опять страшное одиночество в огромном мещанском мире и страшная нечуждость мещанского мира, столкновение мира и человека и «громада ненависть» и «громада любовь» перемешались в гротеске, где сквозь смех и боль «танцы, полами шарканые, зловещее шарканье танцующих ног» и «деваться некуда», и страшные морды «друзей», и погоня, и побои, — ни в каком другом произведении Маяковского не было так сконцентрировано чувство отверженности, заправленности, загнанности, как в этом. Весь мир — друзья и враги соединились, чтобы травлю превратить в бойню, убить поэта.

Лишь на земле
поэтовы ключья
сняли по ветру красным флажком.

Ему в самом деле померещилось, будто мещанин временами торжествует. Канарейки, беспечно прыгающие в клетках, показались опасными. Измена! — закричал он. Даже Марксу вкладывает он тот же свой собственный испуг: «Опутал революцию обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит». Как будто коммунизму от канареек грозила настоящая опасность. Мещанство побеждает! Даже Маркс, «впряженный в алую рамку, и то тащил обывательства лямку». Маяковский преодолел этот страх. «Про это» в его революционном творчестве осталось эпизодом. «Необычайное приключение» с солнцем — поэтическое, т.е. самое убедительное доказательство. И в самой поэме «Про это» в конце концов побеждало то могучее ощущение жизни, которое характеризовало Маяковского-революционера: не доставлю радости, что сам от заряда стих... четырежды состарюсь — четырежды омоложенный...

Что мне делать
если я
во всю
всей сердечной мерою
в жизнь сию,
сей
мир верил
верую.

Эпизод поэмы—такой страстный крик «жить!» («Я свое, земное, не дожид, на земле свое не долюбил»). Все дальнейшее его творчество было так жизнеутверждающе, — что выстрел, заставивший затихнуть «необычайнейший комок», остается противоречием, роковой случайности. Так, бывает, в минуту слабости умирают сильные.

8

Путь Маяковского — замечательный путь мелкобуржуазного интеллигента к пролетариату. Путь этот в полном смысле слова — тернист. Маяковский прошел его с блеском. Было бы преувеличением признать его пролетарским писателем, т.е. таким, который сумел всесторонне и полно—идеологически и психологически—перейти на пролетарскую точку зрения. Он перестал быть попутчиком. Но не сделался еще пролетарским поэтом. В нем оставались кое-какие интеллигентские черты и вместе с тем в нем было уже многое, что сближает его с пролетариатом. Маяковский — переходник. Творческий путь его — прекрасный показатель того, как близко в условиях пролетарской революции может подойти к пролетариату выходец из чужого класса. Творчество Маяковского говорит не о том, что полный переход невозможен. Оно говорит лишь, что переход этот — не легок, что путь к пролетариату — труден, что путь этот — борьба, упорная и непрестанная. Противоречивость и сложность творчества Маяковского, особенно раннего периода, мешает ему быть целиком принятым пролетариатом. Но в этом творчестве, в его достижениях есть много, что войдет в теорию и практику

пролетарского искусства, что останется большим завоеванием революционной культуры. Поэт был прав, сказав:

Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весимо
грубо
зримо,
как в наши дни вошел водопровод
сработанный
еще рабами Рима.

У Маяковского-мастера есть чему учиться. Но было бы заблуждением считать его творчество образцом для подражания. Это противоречило бы самому существу его метода, основной заповеди его, которая заключалась в постоянном отрицании достигнутого, в непрерывном творчестве нового; в безостановочном уходе от вчерашнего дня. Принципиальный и неутомимый новатор, он меньше всего сам хотел стать каноном. Его книги — ценнейший вклад в пролетарскую культуру. В этом вкладе есть то, что пролетариат возьмет, критически переработает, и то, что отвергнет. Маяковский, еще не успевший отойти в историю, продолжающий быть живым, вместе с тем становится предметом изучения. Усвоить его опыт, взять от него все, чем гордился он сам и чем может гордиться наше время, — это и значит продолжать дело, которому он — в буквальном смысле — отдал жизнь. Творчество настоящего, высокого, пролетарского искусства и будет лучшей памятью, какую почтят потомки неутомимого деканонизатора, врага остановки, постоянно направлявшего свой поэтический шаг в завтра.

2. КНИГА О САККО И ВАНЦЕТТИ

Ю. Данилин

22 августа 1927 года в Америке, в штате Массачусетс, в городе Бостоне, были убиты по приговору суда буржуазии двое итальянских рабочих-анархистов Сакко и Ванцетти, обвиненные в уголовном преступлении, которого они не совершали.

Суд над Сакко и Ванцетти состоялся еще в 1921 году. С тех пор, в течение семи лет, адвокаты осужденных, комитет защиты, представители пролетариата и лево настроенной интеллигенции всего мира прилагали тщетные усилия к тому, чтобы разоблачить не-

основательность и преступность приговора, вынесенного бостонским судом. В течение семи лет тщательнейшим образом были изучены все детали дела Сакко и Ванцетти, найдено было множество свидетелей, неопровержимо доказавших алиби обоих подсудимых. И, однако, все было напрасно. «Видели вы, как я расправился с этими двумя анархистами-ублюдками?» — горделиво спрашивал судья Тейер. Он гордился с полным основанием. Он заслужил всяческих похвал со стороны правящих классов. Немало ловкости пришлось проявить ему на «умелое» ведение судебных процедур, чтобы приговорить к смерти обоих подсудимых, виновных в том, что они отрицали религию частной собственности и отказались дать суду взятку в 50.000 долларов. И судья Тейер неизменно отклонял все хлопоты о пересмотре дела. Семь лет гнили Сакко и Ванцетти в стальных клетках бостонской тюрьмы, постепенно теряя всякую надежду, испытывая «фальшивую казнь», когда им за полчаса до казни давали новую двухнедельную отсрочку, и, наконец, дождавшись казни настоящей, усовершенствованной американской казни на электрическом стуле.

И, когда тела Сакко и Ванцетти рвались и прыгали в ремнях от тока в две тысячи вольт, в эти ночные часы бостонская буржуазия истово торжествовала. Газетные радиостанции Бостона угощали своих слушателей концертом, прерывая музыкальные номера информацией о том, что умерший миллионер не забыл оставить вклад для церкви св. Марка. «Ванцетти официально объявлен мертвым в двенадцать часов двадцать шесть минут, пятьдесят семь секунд. Сейчас оркестр исполнит «Конец прекрасного дня». Да, для бостонской буржуазии, так уставшей от возни с этими «грязными итальяшками», 22 августа 1927 года было поистине прекрасным днем.

Но в эту же ночь с 22 на 23 августа, в эти часы казни, пролетариат всего мира заявлял свой возмущенный протест. По улицам Лондона, Парижа, Берлина, Женева двигались

толпы демонстрантов, — трепетали сотрудники американских посольств, охраняемых сильнейшими отрядами полиции. В эту ночь многие заметили страшный феномен: в минуту казни время настороженно остановилось, минутная стрелка словно отказывалась двигаться дальше... И в эту ночь, получив телефонное известие о казни, Эптон Синклер счел своим долгом писателя и гражданина создать книгу, которая увековечила бы обстоятельства дела Сакко и Ванцетти. Потому что думал он, «мир пожелает, может быть, узнать истину об этом деле».

Эта замечательная книга, потрясающий документ классовой борьбы, памятник неистовств и преступлений капиталистического суда, переведена теперь на русский язык. Эта книга называется «Бостон»¹⁾.

Эптон Синклер, как он указывает, «не хотел писать трактата в защиту Сакко и Ванцетти». Будучи не юристом, а художником, он поставил себе целью создать «современный исторический роман», знакомясь с которым читатель уяснил бы себе, что все дело Сакко и Ванцетти в том виде, как оно возникло, в том направлении, которое оно получило, и, наконец, в его роговой развике является только органическим продуктом социальных отношений, присущих буржуазно-капиталистическому строю.

Два мира противопоставляет друг другу Синклер в этом романе. Первый из них — мир рабского труда и голодной нищеты. Представителем этого мира является наиболее подвергающаяся капиталистической эксплуатации, наиболее необеспеченная материально и наиболее бесправная в социальном — политическом отношении группа американского пролетариата: рабочие-иммигранты, вечный очаг бунтарских анархических настроений, раздуваемых полицейскими преследованиями и трусливо-жесточкой нена-

1) Эптон Синклер — «Бостон». Роман в двух томах. Полный авторизованный перевод Э. Вершининой и А. В. Кривцовой. Предисловие Д. Джерманетто. ГИЗ, М. — Л. 1930 г. Т. I. Стр. 469. Т. II. Стр. 443. Цена за оба тома 6 руб. (в переплете).

вистью буржуазии. Именно в этой трусливой ненависти, в этом паническом страхе частнособственнического мира перед пролетарской революцией, в этом маниакальном стремлении к уничтожению всей бунтующей нищеты, порождаемой самим же буржуазным строем, и нужно видеть психологическую предпосылку дела Сакко и Ванцетти. Изучив шеститомный отчет по этому процессу, Синклер пришел к убеждению в полной невиновности обоих итальянских пролетариев. Сакко и Ванцетти были осуждены только потому, что обвинение располагало «внутренней уверенностью» в их вине.

Обвинить Сакко и Ванцетти в убийстве артельщика и в ограблении 15.000 долларов суду капиталистов ничего не стоило, хотя ряд свидетелей и показал, что в день и час убийства обвиняемые находились в другом городе, хотя впоследствии нашлись и сознались подлинные участники этого преступления. Но кто были Сакко и Ванцетти? Всего два гнусных «даго», два итальянских анархиста-пролетария, враги порядка и собственности. Если они, думал буржуазный Бостон, и не совершили этого преступления, они всегда могли бы его совершить. Если они осуждены не потому, что виновны, они потому виновны, что осуждены! Почему эти проклятые большевики не убираются из Америки в свою Россию?! И губернатор Фуллер, отказывая в помиловании и возражая на реплику, что виновность Сакко и Ванцетти не была доказана и что судили ~~их~~ несправедливо, отвечал, полный «внутренней уверенности»:

— Ну, а я знаю, что они виновны! Поэтому мне нет дела до того, справедливо их судили или несправедливо.

Этому миру бесправных труженников и голодных бунтарей, пытающихся взорвать небоскрежные твердыни капитала, противостоит в романе другой мир, мир американской буржуазии, отлично вооруженный для борьбы за свое существование, снабженный полицией, тюрьмами и прекрасно выдрессированной капиталистической прессой. Подножия этого мира еще довольно незвучны. Тут мы встречаем ка-

кого-нибудь маленького бакалейщика, робко заявляющего из-за своего прилавка: «Может быть, они и не виновны, но мы должны от них избавиться, а не то всем нам подбросят бомбы в постель». Тут мы встретим стоцентную телефонистку-американку, которая, услышав жалующегося итальянца, свирепо скажет: «Замолчите, итальянская крыса! Подождите и узнаете, как мы поступим с вами двадцать второго августа!» Эти подонки буржуазии, умело и усердно обрабатываемые капиталистической прессой, такие monstruosные в своей зоологической ненависти, являются единственными, кто искренне-наивно верит в преступление Сакко и Ванцетти.

Гораздо интереснее вершина этого второго мира, представленная в романе многоветвистой семьей миллионеров Торнуэллов. Тут мы попадаем в верхи американской индустриальной и банковской буржуазии, в замкнутый светский круг, high life, где обладание миллионами предугадывает величественные формы чопорной и респектабельной жизни. Эти «брамины» ведут свою родословную от предков, приехавших в Америку на первом английском корабле «Майский цветок» в 1620 году, и брезгливо относятся к мысли о встрече или знакомстве с какой-нибудь леди, отец которой хоть и нажил миллионы, но не может предявить равную генеологию. За похороны своего родственника Торнуэллы платят не менее 25.000 долларов, путешествуя по Европе, они тратят вдвое и втрое, чтобы только иметь «все лучшее», и выкупают у шантажиста за сумму от пятидесяти до ста тысяч долларов моментальный снимок, исчерпывающе фиксирующий их поведение в отдельном кабинете или публичном доме.

За респектабельной внешностью, за изысканной вежливостью манер, за стильной домашней обстановкой с неизбежным миллионным Ван-Дейком, Торнуэллы хранят первобытную волчью алчность, неистовую страсть к наживе, дикую потребность все большего обогащения. Колоссальные фабрики и заводы дымят ради про-

цветания Торнуэллов, золотом звенит трудовой пот армии рабочих, занятой в их предприятиях, но это — обычное, это подразумевается само собой и этого уже мало. И вот, несколько заседаний тесного кружка избранных, несколько бесед с хитроумными юристами, нескольких секретных распоряжений, — и войлочный миллионер Уокер лишен обещанного ему кредита, объявлен банкротом, легально, вежливо, на законном основании, при свете дня ограблен, и его пятнадцатимиллионное предприятие без шума и спора поделено между группой капиталистов, возглавляемой Торнуэллами. Но, обобрав Уокера, Торнуэллы со всем пылом выступают на защиту священного принципа частной собственности, «начальню» попираемого разными итальянскими бродягами. И они с жаром будут трясти руки судьбе Тейеру, губернатору Фуллеру, ректору Лоуэллу, поздравляя их с мужественным служением родине и цивилизации.

Так стоят друг против друга эти два враждебных мира. Значительную роль в конкретном показе каждого из них Синклер отводит судебной процедуре: делу Сакко и Ванцетти и делу Уокера. Сопоставляя параллельные моменты в ходе обоих процессов, сопоставляя их решения, Синклер не только достигает шикарных и красноречивых выводов, но и выносит тягчайший обвинительный приговор капиталистическому правосудию. Сакко и Ванцетти были осуждены за преступление, которого они не совершали, — и все верховные суды Америки молчаливо разделили мнение бостонского суда и вышеупомянутого бостонского бакалейщика. Но те же верховные суды почтительно склонились и расшаркались перед Торнуэллами, когда одна из судебных инстанций, повидимому, жирно смазанная неунывающим Уокером, неожиданно вынесла решение в его пользу; хотя эта инстанция и присудила Уокеру всего десять миллионов долларов, заставив его оплатить «убытки», понесенные Торнуэллами за время их владения его предприятием, — Уокер так ничего и не получил, потому что члены Верховного Суда, столь же уважаемые па-

ладины частной собственности, как и Торнуэллы, поспешили отменить это судебное решение, найдя его «неправильным».

Слов нет, противопоставление этих двух миров полно огромной выразительности. Но если бы Синклер был пролетарский художник, он еще резче отделил бы здесь контрасты света и тени. Деклассированный аристократ, духовный потомок кающихся дворян XIX века, он подходит к изображению пролетариата с приемами идеализации и сентиментализма. Особенно пострадал в данном случае Ванцетти, превратившийся из «человека, много читавшего, много думавшего, упрямого» да к тому же недоверчивого и иронического, каким он запомнился Д. Джерманетто (см. его книгу «Записки цирюльника», ЗИФ. 1930, стр. 27), в какого-то необыкновенно эмоционального, болтливового, неврастенического вегетарианца, который не может видеть, как убивают утку на охоте, совсем не умеет обращаться с револьвером (!), восхищается красивыми пейзажами и проявляет необыкновенную доверчивость, ребяческий оптимизм, сговорчивость и кротость. Синклер пишет: это «тип идеалиста-фанатика, который может быть кротким, как дитя, в личных отношениях, но непреклонным и опасным, когда борется с общественным злом». Но вот этой-то «борьбы» Синклер и не показал. Синклер упростил свою задачу, отказавшись обрисовать Ванцетти, как борца, как революционера, снабдить его идеальный облик некоторыми реальными, земными, полновесными чертами. Превратив Ванцетти в сентиментального идеалиста-мечтателя, который «мухи не обидит», Синклер не рассчитал, что Ванцетти и без того уже идеализирован той объективной ситуацией, при которой Сакко и Ванцетти, преследуемые ненавистью буржуазии, несправедливо осужденные и гноимые в тюрьме, выступают в ореоле мученичества и жертвенности. Наконец, Синклер в весьма слабой форме выявил связь Сакко и Ванцетти с их классом: связь эта где-то за сценой. В результате портрет Ванцетти вызывает к читательской жалостливо-

сти, но порождает законное недоверие, больше того, кажется почти оскорбительным для памяти революционера. Получилось так, что Сакко и Ванцетти были только трудолюбивые рабочие, одинокие мечтатели о лучшем будущем, по слухам, анархисты, — и этих-то хороших парней злые капиталисты превратили в мучеников, казнив их на электрическом стуле. Такая концепция, конечно, тоже бьет по капитализму, но она не вселяет доверия к силам пролетариата в его борьбе за свое освобождение.

Следует отметить, впрочем, что если Синклер идеализировал Ванцетти, то реальный образ последнего все же дал ему для этого некоторые объективные основания. Но на идеализацию Сакко Синклер не посягнул, очевидно, не найдя таких оснований: Сакко, разувившийся в спасении, проходит через роман угрюмую, озлобленную, непримиримой тенью. И в облике Сакко гораздо больше чувствуется революционер.

Имеются, однако, основания подозревать, что установка Синклера на жалостливость была вызвана в этом романе и некоторыми иными причинами. Намек на эти причины имеется в следующем рассказе о попытке комитета защиты организовать митинг накануне казни: «Присутствовало около пятидесяти рабочих, главным образом представители итальянских парикмахеров и евреев, рабочих-швейников; американских же рабочих можно было сосчитать по пальцам одной руки. Американские рабочие со своими семьями катались в подержанных автомобилях, ели сосиски, пили содовую воду, ходили в кино смотреть, как бедные девушки выходят замуж за миллионеров, а бедные юноши в две недели сколачивают капитал; американские рабочие играли в пивер, пили пиво домашнего изготовления; конечно, они не выходили на улицу рисковать головой ради каких-то итальяшек».

Вот этот отказ некоторых слоев американского пролетариата, раззагитированных националистами, принять участие наряду с итальянскими и еврей-

скими пролетариями в защите Сакко и Ванцетти произвел, повидимому, сильное впечатление на Синклера. Несомненно, что он преувеличивал диапазон и значение этой инертности или даже враждебности части американского пролетариата. Но он решил, что ему больше ничего не остается, как апеллировать к жалостливости и даже опираться на... текст святого писания! Синклер, очевидно, считал, что американский пролетариат — хотя бы только бостонский — предал Сакко и Ванцетти. Но если у писателя была такая уверенность, почему же он не пошел до конца? Почему он не разоблачил в своем почти тысячеязычном романе хоть одного такого патристического пьяницу и мелкого буржуа в рабочей блузе? К презрению Синклера присоединился бы весь мир. Почему же он не сделал этого? Чего он опасался?

Намекнув на предательство «американских рабочих», Синклер намекает и на раздоры внутри комитета защиты. Снова только намек, хотя и не раз повторенный. Синклер указывает, что три группы боролись в комитете: группа, стоявшая за продолжение судебной борьбы с помощью лучших буржуазных адвокатов, коммунистическая группа, стремившаяся к широкой агитации, и хаотическая группа анархистов, где каждый думал, что хотел. Все эти группы сильнее всего враждовали между собой «к превеликой радости врагов», — отмечает Синклер. Быть может, и отсюда вынес он новую нотку грусти и усилил прежнюю потребность жалостливого изображения Сакко и Ванцетти, как одиноких мучеников, всеми брошенных, всеми преданных. Но почему же не захотел он сказать правду о деятельности комитета, если считал, что его нескончаемые распри только мешали делу? Чего он боялся? «Превеликой радости врагов»? Но тогда излишни и намеки.

Хотя оба эти факта могли в данном случае иметь некоторое субъективное значение для Синклера, они все-таки малозначительны. Установка на жалостливость в изображении представителей пролетариата встречается и в

других романах Синклера: к жалости апеллируют и Юргис из «Джунглей» и даже сам Джимми Хиггинс. Что же делать! Синклер, так давно уже идущий к социализму, все еще не может преодолеть старые идеалистические пережитки гуманизма, все еще остается за пределами понимания научного социализма и подлинно-революционного мироощущения.

Два мира, так враждебно противостоящие друг другу, в романе связаны не только параллельным ходом двух судебных процессов, но и ролью одного из главных персонажей—Корнелии Торнуэлл, этой «сбежавшей бабушки», 64-летней бунтовщицы, моветонной представительницы respetableного клана Торнуэллов, которая, похоронив мужа, решает развязать узы своего сорокалетнего семейного рабства и порвать с воззрениями своего класса.

Синклер пишет: «Прообразом Корнелии послужила мне 86-летняя леди, мой давнишний друг». Однако, в современной американской литературе образ «сбежавшей бабушки» является только вариантом популярного у мелкобуржуазных писателей образа «прорывающегося старика», обычно бизнесмена из средних классов, которому на склоне лет вдруг открывается духовное и моральное убожество его класса. Таков м-р Уиндл в «Причуде старика» Флойда Делла, таков Мнит в «Прологе к жизни» Зоны Гейль и т. д. Героиня Синклера, представительница индустриально-финансовой аристократии, ведущей родословную от «Майского цветка», предстает, как хранительница былой духовной культуры этого класса, как воплощение суровой и честной пуританской морали первых американских поселенцев, того пафоса социальной справедливости, носителем которого были северяне 60-х годов, вдохновлявшие борьбу за освобождение негров.

Повинуясь этим былым традициям, Корнелия порывает с современными воззрениями своего класса, порывает со своей семьей, с выродившимися потомками былых Торнуэллов, опутавшими себя паутиной светских услов-

ностей и мелкой мещанской морали, и уходит в рабочий квартал, где тайком служит на фабрике, желая хоть под старость попробовать существовать на собственный заработок, и где ей предстоит свести знакомство с капиталистической эксплуатацией, с положением пролетариата и с идеализмом Ванцетти.

Чрезвычайно характерно, что Синклер показывает события не «глазами» какого-либо представителя пролетариата, но именно глазами этой «сбежавшей бабушки», этой бунтующей, одинокой, старомодной аристократки, которая во имя славного прошлого своего класса отвергает его уродливое настоящее и протягивает руку пролетариату подобно тому, как ее предки протягивали в гражданскую войну свою руку поработенным неграм Юга. Глазами Корнелии Торнуэлл видим мы пнусную процедуру судебной комедии, знакомимся с методами классовой юстиции, с изысканным крючкотворством и умелой подтасовкой фактов, с приемами подкупа судей, с узаконенной буржуазным судом системой лжесвидетельств. Но пафос Корнелии Торнуэлл—только пафос возмущения и отрицания. Сопротивление и борьба, особенно революционная борьба, чужды ей. И в этом отношении Синклер, если и не вполне разделяет воззрения своей старой героини, то глубоко и по-сыновьи нежно их уважает. Он ставит перед «сбежавшей бабушкой» такую проблему: почему бы ей, всеми уважаемой, не дать ложного показания в защиту Сакко и Ванцетти, если буржуазный суд пользуется лжесвидетельствами и подтасованными фактами для их обвинения? Верная своей строгой пуританской морали, Корнелия Торнуэлл отказывается солгать, и Синклер почтительно склоняется перед ее отказом.

Корнелия Торнуэлл близка и дорога Синклеру. Благородно и самоотверженно бунтует, как он сам, отдавая, как он, свои силы служению угнетенному пролетариату, она, снова как он, не дойдет до подлинного социализма, до «грубой» революционной борьбы и останется, как Синклер, на старомодных позициях идеалистического гума-

низма. Подобно Синклеру, она благожелательно и тепло будет верить, что ее внуки пойдут дальше нее,—и Синклер любовно набрасывает портреты Бетти и Джо, отдающих свои силы не только моральному восстанию против своего класса, класса капиталистов, но активному участию словом и делом в реальной борьбе пролетариата за свое освобождение.

Незадолго до казни Ванцетти сказал:

— Если бы не этот случай, я бы мог прожить всю жизнь, произнося речи на перекрестках и обращаясь к людям, презирающим меня. Я мог бы умереть, как никем не замеченный, никому неведомый неудачник. Теперь мы не будем неудачниками. Это наша карьера и наш триумф.

Они ушли из мира, эти «хороший сапожник и бедный торговец рыбой», и капиталистический мир поспешил о них забыть. Но нужно было, чтобы «карьеру и триумф» Сакко и Ванцетти не позабыл пролетариат, нужно было увековечить их память. Немало иностранных писателей, журналистов и юристов посвятили этой задаче свои книги. Самую монументальной, грозной и сильной из этих книг, несомненно, является «Бостон».

Пусть этот роман чересчур шум и перегружен фактами, зачастую слишком малозначительными, пусть центральным, организующим читательское восприятие образом остается образ бунтующей аристократки, пусть мир Торнуэллов показан ярче мира нищих «даго», пусть Сакко и Ванцетти представлены лишь, как затравленные, одинокие мученики революционной идеи, не нашедшие якобы поддержки в широких массах американского пролетариата (исключая группы таких же, как они, пролетариев-иммигрантов),—основные линии этого романа—противопоставление двух социальных миров и чудовищные формы буржуазно-капиталистического деспотизма—полны огромного впечатляющего значения. Неисчислима вереница персонажей «Бостона», проходящих перед чи-

тателем, и эти персонажи в массе,—особенно персонажи буржуазные,—вылеплены Синклером ярко, выразительно, реалистически. Судебные процедуры, семейный быт Торнуэллов, работа Корнелии на фабрике и множество других сцен и картин даны с богатой бытовой насыщенностью, убедительно, крепко. Политическая острота, крупная социальная значительность и бесспорная художественная сила «Бостона» позволяют предвидеть ту немаловажную роль, которую этот роман сыграет в деле укрепления революционно-классового самосознания западного пролетариата.

Но советский пролетарский читатель не отвернется от этой книги. Если, быть может, иные ее ситуации, иные утверждения, иные оценки событий и вызывают сомнение, советский читатель не забудет, что автором этой книги является Эптон Синклер.

Советский читатель, который хорошо знает, что величайшие писатели всех эпох не были только кабинетными производителями книг, но принимали живое участие в социальной жизни своего времени, энергично и самозабвенно восставая против вопиющих форм общественной неправды, как то было с Вольтером, Диккенсом, Золя, Франсом, Р. Ролланом и многими другими,—советский читатель увидит, что в славном их ряду находится и Эптон Синклер. Советский читатель не забудет, что «Джимми Хиггинс» был первой из западных художественных книг, автор которой в 1918 году мужественно подал голос в защиту большевистской России, удушавшейся кольцом армий интервентов. Еще большее мужество проявляет Синклер в последние годы. И если Синклер не может отрешиться от идеалистических пережитков своей классовой психологической, не может сделаться пролетарским писателем, он все же останется искренним благородным мятежником, подлинным революционным художником, борцом за раскрепощение, за лучшее будущее пролетариата, другом рабочего класса, то в а р и щ е м Синклером.

Книжное обозрение

1. АЛ. СМИРНОВ «На перекате». Арк. Глаголева. — 2. НИКОЛАЙ ГАРНИЧ «Осьмнадцатый». Бориса Гроссмана. — 3. СЕРГЕЙ ЮРИН «Любовь и коммуна». Т. Николаевой. — 4. ГАНС ЛОРБЕР «Человека истязают». Я. Фрида. — 5. «Судьба Блока». М. Рабинович. — 6. «К проблеме строительства социалистического города». С. Борисова.

Ал. Смирнов. — «На перекате». Рассказы. Изд. «Федерация». М. 1930 г. Стр. 144. Ц. 1 р.

Литературным этюдам, собранным в книжке Ал. Смирнова, нельзя отказать в известной художественной выразительности. Почти каждый этюд Ал. Смирнова композиционно целостен, — изображаемый жизненный факт подается художественно завершено, четко, определено. Основные человеческие фигуры смотрят на нас живыми глазами. Автор художественно прост, искренен, беспретенциозен, вдумчив.

Однако, книжку Ал. Смирнова нельзя признать актуальной.

Почти большинству рассказов Ал. Смирнова присущ налет затаенной печали, грусти, горечи. Жизнь, открывающаяся в этих рассказах, наделена весьма ощутимой дозой безотрадности. Тоскливо и одиноко существование тех, о ком повествует автор «На перекате». Безнадёжно, с глухой болью, мечтает полевой одно из мелких волжских перекатных пунктов Митя о сказочной прелести далеких таинственно-заманчивых «теплых стран», куда проносятся мимо идущие пароходы своих счастливых пассажиров. «Сколько народу проехало мимо него... Вон хоть эти двое, небось, в теплые страны поехали. У них там любовь и все, а он сидит на одном месте да фонари для них зажигает... Окромь деда никого... Вот проехали, и нету, так и все». Одинок и скорбен горбун из «Закона», с его неудачной попыткой устроить личное счастье. Не на долго улыбнулось сча-

стье и граверу Райзману («Счастье»). Бессмысленно гибнет от рук случайных бродяг лесной об'ездчик Иван Максымыч («В лесу»). Мрачна и тягостна картина беспомощного умирания голодающих крестьян («Без огня»).

Несмотря на этот горький привкус рассказов Ал. Смирнова, нам все же не хотелось бы зачислять автора «На перекате» в разряд безнадежных пессимистов. Печаль его, думается нам, все же не безысходна. Радостным образом встает над печальными повествованиями Ал. Смирнова светлый облик будущего инженера и строителя новой жизни — юной Жени. Твердой силой веет от решения Яшки и Ленки изменить пьяное прозябание ленкиного отца Михайлы («Михайла с берега»). Читатель верит в счастье будущих жизненных путей Яшки, Ленки, Жени.

Более пристальное художественное внимание к этой молодежи поможет автору «На перекате» создать, отнюдь не насилуя своей художественной природы, более радостные книги, чем данная.

Арк. Глаголев.

Николай Гарнич. — «Осьмнадцатый». Изд. «Федерация». М. 1930. Стр. 157. Ц. 1 р. 40 к.

Приятно констатировать: книжка Николая Гарнича содержательна и читается без скуки. Если бы автор разукрасил ужасами свое произведение и ввел бы к тому же любовную интригу (какую-нибудь роковую женщину!), материал был бы опошлен и «Осьмнадцатый» трудно было бы отличить от лю-

бой книжонки распространенного типа «makulatur». Автор сделал иное: он описал действительные события из жизни красного отряда, «стихийно образовавшегося на финляндском фронте» и переброшенного на фронт уральский. Получилось занимательное и нужное произведение. Обращает на себя внимание некоторая необычность самого предмета описания. В поле зрения Гарнича — разношерстный красновардейский отряд, в котором уживались (не всегда мирно) большевики с анархистами. Представитель первых — Русецкий и вторых — Семен Северный — достаточно яркие фигуры.

Становятся очевидными; например, обе стороны «практического» анархизма: сильная (борьба против капиталистов) и слабая («экс»-мародерская «экспроприация» частной собственности, беспорядочное бунтарство, безыдейность и т. д.).

Можно было бы поставить автору в упрек: он не показал, во что в конце концов выродился анархизм на «русской почве», но Гарнич ограничивается «осмнадцатым» годом, и упрек сей вряд ли можно сделать.

Книжка достаточно убедительно воспроизводит «дух времени». Некоторые страницы, посвященные жертвам классовой войны, по-настоящему волнуют.

Разумеется, «Осмнадцатый» не является каким-либо шедевром художественной прозы. Но книга Николая Гарнича в общем литературно вполне грамотна, с элементами подлинной художественности, с самостоятельными образами. Подкупает искренность и простота автора, некрикливый, сдержанный тон повествования.

Борис Гроссман.

Сергей Юрин.—«Любовь и коммуна». Повести и рассказы. Изд. «Федарация». Стр. 176. Ц. 1 р. 15 к.

«Любовь и коммуна» — первое крупное выступление молодого писателя Юрина, первый серьезный творческий опыт. В молодом Юрине уже сейчас обнаруживаются качества, которые так ценны и нужны начинающему писателю, — большой оптимизм, креп-

кая связь с жизнью, стремление уловить ее запросы, стремление найти и определить различные грани ее обновленных форм. Еще в первых рассказах, набросанных неуверенной рукой («Петушок», «В ночном саду»), Юрин вплотную подходит к социальным темам. Даже в незначительных событиях, рассказанных в «В ночном саду», четко проводится мысль о неизбежности отмирания прошлого и о свежих, действенных силах настоящего.

Глубоко выразителен рассказ «Один день», написанный в 1927 г. В небольшом военном эпизоде писатель сумел раскрыть героику гражданских войн. Подлинным революционным пафосом дышит каждое слово этого небольшого рассказа.

«Деревенская невеста» и «Сентябрьский паводок» обнаруживают в молодом авторе большое знание деревни. Сравнения, олицетворения и другие средства языкового оформления крепко связаны с крестьянским укладом.

Но, отмечая положительные качества этих рассказов, мы не можем пройти и мимо ряда дефектов. Первый — это дисгармония внешней формы и содержания. Слишком большой фактический материал втиснут писателем в слишком узкие рамки. Отсюда — схематизм рассказов. Борьба противоречий, которая движет жизнь вперед, почти не показана. Процесс победы старого над новым идет слишком быстро и гладко, не наталкиваясь на необходимое сопротивление. Другой упрек мы бросим молодому автору в том, что он проглядел те общественные ростки, которые выросли непосредственно на деревенской почве. В своих новых целеустремлениях герои никогда не рассчитывают получить помощь от своих крестьянских организаций (как будто их не существует), находя разрешение своим запросам вне родной деревни (на фабрике).

Несколько особняком стоит повесть «Любовь и коммуна», именем которой назван весь сборник. Вещь эта — одна из наиболее слабых в сборнике. Несмотря на то, что она трактует ряд

актуальных и злободневных тем, являющихся основными в нашей молодой литературе, — учеба, мещанское заисывание, взаимоотношения полов, новый быт, — мы принуждены квалифицировать ее, как беспомощное произведение, лишённое всякой значительности и интереса.

Язык рассказов и повестей — простой, достаточно выразительный, но работать над отделкой своего слова Юрину придется еще не мало. Встречаются небрежности в логическо-синтаксических построениях. Не всегда придерживается Юрин и необходимой точности.

Однако, мы не можем особенно строго отнестись к ошибкам Юрина, ибо «Любовь и коммуна» — только первый этап на его творческом пути.

Т. Николаева.

Ганс Лорбер. — «Человека истязают».

Роман. Авторизованный перевод с немецкого С. Бернера и П. Аренского. Гиз РСФСР — «Моск. Рабочий». Серия «Новинки западно-европейской революционной литературы». Москва. 1930. Стр. 303. Ц. 1 р. 60 коп.

В современной западной литературе необходимо различать революционную художественную литературу о рабочих и внешне однотипные произведения писателей, нередко вышедших из пролетариата, но омещанившихся и играющих реакционную роль.

Книга немецкого пролетарского писателя Ганса Лорбера «Человека истязают» принадлежит к первой категории. Лорбер воспользовался темой, которая стала традиционной для всех видов западной художественной литературы о рабочих (детство и юность рабочего). Но он вытаскил эту тему из болота примитивного бытовизма и разработал ее в связи со сложными и важными социальными явлениями.

Писатель поставил своей задачей показать, как революционизируется сознание рабочего парня, выросшего в омещанившейся рабочей семье и начинающего самостоятельную жизнь с стремлением «выдвинуться» и спокойно зажить. Этот парень вял, трусоват, он не спешит принять участия в борьбе товарищей по заводу за их права.

Но о его классовом воспитании заботится сам капитализм — режим капиталистической рационализации, фашистские «трудовые навыки» заводской администрации и представителей буржуазной власти. Волей-неволей молодой рабочий втягивается в классовую борьбу на производстве, начинает понимать, каково устройство социального механизма, винтиком которой он является. Логика событий приводит его в ряды коммунистов, и только теперь, относясь активно к окружающему миру, он становится настоящим, взрослым рабочим.

Эта логика событий и есть самое ценное в романе, что и привлекает к нему внимание.

Я. Фрид.

«Судьба Блока. По документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам».

Составили О. Немеровская и Вольпе. «Изд. писателей в Ленинграде». 1930 г. Стр. 277. Ц. 2 р. 50 к.

Поскольку собранный в книге материал является, по мнению авторов, центральным моментом их работы, постольку прежде всего следует остановиться именно на нем. К сожалению, присвоенное авторами этому материалу наименование «редкого» ни в коей мере не соответствует действительности. За небольшими исключениями он широко известен. Большинство фрагментов заимствовано из таких распространенных источников, как биографические работы М. Бажетовой, К. Чуковского, из опубликованной в последние годы переписки Блока, его дневников и т. д. В результате при помощи ножниц и клея получилась еще одна биография Блока, которая не может похвалиться ни особой свежестью фактического содержания, ни особо удачной композицией материала.

Недостатки работы не искупаются также обещанием показать «литературную судьбу» Блока с «установкой на эпоху» и с построением отдельных глав «не по чисто-биографическому принципу». Установка на эпоху выразилась по существу в одних заголовках глав («1905 г.», «Годы реакции»,

«Война и революция» и т. д.). Материал же «прикрепленных к определенному историческому стержню» глав мало чем отличается от обычных биографических построений; сравнить хотя бы с теми же книгами Бекетовой, которыми так усиленно пользуются авторы. И вряд ли можно назвать отходом от «чисто-биографического принципа» чрезмерное внимание, уделяемое всяческим любовным увлечениям Блока, даже если они и прикрываются такими интригующими заголовками, как «Страшный мир», и снабжены соответствующими цитатами из стихов Блока.

Не обошлось дело также и без традиционного метрического свидетельства, свидетельства о бракосочетании и т. п., «незаменимых» при выяснении литературного поведения поэта документов. И в конце концов если уже рассматривать монтаж только как собрание более или менее редких материалов, то нужно было бы по крайней мере снабдить то небольшое количество малоизвестных, помещенных в книге документов комментариями, которые бы дали возможность каждому интересующемуся эпохой символистов разобраться в ней. Но и это не было сделано авторами монтажа.

М. Рабинович.

«К проблеме строительства социалистического города». Изд. «План. хозяйство». М. 1930 г. Стр. 122. Ц. 35 коп.

Вопрос строительства социалистических городов стал в порядок дня, как актуальная и неотложная задача. Рядом со строящимися индустриальными гигантами растут новые города. Достаточно указать, что 144 новых города находятся в процессе планировки. Рост социалистической промышленности и переустройство сельского хозяйства определяют и рост общественных форм нашей жизни, но на этом участке нашего строительства мы очутились без планов и какого-либо опыта. Вопрос строительства социалистических

городов — волнующая тема советской общественности; дискуссии в печати, в Госплане, в Комакадемии пытаются наметить основные вехи, по которым должно пойти новое строительство. Печатных трудов по этому вопросу нет. Рецензируемый сборник — результат дискуссии в клубе плановых работников. Открывающий дискуссию доклад арх. Зеленки дает схему двух типов городов — индустриального и аграрного: планировка, типы жилых и общественных зданий и т. д.

Дискуссия выявила, что уже сейчас встречается много инженеров и архитекторов, которые работают над планированием жилищ, не имея никаких руководящих данных. На ряду с анархией в создании плановых проектов господствует параллелизм в работе, — 22 учреждения заняты вопросами строительства социалистических городов!

Интересен доклад о строительстве Сталинграда, где идея социалистического города уже практически близка к осуществлению. В новом городе строительство жилищ проектируется отдельными домами-коммунами, на трехтысячный коллектив каждый. Из таких жилых комбинатов — с помещениями для воспитания детей, общественных и культурных нужд — будет состоять новый социалистический город.

К существенным недостаткам дискуссии нужно отнести то, что не был поставлен вопрос о перестройке старых городов. У нас строятся новые города с обобщественными формами быта, и рядом будут существовать старые города с отсталыми формами быта. Вопрос о реконструкции старых городов должен быть также поставлен на очередь.

Несмотря на неполноту изданного сборника, он окажет существенную помощь в работе по планированию новых городов, поможет дальнейшему развитию идей нового города и заострит внимание нашей общественности на этой важной проблеме. *С. Борисов.*